

200-98
200-5



ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА





В. Н. Телия

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ

СЕМАНТИЧЕСКИЙ, ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ



Школа
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1996

ББК 81
Т52

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту 95-06-18646*

Телия В. Н.

Т52 Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.

ISBN 5-88766-047-3

Книга посвящена описанию единиц фразеологического состава языка — денотативному и коннотативным аспектам их значения — оценочному, образно мотивирующему, эмотивному и стилистическому, впервые рассматриваемым в когнитивной парадигме. Разработанная в книге модель значения фразеологизмов позволяет по-новому осветить их роль в языке как знаков-микротекстов. Особое внимание уделено лингвокультурологическому анализу культурно-национальной коннотации фразеологизмов — их способности служить эталонами и стереотипами обыденного менталитета русского народа и выполнять на этой основе роль культурных знаков.

Для лингвистов широкого профиля, филологов, культурологов.

ББК 81



Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: helle_d@danadata.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства Школа «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-88766-047-3

© В. Н. Телия, 1996
© А. Д. Кошелев. Серия
«Язык. Семиотика. Культура», 1995
© В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995



2007112414

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Часть I. Фразеология как особая область языкознания	
Глава первая. Пути, пройденные фразеологией как особой лингвистической дисциплиной (аналитический обзор)	11
Глава вторая. Объем фразеологии и типы ее единиц	56
Часть II. Семантика и прагматика фразеологизмов-идиом	
Глава первая. Значение номинативных единиц языка и его когнитивные аспекты	84
Глава вторая. Макрокомпонентное представление номинативных единиц языка	103
Глава третья. Особенности знаковой функции фразеологизмов-идиом и их значения	131
Глава четвертая. Номинативно-идеографическая классификация идиом и особенности денотативного аспекта их значения. . . .	154
Глава пятая. Типы субъективных аспектов значения идиом и их когнитивное содержание	176
Часть III. Культурно-национальная специфика единиц фразеологического состава языка	
Глава первая. Культурная коннотация как способ воплощения культуры в языковой знак	214
Глава вторая. Русская фразеология в зеркале национального менталитета	238
Заключение	270
Библиография	272
Список сокращений	285
Summary	286

*Посвящается
светлой памяти моего учителя
Владимира Леонидовича Архангельского*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга выходит в знаменательный для отечественной фразеологии период: полвека назад акад. В.В. Виноградов написал ряд статей (1946; 1947; 1953), в которых обосновал основные понятия фразеологии как лингвистической дисциплины. В последующую четверть фразеология прошла интенсивный период своего классического развития, связанный с деятельностью целой плеяды ученых-фразеологов, причислявших себя к школе Виноградова. Основной задачей этой школы было выявление лексико-синтаксических отличий фразеологизмов от свободных сочетаний слов — с одной стороны, а с другой — отличие значений фразеологизмов как номинативных единиц языка от значения слова. На этой структурно-семантической основе и осуществлялись выделение и классификация единиц фразеологии — всех устойчиво воспроизводимых в «готовом» лексико-грамматическом составе сочетаний слов.

Объектом описания для бурно развивающейся фразеологии был не только русский язык, но и разнотипные языки народов бывшего СССР, а также материал германских, романских и других языков. Описание фразеологического состава как системы языковых сущностей, обладающих специфической для них структурой и значением выдвинуло в начале 60-х отечественную фразеологию на лидирующие позиции в мировой лингвистике.

С середины 70-х — начала 80-х годов во фразеологии — несколько позже, чем в остальных областях лингвистики, — стал осознаваться кризис структурно-семантической парадигмы, поскольку системно-классификационный подход исчерпал себя. Наступило время оценки полученных результатов и поиска новой парадигмы.

Этот период связан с тенденцией рассмотреть материал фразеологии в его функционально-речевом употреблении, внедрить во фразеологию методы, описывающие лексическую и семантическую семантику в их взаимодействии в ходе организации высказывания и текста. Этот разворот проблематики фразеологии обусловил пристальное внимание

к компонентному составу значения ее единиц, особенно к тем из них, которые образуют прагматический аспект значения, а в этой связи — и к той роли, которую играет в нем их образное основание не только как исходное для значения фразеологических номинаций, но и как «основной нерв» их функционирования в речи.

Осознание необходимости описания фразеологизмов в их животоворящем речевом употреблении и поиск методов их описания, способных моделировать эти процессы составляют суть этого «неклассического» периода развития фразеологии, связанного с существенной ревизией концепции Виноградова, поскольку в ней содержался прямой отказ от исследования проблем фразеологии применительно к речевой деятельности. Однако этот период не породил новых теоретических оснований для рассмотрения материала фразеологии и его знаковой природы, поскольку он еще связан своего рода кровными узами с учением В.В. Виноградова, ядром которого является установка на выявление структурно-семантических особенностей фразеологизмов, а не на специфичность их знаковых функций *sui generis*.

Думается, что наступило время подвести итоги этих двух периодов развития фразеологии как особой лингвистической дисциплины (чему и посвящена Часть первая книги) и наметить новые перспективы, которые открываются на пути исследования знаковой природы единиц фразеологического состава языка во всем многообразии их проявлений в живой речи.

Знаковую специфичность фразеологизмов-идиом (или «сращений» и «единств» — по терминологии В.В. Виноградова, которым и посвящена в основном данная монография, поскольку проблематика, связанная с исследованием фразеологических сочетаний достаточно подробно освещена в нашей работе [1981]), мы усматриваем в том, что они представляют собой микротексты, в номинативное основание которых, связанное с ситуативным характером обозначаемого, втягиваются при его концептуализации все типы информации, характерные для отображения ситуации в тексте, но представленные во фразеологизмах в виде «свертки», готовой к употреблению как текст в тексте.

С нашей точки зрения, информация о так называемой объективной действительности, которая составляет содержание денотативного аспекта значения такого микротекста, формирует его «тему». К «реме» же относится весь кортеж коннотативных аспектов значения: информация об отношении потенциального для такого микротекста субъекта речи к этой обозначаемой «теме» — о его эмпатии, связанной с пресуппозициями дискурса, в который включается в ходе его организации фразеологизм; о рационально-оценочном отношении к самому обозна-

чаемому, сигнализирующему о ценностной ориентации субъекта речи; об эмоционально-оценочном (эмотивном) отношении, свидетельствующем о психологическом восприятии субъектом не столько самого обозначаемого, сколько его образного аналога; о культурно-национальной рефлексии субъекта, сознательно или «на уровне» бессознательного соотносящего образное содержание фразеологизма с эталонами и стереотипами культурно-национального мировидения и миропонимания; об осознании тех условий речи, в которых уместно или же неуместно использовать фразеологизм, в чем также существенную роль играет образ, явленный в «буквальном» прочтении фразеологизма.

Различию приведенных выше типов информации, соответствует и различие когнитивных процедур, осуществляемых в речи как говорящим, так и слушающим. Чтобы эксплицировать это различие в модельном представлении смыслового содержания фразеологизмов, в книге разработана макрокомпонентная модель, описывающая значение во всех указанных выше его аспектах.

Текстовая природа придает фразеологизмам-идиомам статус особых языковых знаков и объясняет их приспособленность к функции характеризующей предикации: они служат для указания на факторы субъекта — на интенции говорящего или слушающего, которые и являются «вершинными» для значения фразеологизмов, а фактор объекта обозначения обеспечивает идентификацию того, что является поводом для проявления этих интенций.

Именно эта природа фразеологизмов обуславливает необходимость их исследования в рамках зарождающейся в науках гуманитарного цикла антропологической парадигмы. В соответствии с этой парадигмой в центр внимания лингвистических штудий перемещается человеческий фактор в языке vs. языковой фактор в человеке. Фразеологический корпус языка — особенно богатый материал для исследования этого взаимодействия, поскольку в нем концептуализированы не только знания о собственно человеческой, наивной картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но и как бы запрограммировано участие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры.

Фразеологический состав языка — это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание. Поэтому в книге особое внимание уделено культурно-национальной коннотации фразеологизмов и ее роли в воспроизведении обыденного менталитета. Описание свойств фразеологизмов-идиом как «языка культуры» подтверждает высказанную в гипотезе Сепира-Уорфа

мысль о том, что язык (по крайней мере, по нашему мнению, — его фразеологический состав. — *В.Т.*) «навязывает» его носителям культурно-национальное миропонимание. Этой теме посвящена в монографии Часть третья.

Предлагаемая читателю концепция фразеологии — это плод многолетних размышлений автора над проблемами, теоретическое пространство которых и их практическая проверка расширились и углубились благодаря двум фактам: участием в создании Фразеологического подфонда Машинного фонда русского языка в разработке для него Макета словарной статьи, способной отразить все типы информации, несомые фразеологизмами, — с одной стороны, а с другой — осознанием того, что вывести фразеологию из стагнации сможет только расконсервация ее методов, согласованность их методологических оснований с установками антропологической парадигмы лингвистики, интенсивно развивающейся в последние десятилетия под эгидой когитологии.

Изложенная концепция нашла свое внедрение в вышедшем под научной редакцией автора идеографическом «Словаре образных выражений русского языка», созданном вместе с группой коллег-единомышленников. И предлагаемая читателю книга в целом имеет своего рода коллегиальный характер: основные ее положения постоянно обсуждались на семинарах Проблемной группы по общей фразеологии и компьютерной фразеографии Института языкознания РАН. Особую благодарность в этой связи хочется выразить Н.Г. Брагиной, Д.О. Добровольскому, В.И. Зимину, М.Л. Ковшовой, И.Г. Носенко, И.И. Сандомирской, Е.О. Опариной, Е. А. Рысевой, а также В.Г. Гаку, Е.Л. Гинзбургу и С. Лубенски (США), в беседах с которыми уточнялась концепция книги. Автор бесконечно благодарен и сотрудникам по Лаборатории теоретического языкознания Института языкознания РАН за то высокопрофессиональное общение, в ходе которого вызревали основные идеи, воплотившиеся в плоть авторской концепции. И наконец, автор выражает искреннюю благодарность рецензентам данной монографии — Т.З. Черданцевой и В.З. Демьянкову, прочитавших книгу в рукописи и сделавших ряд ценных для нас замечаний.

ЧАСТЬ I

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУТИ, ПРОЙДЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЕЙ КАК ОСОБОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

О фразеологии — ее предмете и проблемах написано уже так много и с разных позиций не только у нас, но и за рубежом, о чем свидетельствует библиография к данной книге, что очередной обзор был бы «повторением пройденного», особенно в изложении перепитий того классического периода в ее развитии, которым с полным правом может гордиться прежде всего отечественная наука. И все же пройдено так много путей. Одни достигли цели, другие же зашли в тупик. Но есть еще и «нехоженые тропы». На этих трех ситуациях, а не исчислении заслуг или заблуждений тех или иных фразеологов мы и остановимся в данном разделе, играющем роль не историографического, а теоретического введения к предлагаемой читателю книге. Такая постановка задачи позволит, как представляется, касаться постановки наиболее общих проблем и методологических оснований их решения, а не поступательного развития фразеологии.

Естественно, что фразеология возникла в России не на пустом месте. В трудах А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова, И.И. Срезневского, М.М. Покровского, А.А. Потевни, а уже в советский период — С.И. Абакумова, Л.А. Булаховского, а также Е.Д. Поливанова и Б.А. Ларина уже содержались наблюдения над теми или иными семантическими или грамматическими особенностями устойчивых сочетаний слов, высказывались мысли о природе этой устойчивости и воспроизводимости.

Классический же период фразеологии, о котором речь пойдет ниже, «имел одну, но пламенную страсть» — выделить объект фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины и соответственно — отграничить ее единицы как от слов, так и сочетаний слов. В этом и полагалась основная задача.

Исторически так случилось, что эта задача выполнялась в русле идей структурализма. Поэтому проблема тождества и различия и все нюансы этой контрверсы применительно к единицам фразеологичес-

кого состава языка оказались центральными для фразеологии, бурное развитие которой приходится на конец 40-х — середину 60-х годов XX века. В этой связи уместно указать на тот почти полувековой разрыв, который существует между известной книгой Ш. Балли «Французская стилистика», где впервые в явной форме были сформулированы признаки устойчивых сочетаний слов и основания их классификации [1909, (русский пер. — 1961)], и первыми работами акад. В.В. Виноградова, посвященными выделению типов фразеологических единиц [1946; 1947]. И как это ни странно — в этот период на Западе так и не сложилось фразеологической школы. В советском же языкознании идеи В.В. Виноградова сразу же нашли ярких последователей, благодаря трудам которых (на материале русского, английского, немецкого, французского языков и языков народов СССР) фразеология к середине 60-х годов обрела достаточно четкие контуры именно как самостоятельная лингвистическая дисциплина.

К этому времени уже высказаны те идеи, которые связывают с плеядой последователей В.В. Виноградова, представленной общefразеологическими концепциями таких выдающихся ученых-фразеологов, как В.Л. Архангельский, В.П. Жуков, А.В. Кунин, А.Г. Назарян, Р.Н. Попов, Л.И. Ройзензон, А.И. Смирницкий, И.И. Чернышева, Н.М. Шанский и другие; вышел в свет программный сборник «Проблемы фразеологии» [1964], а в 1967 г. опубликован «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова.

Плодотворность этого классического для фразеологии периода велика и несомненна. Однако уже в упомянутых авторских концепциях стали обнаруживаться расхождения во мнениях относительно типологии фразеологизмов, ее объема, а следовательно — и методов исследования, хотя они не выходили за рамки структурно-таксономической идеологии. Этим расхождениям во многом способствовала и сама проблематичность выдвинутых В.В. Виноградовым постулатов, многие из которых не укладывались в указанную доктрину.

Одно из них — это отношение к мотивированности, т.е. к роли в значении фразеологизмов образного содержания. Так, стремясь на основе строго «значимостного» критерия отграничить полностью переосмысленные устойчивые сочетания слов (которые у Ш. Балли в связи с европейской традицией названы идиомами) от сочетаний слов, свободно образующихся в момент организации речи, В.В. Виноградов использовал тот же критерий «невыводимости» значения целого из значений составляющих сочетание слов в их «обычном» значении, но при этом придавал феномену мотивированности какую-то особую роль, что на-

шло отражение в разграничении им «фразеологических сращений» и «единств» [1946; 1947а; 1947б; 1951].

Однако в тот классический период, о котором идет речь, доминировало соизмерение устойчивых и идиоматичных сочетаний слов с их свободными (или гипотетически возможными) аналогами. Даже в постклассический период значение сочетания слов, а не образ самой ситуации, являющийся такой же «принадлежностью» этих знаков, как и их собственное значение, остается своего рода методической «меркой» семантической точкой отсчета, с позиций которой описывается значение фразеологизмов. Примером такого «соизмерительного» подхода к семантике фразеологизмов могут служить метод идентификации, разработанный еще Ш. Балли и перенесенный на почву отечественной фразеологии А.В. Куниным, метод аппликации, т.е. наложения значения свободного сочетания слов как такового на значение сочетания, обладающего свойством идиоматичности и устойчивости (см. [Жуков 1978]).

Можно сказать, что именно эта идея — соизмерение фразеологизма со свободным сочетанием слов и выведение из этого различий в них и дали тот реестр признаков фразеологических единиц, который содержит до четырнадцати позиций (см. [Архангельский В.Л. 1964]). Основное новшество, которое было введено в рамках школы В.В. Виноградова, — это принцип системного описания вариантности, полисемии, синонимии, антонимии и омонимии, а также стремление описать фразеологизмы по частеречным классам, несмотря на сопротивление материала. Эта проблематика разрабатывается и по сей день, (см. например, работы Молоткова, Чепасовой и др.), хотя фразеологизмам тесно в «прокрустовом ложе» категории частей речи.

Другим из наиболее оригинальных и интересных с общелингвистической точки зрения постулатов концепции фразеологии В.В. Виноградова — до сих пор еще не оцененного в должной мере ни у нас, ни тем более в зарубежной лингвистике — было введение категории *св я з а н н о с т и з н а ч е н и я* для тех случаев, когда один из компонентов сочетаний сохраняет свое «свободное» значение, т.е. значение, реализация которого не зависит от лексического контекста, а другой — получает значение «несвободное», реализация которого всегда «связана» с определенным словом (или рядом слов), сохраняющим свое свободное значение, как в случаях типа *зло, отчаяние, страх, ужас, смех берет*, но не говорят *уныние, испуг, радость берет*, хотя слова *отчаяние* и *уныние, страх* и *испуг, смех* и *радость* близки по значению. Ср. также: *раб страстей, моды, любви*, но **раб пристрастий, ненависти* и т.п., *щекотливое обстоятельство, положение*, но **щекотливая*

ситуация и т.п. (и в дальнейшем для обозначения ограничений в сочетаемости будет использоваться знак «астериск»). Особенность этих фразеологических сочетаний (по терминологии В.В. Виноградова) состоит, как считает автор, в том, что реализуемые в них связанные «лексические значения могут проявляться лишь в связи со строго определенным кругом понятий и их словесных обозначений. При этом для такого ограничения как будто нет оснований в логической или вещной природе самих обозначаемых предметов, действий и явлений» [1947б, 26] (см. также [1946; 1947а]). ✓

Для того, чтобы оценить новаторство этой части фразеологической концепции В.В. Виноградова по сравнению с концепцией Ш. Балли, уместно напомнить, что последний считал основным критерием для выделения фразеологических групп, или «обычных сочетаний» (которым соответствуют в терминологии В.В. Виноградова фразеологические сочетания), не что иное, как обычай, который «предписывает употребление одних слов и отвергает другие», о чем могут свидетельствовать примеры, приведенные Ш. Балли: *désirer ardemment* 'страстно желать' и *aimer éperdument* 'страстно любить' с замечанием о том, что наречия в этих словосочетаниях не взаимозаменяемы [1961, 92]. Ш. Балли также пишет о связанности семантически реализуемого значения, но скорее метафорически: «Когда абстрактное существительное, прилагательное или глагол, сохраняя свою независимость, кажутся с в я з а н н ы м и в с и л у о б ы ч а я с другим словом, обозначающим качество, роль этого слова нередко сводится к тому, что оно усиливает основное значение существительного, прилагательного или глагола, не добавляя никакого нового оттенка, не ограничивая и не уточняя исходное понятие» [93] (разр. наша — В.Т.) ✓

Главным же критерием для выделения фразеологических групп различных типов — глагольных, атрибутивных и именных остается «впечатление чего-то виденного, знакомого, привычного» [92], т.е. их обычность или, говоря иными словами, — у з у с у п о т р е б л е н и я.

Как уже отмечалось выше, В.В. Виноградов не только ввел в научный обиход понятие фразеологически связанного значения как особого типа лексического значения, но и определил его статус как моносемного слова, так и в структуре многозначного слова. В работе «Основные типы лексических значений» он писал: «... многие слова или отдельные значения многих слов, преимущественно переносного или синонимического характера, ограничены в своих связях. Эти значения могут появляться лишь в сочетании со строго определенными словами, т.е. в узкой сфере семантических отношений. Вокруг многозначного слова группируется несколько фразеологических серий. Б о л ь ш а я ч а с т ь

значений слов фразеологически связна. Иметь разные значения для слова чаще всего значит входить в разные виды семантически ограниченных фразеологических связей» [1953, 176] (разр. наша — В.Т.).

Таким образом здесь постановка проблемы фразеологических сочтаний увязана и с системой лексических значений и с их полисемией, само богатство которой во многом обусловлено наличием фразеологически связанных значений, что обязывает последовательно описывать такие значения в структуре многозначного слова. И в этом — одна из капитальных для лексикологии теоретических установок, прежде лишь спонтанно выполнявшихся в лексикографии, а после выхода работ В.В. Виноградова ставших основой для выделения лексико-семантических вариантов слова (см. [1947б; Ахманова 1957; Уфимцева 1962]). И не случайно У. Вейнрейх усмотрел в этом одно из несомненных достижений советской лексикологии [Weinreich 1966].

Второе из не менее важных последствий выделения фразеологически связанного значения в отдельный тип лексического значения — привлечение внимания к характеру семантических отношений между их компонентами.

Особую важность, с нашей точки зрения, представляет и мысль В.В. Виноградова о том, что «фразеологически связанное значение (как особый тип значения — В.Т.) лишено глубокого и устойчивого понятийного центра. Общее предметно-логическое ядро не выступает в нем так рельефно, как в свободном значении. Оно не вытекает ни из функции составляющих слово значимых частей (если это слово производное), ни из отношений этого слова к реальной действительности. Значение этого рода — “рассеянное”: оно склонно дробиться на ряд оттенков, связанных с отдельными фразеологическими сочетаниями» [1953, 176—177] (разр. наша — В.Т.). Эта типологически существенная особенность связанного значения была показана автором на ряде примеров: (глагол *отрасти* обычно применяется к узкому кругу объектов — к волосам, усам, бороде, ногтям, поэтому в его толкование должны быть введены сведения об ограничении на выбор именно этих объектов, тогда и «величина» роста будет корректироваться знанием о размерах этих объектов (в настоящее время в таких случаях принято говорить о когнитивном прочтении значения, т.е. об отражении в значении знания о свойствах объекта); прилагательное *чреватый*, выпедшее из его «первичного» значения, которое включалось в синонимический ряд *брюхатый*, *беременный*, *пузатый*, развивает «рассеянное», или диффузное, значение ‘способный вызвать, породить какие-либо последствия, события’,

«реализуемое в сочетании с формой творительного падежа ограниченной группы отвлеченных существительных (чаще всего последствиями)» [1953, 177], Из этого следует, что диффузность непосредственно сопряжена с семантикой этих отвлеченных существительных; у глагола *впасть*, прямое номинативное значение которого устарело и вышло из употребления, выделены два связанных значения — ‘стать впалым’ (о щеках, глазах/очах, реже — рте, губах, висках, груди, боках) и конструктивно обусловленное — полувспомогательное: ‘начать испытывать какое-нибудь состояние (тягостное, предосудительное)’ или ‘проявить признаки чего-нибудь (расцениваемого отрицательно)’: *впасть в бешенство, в отчаяние, в сомнение... в ересь, в противоречие, в пошлый тон* и т.п. [1958, 178], из чего так же, как и из предшествующего примера, видно, что как первое, так и второе из значений глагола *впасть* зависит от значений этих конкретных существительных либо от существительных, обозначающих чувства или ментальные состояния.

Постулат о том, что фразеологически связанное значение как особый тип значения лексического, действительно лишено «глубокого и устойчивого понятийного центра», что характерно для слов в их свободных значениях, наряду с утверждением о том, что значение «склонно дробиться на ряд оттенков, связанными с отдельными фразеологическими сочетаниями» предоставляет возможность двух решений.

Одно из них — это попытки все-таки описать такое значение в его оттенках, полагаясь на данные его исторического развития, как это делал сам В.В. Виноградов, вписав его в синхронную систему значений — моносемных или полисемных. При таком решении связанное значение рассматривается как своего рода «организующий» элемент фразеологического сочетания о чем свидетельствует высказывание самого В.В. Виноградова: «Количество фраз, группирующихся вокруг того или иного связанного значения слова и образующих своеобразную замкнутую фразеологическую серию, может быть очень различно — в зависимости от семантических потенций, от вещественно-смысловой рельефности этого значения, от характера его выделяемости» [1953, 181]. В этом случае мотив переосмысления слова выводится только из его «былого употребления» и отходит к историческим сведениям, а выделение связанного значения осуществляется на базе фразеологических серий.

По этому пути и пошла школа Виноградова. Так, из того, что слово типа *впасть* организует серию *впасть в бешенство, отчаяние, в сомнение* и т.п., делается вывод о наличии у него связанного значения, а объяснение ограничений в выборе тех или иных из возможных отвлеченных существительных должно основываться только на данных ис-

торического порядка, но не собственно семантического, так как здесь существенны только «внутренние, семантические отношения самой языковой системы» [1947а, 26]. А раз так, то естественно и признание в том, что «в выделении и определении фразеологически связанных значений слов особенно легко ошибиться, так как их применение не дает достаточных средств для проверки их значения» [1953, 180]. Действительно, если опираться только на способность связанного значения входить в фразеологическую серию как исторически сложившийся круг употреблений слова, то средства проверки могут быть найдены только в историческом «срезе», а это нарушает принцип синхронности.

Заметим, что В.В. Виноградов не отступал от структуралистской идеологии, хотя в его же работах неоднократно высказывались и мысли, которые входили в противоречие с этой идеологией. Например, он обращал внимание как в своих ранних работах, так и в работе об основных типах лексических значений на то, что «далеко не все значения слов в живой функционирующей лексической системе непосредственно направлены на окружающую действительность и непосредственно ее отражают» [175], следовательно — они лишены прямой номинативной функции.

Как ни странно, но В.В. Виноградов не предпринял попытки определить категорию связанности значения в русле теории номинации, что потребовало бы при определении этой категории исходить из семантики тех слов, которые и исторически обусловили формирование связанного значения у семантически зависимого слова, опосредуя его соотнесенность с миром. Этот переход значения в новую категорию рассматривался автором в собственно исторической ретроспективе, а не с точки зрения живых номинативных процессов.

Итак, в разделении мотива переосмысления и формирования связанного значения как фактора сугубо исторического и «понятийного ядра» как данности системно-значимостной, т.е. строго синхронной, мы усматриваем одно из тех противоречий концепции связанного значения В.В. Виноградова, которое не могло не сказаться на принципах и путях его исследования и описания: с одной стороны, оно выделено на основе былых употреблений, т.е. явно номинативных процессов, а с другой — это значение было отдано на откуп узусу употребления и его предлагалось описывать исходя из образующих им серий, что и стало предметом последующих штудий, посвященных связанному значению как конституирующему элементу фразеологических сочетаний.

Следует отметить еще одно противоречие, характерное для школы Виноградова: фразеологические сочетания были выделены здесь в особый

тип фразеологизмов, но само связанное значение было причислено к особому типу значения лексического и его предлагалось рассматривать в единой лексико-семантической системе языка, о чем свидетельствуют многочисленные высказывания В.В. Виноградова. К примеру: «...далеко не все значения слов в живой функционирующей лексической системе непосредственно направлены на окружающую действительность и непосредственно ее отражают. Многие значения слов замкнуты в строго определенные фразеологические контексты и используются для обмена мыслями в соответствии с исторически установившимися фразеологическими условиями их употребления» [1953, 175]. Здесь недвусмысленно указано на то, что связанное значение принадлежит лексической системе, а его особенность заключена в условиях употребления во фразеологических связях. Тем самым устанавливалась принадлежность связанных значений к лексическому значению, а на долю фразеологии приходилось описание их фразеологических контекстов.

Однако эта установка нашла весьма своеобразное развитие. Часть фразеологов вообще отказалась как от изучения связанного значения, так и от включения в объем фразеологии его фразеологических контекстов и занялась описанием только ее «ядра» — фразеологизмов-идиом (см., например: [Кунин 1970; Молотков 1977; Жуков 1978]). Другая же часть, включая фразеологические сочетания в объем фразеологии, рассматривала здесь связанное значение исключительно как «фразеобразующий» компонент сочетаний, не придавая должного внимания значению «свободных» компонентов и их номинативной роли [Шанский 1963; Архангельский 1964; Чернышева 1970 и др.]. Этот подход прослеживается даже в таких исследованиях, которые описывали фразеологическую сочетаемость, исходя из серий связанных значений, а не из того слова, которое во фразеологических сочетаниях играет роль «семантически ключевого», определяя связанное значение только как параметрическое [Жолковский, Мельчук 1966; Апресян 1974]. И это осталось характерной тенденцией описания фразеологических сочетаний и для постклассического периода развития фразеологии (см., например: [Гвоздарев 1973]).

Небезынтересно отметить, что в итоге связанное значение как особый тип лексического значения оказалось вне поля зрения как лексикологов, поскольку они относили его к компетенции фразеологии, так и фразеологов, так как последние, как уже отмечалось, вообще не включали его фразеологические контексты в предмет своего исследования либо рассматривали его только как узуально конституирующий компонент фразеологических сочетаний.

Обращение к контент анализу фразеологической концепции В.В. Виноградова показывает, что сам автор не нарушал ее внутренней логики — скорее у него было стремление слишком последовательно разграничить синхронный срез системных связей слов и историческую ее ретроспективу, полагая последнюю необходимой для раскрытия внутриязыковых семантических закономерностей формирования связанного значения, но не играющей роли в его современном употреблении. И с этим нельзя не согласиться. Однако странное и непостижимое невнимание к номинативному аспекту фразеологических сочетаний привело к одностороннему (в прямом смысле) рассмотрению связанного значения как фразеологически маркированного компонента, в то время как это значение потому и связано, что способно обозначить признак того наименования, которое является опорным для сочетания в целом и которое выступает в своем свободном значении. Но для описания фразеологических сочетаний в таком режиме необходимо обращение к номинативному аспекту фразообразования, чуждому для В.В. Виноградова и его школы, руководствующейся идеей соизмерения фразеологизмов и переменных сочетаний слов на всех уровнях проявления их тождеств и различий, относительно которых и выводится признак воспроизводимости «в готовом виде» в той или иной степени устойчивости.

Идее такого соизмерения по существу следовали и те лингвисты, работы которых трудно отнести к классической парадигме школы В.В. Виноградова так как они стремились применить к описанию единиц фразеологии дескриптивные методы.

Прежде всего необходимо упомянуть одну из ранних работ по фразеологии И.А. Мельчука, посвященную проблеме устойчивости и идиоматичности сочетаний слов [Мельчук 1960], в которой предпринята попытка найти формальные критерии этих признаков.

Под устойчивостью автор понимает предсказуемость появления элементов сочетания в определенном порядке относительно одного из них [73]. Например, устойчивость сочетания *бить баклуши* относительно элемента *баклуши* равна 100%, а относительно элемента *бить* — нулю. Этот подход к проблеме устойчивости оказался безусловно плодотворным для поиска такого рода фразеологизмов в компьютерных системах перевода или хранения, в которых стало возможным вести поиск и по нескольким элементам (например, в *выносить сор из избы* комбинация *выносить сор* с достаточной степенью предсказуемости «наводит» на элемент *сор* и т.п.). ✓

В этом определении нельзя не усмотреть влияния идей чисто дескриптивного подхода к описанию языковой комбинаторики — со всеми вытекающими отсюда «технологическими» преимуществами и

теоретическими недостатками. К последним можно отнести, то, например, что сама устойчивость может быть связана не с лексическими факторами, а являться следствием семантического преобразования (как, например, в идиомах типа *выносить сор из избы, перегнуть палку*, и т.п.). Но сама попытка использовать критерий предсказуемости нашла развитие и в критерии «ограничения в выборе переменных» (принадлежащем Л. Ельмслеву), который был взят на вооружение в концепциях В.Л. Архангельского и А.В. Кунина, распространивших его на все «уровневые» элементы структуры фразеологизмов.

Релятивизированным к переводу оказался критерий идиоматичности, сформулированный И.А. Мельчуком в этой работе: «Сочетание является идиоматичным, если и только если в него входит хотя бы одно такое слово, которому при переводе сочетания в целом пришлось бы приписать переводной эквивалент, возможный для данного слова только при появлении этого слова одновременно со всеми остальными элементами сочетания (в определенном порядке), причем данное слово может встречаться без остальных элементов и имеет тогда другой перевод» [75]. Мы позволили себе привести это определение целиком по нескольким мотивам. Первый — ради красоты самого определения и его четкости. Второй — ради того, чтобы показать, что и в нем использован принцип «внутриязыковой» идентификации Ш. Балли, в то время как значение фразеологизма в любой его разновидности не сводимо, а потому и не выводимо из значения слов-компонентов. Третий — в этом определении в неявной форме указана зависимость от «источника» идентификации — от словаря, по которому определяется единица перевода. В явной форме это было сформулировано И. Бар-Хиллелом (сноска на работу которого содержится в статье И.А. Мельчука): если говорящий «тонко» владеет языком, то он не сочтет идиоматичными сочетания типа *душа/сердце болит, в глубине души, держать под каблучком* и под., так как для него компоненты *болит, в глубине, держать* не требуют единичного перевода.

И тем не менее это определение идиоматичности и по сей день позволяет формализовать интуицию говорящего (тем более — лингвиста), благодаря тому, что оно по своей сути фокусирует ту «протяженность» сочетаний, которая является образным ядром фразеологизма. Это особенно важно для словарной практики — для отграничения собственно идиом и слов-сопроводителей, в которой нередко еще наблюдаются колебания: в вокабулу здесь может выводиться не только собственно идиома, но и ее «внешнее окружение». Ср., например, описание как целостной идиомы *держат в уме/в голове* [ФСРЯ, 136] и *держат в мыслях/в голове/в памяти* [РБФС, 349], хотя если следовать крите-

рию единичности перевода, то *держат* в этом случае не имеет «единичного перевода»: (ср. *держат* как обозначение «континуального» аспекта в *держат под каблуком/под колпаком/под крылышком* и *держат* как отражение собственно образного основания в *держат камень за пазухой, держат язык за зубами* и т.п.).

Мы обратили внимание на эту способность определения идиоматичности, данного И.А. Мельчуком, еще и потому, что в дальнейшем оно легло в основу введения понятия (в соавторстве с А.К. Жолковским) лексических функций (или лексико-грамматической парадигмы) устойчивых сочетаний слов всех типов (где, в частности, слова-сопроводители идиом *в уме/в голове/в мыслях* получают разные параметрические значения: инцептивности — *приходить в/на ум/в голову/в мысли*, континуальности — в уже приведенных примерах, финальности — *вылетать из головы* и т.п.).

Таким образом уже в классический период развития фразеологии в ней вызревали идеи, выходящие за рамки поисков тождества и различия фразеологизмов и свободных сочетаний слов и переводящие проблематику фразеологии в поиски универсальных для языковой техники закономерностей их организации. И это явно расширяло и углубляло эту проблематику не только рассмотрением связанных с нею лексико-грамматических проблем, но и поисками причин устойчивости и идиоматичности фразеологизмов как специфического проявления общеязыковых закономерностей.

Именно в этом ракурсе следует, как представляется, рассматривать одну из наиболее оригинальных в отечественной фразеологии концепцию Н.Н. Амосовой, пронизанную стремлением избежать влияния идей В.В. Виноградова. Блестящая сама по себе критика этой последней со стороны Н.Н. Амосовой, касающаяся и того, что В.В. Виноградов опирался на критерии мотивированности, не привела автора к уточнению семантического своеобразия фразеологизмов по сравнению со свободным сочетанием слов, а наоборот, увела его в еще более формализованные приемы контекстологического анализа.

Согласно концепции Н.Н. Амосовой, фразеологизмы-идиомы определялись как единицы особого рода постоянного контекста. Этот последний характеризуется на основе «традиционной избирательности» одного слова, выступающего как единственно возможный «указательный минимум» для другого, обретающего, по терминологии Н.Н. Амосовой, «фразеологически связанное значение» [1963, 58—59]. Единицы такого постоянного контекста названы автором *ф р а з е м а м и*. Это сочетания с единственно возможным указательным минимумом для семантической реализации другого слова, как, например, англ. *husband's*

tea 'жидкий чай', broken tea 'спитой чай', frame of mind 'умонастроение, склад ума' и т.п. Идиомы же характеризуются на основе критерия «единичной сочетаемости каждого из слов при данном значении». Например, в идиомах mare's nest 'нелепица, абсурд', to put (one's) cards on the table 'открыть свои планы' и т.п. ни одно из слов-компонентов не «прогнозирует» ни появление вместе с ним другого, что присуще переменному или постоянному контексту, ни его смысловой нагруженности [1963, 72—102].

Нельзя не заметить, что в концепции Н.Н. Амосовой ведется поиск не столько знакового своеобразия фразеологизмов разных типов, сколько все тех же признаков их тождества и отличия от свободных сочетаний слов как единиц переменного контекста и признаков различия типов фразеологизмов как единиц постоянного контекста. Не вписавшиеся в эти виды контекстов устойчивые сочетания слов типа to pay attention 'оказывать внимание' и под. были выведены автором за пределы собственно фразеологии в довольно размытую сферу стилистического узуса и названы ф р а з е л о и д а м и [70].

Подобного рода фразеологические сочетания по причине того, что «новые, индивидуальные употребления слова дают себя знать сначала в отдельных фразеологических сочетаниях», часто обогащая синонимические отношения связанных значений как внутри этих сочетаний, так и в способах перифразирования, и В.В. Виноградов связывал со стилистической функцией, что, по его мнению, «тесно объединяет лексикологию и стилистику» [1953, 183]. В истинности этого утверждения не приходится сомневаться. Ср., например, *напиться/нализаться* или *надоесть/опротивить до чертиков*, где *до чертиков* употребляется только в ограниченных «фразеологических контекстах», в данном случае — глагольных, а перифразы типа *помочь* ↔ *оказать помощь*, *навестить* ↔ *нанести визит* или *приказать* ↔ *отдать приказ* и т.п. явно различаются по стилистическому регистру. Однако, стилистическая маркированность — это лишь одно из «созначений» слова (см. термин «стилистическое значение», используемый Т.Г. Винокур [1980] и рядом других исследователей). Но без обретения собственно номинативного значения слово не может манифестировать ни стилистическую, ни оценочную, ни экспрессивную значимость, ни тем более — выполнять знаковую функцию.

Именно знаковая функция фразеологизмов оказалась менее всего исследованной в этот классический период развития фразеологии. На что были свои причины. И главная из них заключается, с нашей точки зрения, в том, что поиск признаков фразеологичности велся не «изнутри» их собственной содержательной стороны, предопределяющей как

отношение знака к миру (его семантику — в понимании Ч. Морриса), так и отношение знака к говорящему или говорящего — к знаку (его прагматику), а также соотношение фразеологизма и его окружения — синтактику знака. Путь к дальнейшему развитию фразеологии вел к решению проблемы знаковой организации различных типов фразеологизмов. Без определения специфики фразеологизмов как особого рода знаков языка вряд ли теоретически обоснованным можно считать и определение их как особых единиц языковой системы. Это прекрасно осознавали наиболее яркие представители школы В.В. Виноградова (см., например: [Архангельский 1964]).

Однако основной задачей этой школы оставались проблемы поисков структурно-системных критериев определения специфики фразеологизмов с целью их отграничения от свободных сочетаний слов и установления признаков системности единиц как внутри фразеологического состава, так и в его взаимодействии с лексико-семантической системой языка.

К середине шестидесятых годов велся уже не столько поиск новых критериев или признаков фразеологичности, сколько возможности приложения тех или иных структурных методов к описанию единиц фразеологического состава (см., например, [Попов 1976]).

«Классический» период исчерпал свою проблематику, о чем свидетельствовало отсутствие новых идей и грозившая стать вечной проблемой дискуссия об объеме фразеологии. Осознание завершения этого этапа дало нам повод для обзорной работы «Что такое фразеология», выпущенной еще при жизни акад. В.В. Виноградова [1966] и как бы подводившей итог попыткам решения поставленных им задач, что рассматривалось в том же концептуальном пространстве, в каком эти проблемы ставились (см. также [Телия 1968]).

Постклассический период фразеологии можно охарактеризовать, пожалуй, как «болезнь роста»: корпус фразеологии уже выделен, но надвигается кризис идей, для преодоления которых необходимо было вновь «навести мосты» между лексикологией и фразеологией, тем более что и первая испытывала острую необходимость в избавлении от жесткости структурно-таксономических доктрин, хотя они еще долго оказывали и продолжают оказывать существенное влияние на методологию этих тесно переплетенных дисциплин.

Для этого нового сближения, которое немало способствовало обогащению фразеологии новыми идеями, существенным явились по крайней мере следующие процессы в развитии теории языкознания:

— все увеличивающееся внимание к динамике языковой системы,

нарушающей четкую противопоставленность синхронии и диахронии в структурных методах анализа;

— перемещение в центр внимания проблем лексико-грамматической организации высказывания, приведшей к «сращиванию» методов лексикологии и синтаксиса;

— актуализация проблем языковой номинации, обусловленная вниманием к речемыслительным аспектам языковой деятельности.

Эти теоретические и методологические установки поначалу остались как бы вне интересов собственно фразеологии, которая, заточив себя в панцирь «особой лингвистической дисциплины», продолжала искать свои особые же методы исследования материала. Тем не менее приведенные выше факторы, тем или иным путем проникая в исследование материала фразеологии, расплывали ее «классические» основания.

Одним из таких «подрывных устройств» явилась критика всемогущества структурных методов, которыми фразеология стремилась следовать, но которые «со скрипом» подходили к описанию единиц фразеологического состава языка: нерегулярность и аномальность лежат не только в основании их образования, но проявляются и в закономерностях функционирования, в то время как структурализм исходил из «всеобщей» парадигматичности и синтагматичности языковых единиц. На методах структурализма базировалась, в частности, идея «фразеологического уровня», разрабатывавшаяся В.Л. Архангельским и А.В. Куниным и нашедшая приверженцев среди фразеологов, которые склонны были считать фразеологический состав особой системой (или подсистемой) языка.

Этой критике особенный авторитет придавали работы Д.Н. Шмелева, поскольку он исследовал проблемы не только лексикологии, но и фразеологии с единых семасиологических позиций. Именно им в явной форме была высказана мысль о том, что «принципы и методы, выработанные в фонологии, которая явилась наиболее благодатной областью структурно-таксономических исследований, многими своими чертами оказались притягательными и для исследования других сфер языка». Однако «поверхностное и механическое приспособление инородной терминологии к грамматике и лексике не могло способствовать прогрессу в этих областях науки». И далее: «Становится все более очевидным, что речь должна идти не о поисках различных фактов «изоморфизма» в узком смысле слова..., а об установлении основных принципов организации языка, которые, как это можно с большой долей вероятности предположить, являются общими для всех его «уровней» [1973, 9—10]. В этой же книге приводится высказывание Е. Курилови-

ча, отмечавшего, что «между расчленением семантической структуры на семантические единицы (элементы) и звуковым анализом лежит пропасть, которая дает возможность осознать, насколько глубоки различия между фонологией и семантикой. Расстояние, разделяющее их, столь же велико, сколь и то, которое лежит между элементами архитектурного стиля и физико-химическими свойствами материала, используемого для какого-либо сооружения» [Журилович 1962].

Можно только удивляться, что несмотря на такого рода предостережения, не только лексикология, но ее «ответвление» — фразеология искала как раз признаки изоморфизма с фонологией, которые и были перенесены в область семантики языковых единиц и прежде всего — в методику компонентного анализа, факты которого часто выдавались за онтологию, а также в сферу разграничения парадигматических и синтагматических отношений в лексике, хотя здесь закономерности сочетаемости не менее «семантически», чем комбинаторно (синтагматически) обусловлены.

В самом деле, трудно определить, где проходит раздел между семантической знака и его синтактикой, если сочетаемость рассматривать на том «уровне» анализа значения, где релевантно смысловое содержание синтаксических валентностей и, наоборот, если сочетания слов рассматриваются на уровне лексико-грамматическом, то релевантна способность слов заполнять элементы синтаксической конструкции. Например, глагол *прийти* в одном из его значений (которое соответствует фразеологически связанному по терминологии В.В. Виноградова), обладает такой синтаксической валентностью субъекта действия, которая семантически заполняется «неодушевленным непредметным субъектом, неспособным перемещаться в пространстве, но способным развиваться во времени: *Пришло время обедать, Пришла война, Пришла беда, Весна пришла*» [Гак 1972, 372]. Из этого следует также, что сама модель высказывания используется во вторичной для нее функции, а в основе ее переосмысления лежали, конечно же лексико-семантические причины. На фоне этих примеров становится понятной «парадоксальность» названия одной из и по сей день интереснейших работ В.Г. Гака «К проблеме семантической синтагматики», основным тезисом которой является утверждение о том, что «в естественных языках с и н т а к с и с с е м а н т и ч е н, т.е. его категории и элементы соотносятся определенным образом с внешними объектами, а с е м а н т и к а — с и н т а к с и ч н а, т.е. отражает отношения между символами-обозначениями. В связи с этим наблюдается стремление исследовать отражение парадигматических отношений в синтаксисе и синтагматических отношений в семантике» [Гак, 1972, 367].

Наряду с сомнениями в возможности жесткого разграничения синтагматики и парадигматики применительно к категории сочетаемости слов, динамическое состояние языковой системы наводило на мысль о том, что значение лексических единиц хранит «память о былом употреблении слова». «Парадигматические и синтагматические отношения определяют собственную значимость каждой единицы языка, к какому бы «уровню» она ни принадлежала. Вместе с тем представляется очевидным, что внутриязыковые отношения двусторонних единиц не исчерпываются их линейными (синтагматическими) и ассоциативными (парадигматическими) связями» [Шмелев 1973, 191] (разр. наша).

Эта историческая память особенно явственно проявляется в структуре значения многозначного слова. Анализируя (по данным словаря С.И. Ожегова) такие, например, первичные и производные значения, как *ремесленник* 'человек, который занимается ремеслом' и «тот, кто работает по шаблону», *пятно* — «место иной окраски на какой-нибудь поверхности, а также место, запачканное чем-нибудь» и «нечто позорящее, крайне неприятное» и т.п., Д.Н. Шмелев отмечает, что «связи между первичными и вторичными значениями этих слов для владеющих русским языком... не кажутся неожиданными, — напротив, они представляются вполне естественными. Однако на чем они основаны? [192]. И автор приходит к очень важному наблюдению: «...объединяющие соответствующие значения признаки — не являются ни дифференциальными семантическими признаками данных слов (ср. *река* — «водоем значительных размеров...» и переносное значение: «большое количество, масса», ни вообще конструктивными элементами значения... Следовательно, в известном смысле это не элементы собственно значения слова, а устойчивые ассоциации, связанные с представлением о явлении, которое обозначает слово. Но вместе с тем это и не полностью внеязыковые ассоциации... Когда какие-то значения квалифицируются в словарях как «переносные», — это свидетельствует о том, что они воспринимаются в связи с какими-то другими значениями, т.е. являются деривационно «связанными» [193, 194]. Этот вид деривационных или эпидигматических отношений, как считает автор, может быть интерпретирован как мотивированность — словообразовательная или семантическая.

Мы позволили себе привести этот достаточно представительный цитатный пассаж, чтобы сохранить научный стиль аргументации Д.Н. Шмелева, которая кажется убедительной.

Итак, помимо парадигматического и синтагматического «измере-

ний» как синхронно значимостных, в лингвистический обиход было введено еще одно измерение — эпидигматическое, оперирующее ассоциациями, которые мотивируют вторичные значения слов. Тем самым мотивированность, а она для фразеологизмов имеет в подавляющем большинстве случаев образный характер, была возведена в ранг смыслового содержания. Хотя еще предстояло раскрыть роль этого компонента не только в формировании значения (номинативный аспект его анализа), но и в его живом функционировании.

Чтобы ретроспективно оценить важность введения эпидигматического измерения лексики, приведем пример того, как строгое следование принципам структурализма, допускавшего в эвристике и в описании конкретных языковых фактов только «как-вопросы», исключая как неконкретные «почему-вопросы», сдерживало любую онтологизацию, ищущую опоры в мотивированности значения, тем более — в образной.

Категория вариантности идиом, несомненно принадлежащая динамическому аспекту системы, оперировала понятием «структурное варьирование», определение которого могло быть корректным, если лексические варианты квалифицировались именно как такие различия в компонентном составе, которые не нарушали тождества значения идиомы, т.е. не свидетельствовала о различии. В последнем случае предполагалось наличие синонимических единиц. Важность разграничения вариантов и синонимов очевидна: либо это одна и та же идиома, либо две разные идиомы.

Применительно к исследованию синонимии или вариантности критерий внутрифразеологического тождества и различия также оказывался по существу единственным, так как разграничение этих явлений могло опираться только на наличие/отсутствие дифференциальных признаков значения. С достаточной степенью адекватности этот критерий позволял отождествить идиомы с частичной заменой компонентов, если различия касаются стилистической окраски, как в случаях типа *материнское/матернино молоко на губах не обсохло* — разг./прост. и т.п. Тем более — отождествить абсолютные варианты, в которых замены не приводили ни к каким нюансам (типа *преградить путь/дорогу, сесть в калошу/в лужу* и т.п.). Эти идиомы достаточно четко противопоставлены своим синонимам: *материнское/матернино молоко* отличается от синонимичной идиомы *от горшка — два вершка* по признаку отсутствие опытности (при стремлении проявить себя), что выражается в употреблении этой идиомы в контекстах типа *От горшка два вершка, а уже...* (*подает советы, лезет во все дырки и под.*).

Однако специфика идиом заключается в том, что для них возможна

альтернация не только одного-двух компонентов, но и всего лексического состава. Так, идиома *с луны упасть* допускает следующие покомпонентные замены: *с луны/с неба упасть/свалиться* с их свободной вариантностью, что может привести к тому, что варианты *с луны свалиться* и *с неба упасть* полностью различаются по лексическому составу (описание такого рода варьирования как синкретивов (см. [Диброва 1989]). В этом случае возможно и появление смысловых оттенков. Ср. также *витать/парить в облаках/в эмпиреях/между небом и землей*, где *витать в облаках/в эмпиреях* отличается от *парить между небом и землей* смысловым оттенком бесплодности фантазий, грез, а *парить между небом и землей* содержит оттенок отрыва от реальной действительности. То, что это оттенки значения доказывает тот факт, что все эти идиомы имеют общее значение 'предаваться мечтам, оторванным от действительности'. Однако многие авторы (в том числе и авторы «Словаря фразеологических синонимов русского языка», изданного в 1987 г.) считают эти идиомы не вариантами, а синонимами.

Трудность найти аргументацию в пользу того, являются ли приведенные выше оттенки дифференциальными семами или нет, привела к определению вариантов как единиц, абсолютно тождественных по значению, которое может различаться только стилистической окраской (см., например [Кунин 1970]). Однако это скорее условное решение, нежели онтологизированное.

Мы коснулись проблемы вариантности еще и потому, что в своей исследовательской практике (см. [Телия 1968]) решали эту проблему в зависимости от того, является ли единым, общим образное основание идиом или же оно «инаковое»: в первом случае различие в компонентах, по нашему мнению, свидетельствует о вариантности, а во втором — о синонимии. Так, несомненно наличие единого образного основания в вариантах идиомы *сесть в лужу/калошу* (из *калюжа*, (см. [Мокиенко 1980, 136]), несмотря на различие его лексической манифестации, то же самое — во всех приведенных выше вариантных рядах. А появление смысловых оттенков — следствие того, что никакие лексические варианты не могут быть абсолютно тождественными: любое слово отличается от другого на ассоциативном уровне восприятия значения. Например, *витать в эмпиреях* более «фантастично», чем *витать в облаках* (последнее ассоциируется скорее со сновидениями и грезами), а *витать между небом и землей* ассоциируется в отрывом от реальной почвы, с беспочвенностью мечтаний; ср. также наличие оттенка интенсивности у варианта *переть на рожон* за счет ассоциаций с силовым напряжением, при том что *лезть на рожон* ассоциируется только с активностью действия и т.п.

Но структурная методология не могла принять критерий образности, коль скоро он принадлежит внутренней форме, роль которой в дистинктивных признаках значения отрицалась, так как образность не влияла на значимостную характеристику слова или фразеологизма. В категорической форме отрицание значимостной функции внутренней формы слова содержится и в следующем высказывании В.А. Звегинцева: «Не эта языковая мотивированность... (или, что то же самое, — «внутренняя форма» слова) управляет функционированием, а следовательно — и смысловым развитием слова» [1957, 192 и сл.]. Тем не менее и наш собственный опыт и тем более — аргументация Д.Н. Шмелева в пользу того, что без учета внутренней формы невозможно описать лексическое (а мы добавим — и фразеологическое значение), приведенная выше, убеждают в том, что образность, заключенная во внутренней форме, — как раз во многом и предопределяют не только развитие значения, но и особенности его функционирования.

Однако во фразеологии классического периода образность исследовалась только как факт «речевого обыгрывания» фразеологизмов, как стилевой почерк того или иного писателя или поэта, т.е. как явление речи, а не системы языка (см., например, незаслуженно забытые, но безусловно не утратившие своей новизны и в наше время работы И.В. Дубинского, в которых красной нитью проходит мысль о том, что образность — существенный интегральный компонент содержания фразеологизмов, влияющий на сохранение их тождества при всех видоизменениях при условии сохранения идентичности внутренней формы 1961)].

Таким образом, введение эпидигматического измерения как бы узаконивало обращение к мотивации слов и фразеологизмов, а тем самым — способствовало проникновению не только в «глубинное» их основание, но и в соизмерение значения фразеологизмов с образом той ситуации, которая называлась прямым значением сочетания слов, что не одно и то же, что само это значение. Как будет показано ниже, методологически это свершилось только в постклассический период развития фразеологии, когда мысль последователей обратилась к когнитивным аспектам значения.

Что касается собственной фразеологической концепции Д.Н. Шмелева, которая была обоснована еще в [1964, 220 и сл.], а в незначительными уточнениями излагалась в [1973; 1977], то она ориентирована на рассмотрение проблем фразеологии не в отрыве от лексикологии, а в тесной и многофакторной взаимосвязи с ней. Для этой концепции характерна неудовлетворенность такими критериями фразеологичности, как «семантическая целостность» или аналитичность, «немотивирован-

ность значения» и т.п. И хотя основные постулаты Д.Н. Шмелева базируются на уже высказанной Ш. Балли и В.В. Виноградовым мысли о противостоянии фразеологизмов всех типов свободным словосочетаниям, а общим для всех первых признается их связанность, последняя понимается, однако, более широко, чем в концепции В.В. Виноградова, а именно — как любое ограничение в свободной реализации, в связи с тем или иным фактором — парадигматическим, синтагматическим или деривационным.

В этом нельзя не усмотреть строго функциональной (в логическом смысле) зависимости такого ограничения от его «причины». Так, связанность лексических компонентов фразеологизмов типа *подъемный кран, сделать замечание, вступить в должность* и т.п. обусловлена, по мнению Д.Н. Шмелева, тем, что такие сочетания «вообще остаются на уровне лексических отношений, на уровне лексической парадигматики» [1973, 265], так как они «занимают вполне определенные клетки лексической матрицы» [264], как, например, *белый гриб* среди других названий грибов. Поэтому они квалифицируются автором как парадигматически связанные (П).

Сочетания типа *закадычный друг, обложной дождь, курить втяжку* и под. квалифицируются как синтагматически связанные (С), так как «связь между их компонентами является детерминированной: один из компонентов сочетания невозможен вне определенного лексического окружения» [265]. Автор считает, что «фразеологически закрепленное слово» сигнализирует об определенном словосочетании, поэтому «связанным словосочетанием является не как синтаксическая единица, а как сочетание конкретных слов, т.е. как единица лексическая» [265—266].

✓ Деривационно связанным (Д) относятся в этой концепции сочетания типа *глубокий старик, собачий холод, читать нотацию, пороть чушь, влюбиться по уши* и под., каждое из которых имеет «свою особую, индивидуальную внутреннюю форму», что «делает эти сочетания похожими (в этом отношении) на слова, т.е. на единицы лексики» [267].

Таким образом, для (П), (С) и (Д) доминирующим признаком является связанность в соизмерении со словом: с его парадигматическими вхождениями, либо со свойством семантически однозначно предсказывать другой компонент сочетания, либо, наконец, наличие индивидуальной внутренней формы у всего сочетания.

Безусловно, концепции Д.Н. Шмелева присуща изысканная тонкость анализа фразеологизмов. Однако стремление к классификации по общему основанию, а именно — связанности сочетания по одно-

му из указанных признаков или их комбинации, затмевает или отодвигает на второй план как раз те «необщие» признаки, которые, по всей видимости, для фразеологизмов и являются «вершинными». Одним из таких свойств мы, например, считаем экспрессивность, характерную для большинства идиом, и номинативную самостоятельность одного из компонентов — для фразеологических сочетаний. Первая — следствие их прагматической нагруженности, что объясняет во многом саму потребность в них как в экспрессивных «заготовках» языка, а второе является одной из причин такой важной особенности фразеологических сочетаний, как их способность служить фразеобразовательными аналогами словообразовательных структур, чем и можно объяснить их продуктивность в современном русском языке, особенно — в газетно-публицистических текстах (см., например: *углублять реформу, ход реформ, тормоз реформ* и т.п.).

Комбинация указанных выше типов связанности, которая свидетельствует о том, что «парадигматические, синтагматические и дери-вационные значения единиц лексики сами по себе не являются независимыми друг от друга» [Шмелев 1973, 272], хотя и могут быть установлены самостоятельно, приводит к пересечению этих типов в одном сочетании слов. Так, по Шмелеву сочетания *подзорная труба, оказать помощь (содействие, поддержку, услуги)* и под. обнаруживают связанность по (П + С), сочетания *железная дорога, тянуть ляжку, смотреть сквозь пальцы* — по (П + Д), сочетания *беспробудное пьянство, ни зги не видно, позарез нужно* и т.п. — по (С + Д), а сочетания типа *краеугольный камень, камень преткновения, точить лясы, быльем пороло* — по (П + С + Д) (см. [1973, 273]).

Нельзя не согласиться с автором, что данная классификация «никак не заменяет других классификаций, отражающих структурно-грамматические, стилистические и т.д. особенности разных типов фразеологизмов» [1973, 273]. Нельзя не признать и того, что все из базовых типов связи обоснованы: (П) — по расширению видовых наименований, (С) — по семантической предсказуемости «связанного» значения, (Д) — по мотивированности значения. Однако нельзя не заметить и того, что эти принципы выбраны по разному функциональному семантическому основанию. Так, если (П) восполняет номинативную «недостаточность» лексемы, то эту же задачу выполняют на этом функциональном «уровне» и сочетания типа (С) *обложной или проливной дождь*, и сочетания типа (Д) *хранить молчание (спокойствие)* (ср. *терять, нарушить молчание, спокойствие, прекратить чье-л. молчание* или *вывести кого-л. из спокойствия* и под.), а также сочетания

типа (Д + С) — *оказать помощь* (ср. *приходить на помощь, оставить без помощи* и т.п.). В этой связи возникает вопрос — так ли уж важно для сочетаний типа (Д), то, что они мотивированы индивидуальной внутренней формой, или важна их реальная функция в языке? Иными словами, вопрос в том, что является важнее для онтологизации фразеологизмов — механизмы их связанности или их номинативно-функциональное предназначение. Этот вопрос еще нуждается в ответе.

Для фразеологической концепции Д.Н. Шмелева с самого начала ее «оглашения» (см. [1964]) характерна установка на неразрывную связь корпуса фразеологии и ее единиц с общими закономерностями организации лексико-семантической системы языка, действующими как в синхронном ее срезе, так и в динамических (диахронических) ее состояниях. Именно по этой, как представляется, причине, она не обрела последователей среди фразеологов, для которых в 60-х — 70-х годах основной целью было обнаружить как раз отличие системной организации фразеологического состава от состава лексического.

Идеологическим подкреплением для утверждения такого отличия послужила теория языковых уровней, а ее фразеологическим знаменем стали слова Е.Д. Поливанова: «...Возникает потребность в особом отделе, который...был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел бы в виду не общие типы, а индивидуальные значения конкретных словосочетаний — подобно тому, как лексема имеет дело с индивидуальными (лексическими) значениями отдельных слов. Этому отделу языкознания, как и совокупности изучаемых в нем явлений, я и уделяю наименование фразеологии (укажу, что для данного значения предлагается и другой термин — идиоматика)» [1931, 119]. Еще раньше Е.Д. Поливанов писал о том, что «фразеология займет обособленную и устойчивую позицию (подобно фонетике, морфологии и т.п.) в лингвистической литературе будущего — когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука лишена будет случайных пробелов» [1928, 61]. Небезынтересно отметить, что такое понимание фразеологии было высказано задолго до появления работ по фразеологии В.В. Виноградова, но оно обрело своих сторонников в тот период, когда последовательно стала разрабатываться концепция уровней, провозглашенная в структурно-дистрибутивной доктрине.

Во фразеологии поиск особых «уровневых» признаков фразеологизмов связан с концепциями В.Л. Архангельского [1964] и А.В. Кунина [1970]. Суть этого поиска сводилась к установлению ограничений в выборе переменных элементов их структуры, выделяемых по «эмическому» принципу, т.е. по соотношению выделенных в анализе структурно-уровневой организации элементов фразеологизмов, с их свобод-

ными аналогами (морфемами, лексемами, синтаксическими конструкциями). Наличие ограничений на выбор и комбинацию в каждом из уровневых срезов фразеологизма постулировалось как особенность фразеологического уровня в целом. А это значит, что этот уровень выделен на основе критерия, который работал по принципу «в отличие от» (слов в их свободных значениях, морфем в их словообразовательных значениях, синтаксических конструкций в их рутельярных значениях и т.п.). Признаки отличий и служили конституирующими признаками фразеологизмов как единиц особого уровня, независимо от типа самих фразеологических единиц — идиом, фразеологических сочетаний, пословиц и т.п.

В крайне радикальных воззрениях на корпус фразеологии как на особый уровень, его «размещали» в иерархии языковой структуры «выше» лексического и синтаксического (поскольку фразеологические единицы состоят из слов и аранжирующих их конструкций), что означало, что фразеологизмы — единицы, «готовые» к употреблению речи.

Однако такое решение проблемы имеет ряд уязвимых позиций. Во-первых, при выделении фразеологического уровня, что было, как уже отмечалось выше, основано на принципе «в отличие от», взаимодействие по существу сводилось к исторической ретроспективе, предполагавшей наличие свободного аналога, что в наиболее явной форме было постулировано в работах Б.А. Ларина (см. [1956]). Но этому не всегда соответствуют факты. Так, фразеологизмы-идиомы типа *скрутить в бараний рог, седьмая вода на киселе, пересчитать все ребра/кости, пройти Крым и Рым и медные трубы* и т.п. вряд ли явились результатом переосмысления свободных сочетаний слов, поскольку они изначально не обозначали никакой реальной ситуации. То же можно сказать относительно прямых значений фразеологизмов типа *вбивать в голову, выбить из головы, выскочить из головы* и т.д., а также *жить на широкую, барскую* и т.п. *ногу* и т.д.

γ Фразеологические сочетания типа *телячий восторг, глубокое горе, впасть в отчаяние, уныние* и т.п., *приходить к решению, мнению* и т.п., *сын народа, поле деятельности* и под. изначально не имели свободных эквивалентов. В подтверждение этого можно привести наблюдения самого В.В. Виноградова, который усматривал в формировании связанного значения переосмысление одного из компонентов сочетания, что убедительно показано им на примерах заимствований в XVIII веке из французского языка путем кальжирования выражений типа *prendre résolution* — принять решение, *prendre part* — принять, брать участие, *faire honner* — делать честь, *avoir un peu patience* — иметь немножечко терпения и т.п. Факты такого рода В.В. Виноградов склонен был

связывать с развитием именного стиля в русском языке [Виноградов 1982, 180]. Но уже в XVIII в. на собственно русской почве появились сочетания *хранить, терять, обретать терпение, приходить к решению, принимать решение, проявлять участие, оказывать честь* и т.п., что свидетельствует о том, что пресловутое «смешение французского с нижегородским», осмеянное А. Грибоедовым, способствовало развитию аналитизма в русском языке — процесса и по сей день чрезвычайно продуктивного.

/ Помимо слова со связанным значением, фразеологические сочетания включают в себя и слова со свободным значением, выступающим в роли семантически ключевого. А это значит, что критерий «в отличие от» применим только к одному компоненту сочетания, — слову в его связанном значении, а это означает, что фразеологические сочетания — «промежуточные» для фразеологического уровня образования.

Взаимодействие собственно значение единиц фразеологического уровня с другими уровнями языковой системы можно проследить только для тех фразеологизмов, которые сохраняют мотивированность, а это значит, что оно может быть установлено только в плане деривационного, или эпидигматического, «измерения» лексики. Однако это последнее, как было показано Д.Н. Шмелевым, оперирует не «собственно значениями слов», а ассоциациями. Таким образом, это взаимодействие не собственно структурно-семантическое, а имеющее иную природу, нежели та, которая могла быть положена в основу выделения фразеологического уровня.

Мы позволили себе привести анализ «уровневой» идеологии с той единственной целью, чтобы показать, что как раз она, будучи призванной обеспечить признак изоморфизма единиц разных уровней языковой структуры, привела к парадоксальному результату: эта идеология выявила только формальный изоморфизм, а содержательное его основание оказалось отвергнутым. А оно, как представляется, могло быть установлено в двух «измерениях». Первое — это указанный Д.Н. Шмелевым путь поиска взаимодействия слов-компонентов и их синтаксической организации в деривационном измерении, которое по существу «наводит мосты» между самим образом ситуации, прямо обозначенной «буквальным» сочетанием слов и ассоциативно переосмысленной, — применительно к идиомам, а применительно к фразеологическим сочетаниям — между прямым значением и связанным, но также только при ассоциативном согласовании этого последнего с семантически ключевым для переосмысления словом. Однако, описание процессов переосмысления в этом аспекте «блокировалось» структурно-уровневой доктриной, — с одной стороны, а с другой — для такого соизмерения

требовался переход с семасиологического на номинативно-функциональный уровень анализа, требующий раскрытия взаимодействия фразеологизмов и их свободных конститuentов с учетом роли фразеологизмов в ходе организации высказывания.

Второе — это поиск соотношения фразеологических единиц с другими элементами системы (см., например [Ройзензон 1973; Гаврин 1974; Чернышева 1970; Жуков 1978 и др.]). Однако идея такого соотношения обрела во фразеологии строго семасиологическое обоснование: она усматривалась в лексико-семантических отношениях синонимичности, омонимичности и антонимичности фразеологизмов и слов, а также в рамках так называемой «фразеологической деривации» (по И.И. Чернышевой), т.е. в выделении отдельных слов из фразеологической единиц в мотивированном ею новом для слова значении (типа *тянуть канитель* и *канитель*, *канительиться*).

Описание системно-парадигматических связей фразеологизмов и слов велось «поштучно» — по совпадению значений или форм, либо же по противоположности значения (чему было посвящено немало исследований [Назарян 1976; Чернышева 1970; Жуков 1978]). Из такого рода отношений, далеко не всегда свидетельствующих о взаимозаменяемости в составе высказывания, поскольку фразеологизмы несут более богатую информацию, и делался вывод о взаимодействии двух подсистем — лексической и фразеологической, образующих общую лексико-фразеологическую систему (ср., однако: *Он глуп* и *Он — голова садовая/олух царя небесного/медный лоб*, где идиомы несут информацию соответственно не просто о глупом, но об абсолютно глупом, о безбидном глупом, об агрессивно глупом человеке).

Таким образом, для 60-х — 70-х годов характерно стремление обособить «место» фразеологии либо на основе уровневой стратификации ее единиц, либо же — описать ее корпус как ряд фразеологических подсистем языка, из которых наиболее четко очерченным оказался корпус фразеологизмов-идиом, который обрел статус «ядра» фразеологии. Что касается развития теоретических оснований фразеологии, то они воспроизводили основные положения концепции В.В. Виноградова с учетом «урвневой» ее интерпретации (см., например: [Попов 1976]) либо же уточнением классификационной базы фразеологии в ее широком [Шанский 1963] или узком объеме, куда включались только фразеологизмы-идиомы [Молотков 1977].

Последней из наиболее оригинальных концепций фразеологии постклассического периода, явно ориентированной на «расконсервацию» фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, предметом которой служат только воспроизводимые сочетания слов, и

объединения ее с теорией сочетаемости слов, является концепция М.М. Копыленко, лежащая в основе монографии, посвященной сочетаемости лексем [1973], а затем развитая совместно с З.Д. Поповой [1972; 1978].

Концепция М.М. Копыленко — это попытка интегрировать фразеологию в учение о сочетаемости лексем, т.е. сочетаемости слов, рассматриваемой с точки зрения комбинаторики означающих (лексем) и соответствия/несоответствия типов этой комбинаторики семемам (значениям отдельных слов). Такой разворот проблематики автор объясняет тем, что «в сочетаемости одних лексем наблюдаем высокую предметно-логическую обусловленность, в сочетаемости других лексем такая обусловленность ниже, в третьем случае находим сочетаемость, не имеющую предметно-логических оснований» [1973, 3].

Нельзя сразу же не обратить внимание на сходство критерия разграничения типов сочетаемости — предметно-логической обусловленности/необусловленности — в этом подходе и в учении о фразеологии В.В. Виноградова. И в дальнейшем эта концепция развивается как уточнение классификации лексических значений В.В. Виноградова [1953] и соответствующей ей типов несвободной сочетаемости слов. Безусловно новым здесь представляется попытка «изъять» критерий воспроизводимости как признак фразеологичности сочетаний, оперируя признаками идиоматичности и устойчивости (в том их понимании, которое было сформулировано И.А. Мельчуком в [1960]). Столь же новым является и стремление рассматривать корпус фразеологии лишь как специфические классы сочетаемости лексем, которые характеризуются устойчивостью или/и идиоматичностью, а сам термин фразеологии расширяется здесь до словесной комбинаторики: «Поскольку любая (индивидуальная или групповая) сочетаемость лексем является фактом языка, она должна быть предметом особого раздела языка, изучающего закономерности сочетаемости лексем. Таким разделом мы считаем фразеологию» [1973, 12].

Концепцию принято судить по ее «плодам». Уже в самом зарождении этой концепции были мысли плодотворные, а вместе с тем намечены те пути описания фразеологизмов, которые возвращали фразеологию в таксономическое русло. Плодотворность этой концепции мы усматриваем в разгораживании границ фразеологии — в вовлечении ее в русло теории сочетаемости. В самом деле, только идиомы обнаруживают номинативные свойства слова, остальные же типы несвободных сочетаний — это всегда комбинации слов, сами лексемы или семемы которых связывают сочетания лексически (*моргать глазами, курить взятяжку* и т.п.) или семантически, но в последнем случае — более «изыскано», нежели собственно значения слов, о чем уже говорилось в

связи с классификацией, предложенной Д.Н. Шмелевым. Кстати, нельзя не усмотреть сходства этих концепций: и в той и в другой основания фразеологичности рассматриваются с учетом синтагматической связанности (или предсказуемости), и связанности мотивационной (критерий парадигматичности в концепции М.М. Копыленко также учитывается, но не в столь явной форме, как у Д.Н. Шмелева).

Однако классификация, выстариваемая в работах М.М. Копыленко и З.Д. Поповой, — это скорее материал для описания ФЕ в функционально-семантическом ключе, нежели в плане коммуникативно-функциональном, т.е. с позиций их номинативной приспособленности к идентификации объекта и предикации признака объекту.

В самом общем виде эта классификация основана на типологии лексем и семем, уточняющей (как уже отмечалось) типологию лексических значений В.В. Виноградова (на что указывают и сами авторы [1972, 40]). Здесь выделены денотативные семемы: Д1 соответствует первичному номинативному значению (типа *нос* — часть лица, *гасить* — об огне и т.п.), Д2 — «вторичные денотативные семемы», т.е. производно-номинативные значения слова (*нос корабля*, *гасить* — об извести). Особый интерес представляют коннотативные семемы: «Коннотативная семема создается лишь во фразеосочетании, вне которого она не может быть выявлена» [Там же, 41]. При выделении этого класса семем разграничиваются: К1 — полный аналог «фразеологически связанного значения»: «Такая семема не отражает денотат непосредственно, она служит его вторым, (третьим и т.п.) наименованием» (*куриная память*) [Там же]; К2 — это семема, не имеющая никакой логически мотивированной связи с денотативной семемой, выражающей ее лексемы» (*по пьяной лавочке*, *заморить червячка*); К3 — это семема, которая выражается лексемой, не имеющей никакой другой семемы, кроме данной (*провалиться в тартарары*, *дать стрекача* и под.) [Там же].

В этой концепции более последовательно, чем у В.В. Виноградова, прослеживается номинативный критерий, благодаря тому, что авторы исходят из лексемы как означающего. Однако сами условия переосмысления, которые могли бы раскрыть семантическую природу К-семем, не исследуются. По этой причине, как представляется, такое базовое понятие, как коннотация, остается теоретически не интерпретированным. И можно заранее сказать, что наиболее неопределенным оказался статус К3: если соотношение К1 и К2 рассматривается в противопоставлении «логическая связь с денотативной семемой — отсутствие логически мотивированной связи», то К3 определяется по уникальному семантическому результату (вне ее соответствия какой-либо денотативной семеме).

Но в целом классификация Копыленко-Поповой охватывает все типы сочетаемости слов, в том числе — и фразеологический, признак которых — наличие в сочетании хотя бы одной коннотативной семемы.

Мы приведем типологию дулексемных сочетаний, чтобы дать представление о типах сочетаемости слов: Д1Д1 — *писать письмо*, Д1Д2 — *вольный перевод*, Д2Д2 — *авторский лист*, (все эти сочетания — «свободные»); Д1К1 — *делать успехи*, Д2К1 — *выдержать характер* (где *характер* — Д2, а *выдержать* — К1); К1К1 — *брать на поруки* (где ощущается деривационная связь, т.е. мотивация значений), Д1К2 — *во все тяжкие* (где *тяжкие* — К2), Д2К2 — *аттическая соль* (где *соль* выступает как Д2, а *аттическая* — как К2), К1К2 — *взять на пушку* (где *взять* — К1, а *на пушку* — К2), К2К2 — *антик с гвоздикой*. В этой типологии есть сочетания, которые фразеологически связаны (Д1К1, Д2К1, Д1К2, Д2К2), а сочетания типа К1К2, К2К2 обнаруживают признаки идиом; сочетания типа Д1К3 (*пойман с поличным*), Д2К3 (*очертя голову*), К1К3 (*сбить с панталыку*), К1К3 (*точить ласы*), К3К3 (*баш на баш*) обнаруживают признаки идиоматичности и устойчивости.

Таким образом, в этой типологии по существу «работают» те же критерии устойчивости, идиоматичности и мотивированности, которые были выделены еще В.В. Виноградовым. Преимущество же этой типологии мы усматриваем в исчислении этих признаков. Как уже отмечалось, ни в ранней работе [1972], ни в более поздней [1978] не была определена природа коннотативности — мы имеем в виду номинативный ее аспект прежде всего: ведь совершенно очевидно, что К1 и К2 существенно отличаются от К3. И в последнем случае внимание переносится на «единичный» лексико-семантический статус значения.

Онтологический же статус К-семем требует ответа на вопрос: какие номинативные особенности они имеют — сохраняют ли знаковую функцию или утрачивают, и если да, то чем это обусловлено и почему язык идет на сохранение лексических (и синтаксических) аномалий. Мало указать на них и упорядочить — надо еще теоретически обосновать, как и с какой целью носители языка выбирают такие аномалии в речевой деятельности. Отсутствие ответа на эти вопросы, равно как и теоретических обоснований выделения самих типов семем не дают основания считать данную концепцию теорией сочетаемости лексем и семем, а только их дистрибутивно-семантическим исчислением — достаточно подробным и тонким. Думается, что именно благодаря последнему концепция Копыленко-Поповой обрела значительный авторитет. Однако все исследователи, пользующиеся этим исчислением, стре-

мились только к уточнению классификации фразеологических единиц в языках разных типов.

! Дистрибутивно-таксономическая доктрина оставалась господствующей и на Западе. Правда, необходимость введения в терминальные цепочки трансформационных грамматик и идиом привела У. Вейнрейха к попытке семантически моделировать их значение [1969], но они оказались близки к методу идентификации Ш. Балли. То же самое можно сказать и о подходе к проблеме значения идиом у Б. Фрейзера [Frazer 1970]. А проблема фразеологических сочетаний решалась в англоамериканских работах преимущественно в русле «грамматики номинализаций»: здесь указываются ограничения на правила трансформаций (restriction rules) «фразовых глаголов», а сами сочетания квалифицируются как рестриктивные по референту (типа pretty girl — только о девушке), либо же по узусу (типа to pay attention).

Характерной чертой отечественной фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины конца 70-х — середины 80-х годов является тенденция к размежеванию исследований по идиоматике и изучения других типов фразеологизмов, в основном — фразеологически связанных значений слов. Показателем этой тенденции является тот факт, что термин фразеология стал безоговорочно употребляться применительно к фразеологизмам-идиомам.

Центральным для фразеологии (в узком смысле) стало стремление ответить на вопрос, в чем заключена специфика значений идиом в отличие от значений слов, какова структура содержания этого значения, а следовательно — и специфика фразеологической синонимии, антонимии, омонимии, а также такой характерной для идиом категории, как вариантность ее лексико-грамматического состава. В этом нельзя не усмотреть смены классификационной парадигмы фразеологии на парадигму функционально-семантическую, хотя еще в отвлечении от антропоцентрического подхода к проблеме значения языковых существей и от их коммуникативного предназначения. Иными словами, фразеологизмы-идиомы продолжали изучаться «в самих себе и для себя», в отрыве от их способности выполнять те или иные коммуникативные установки и роли в ходе организации высказывания.

Пожалуй, самым существенным недостатком фразеологии конца постклассического периода было крайне упрощенное представление о самом аппарате исследования; а именно — о компонентном анализе значения, который по существу сводился к установлению дефиниции фразеологизма, а последняя «накладывалась» как аппликация, на буквальное значение идиомы (см. [Жуков 1978]).

На фоне такого сопоставления и рассматривалось, утрачивают или

не утрачивают слова-компоненты фразеологизма категориальные свойства слова. Но в отличие от компонентного анализа, разработанного для лексикологии (см. [Bendix 1966; Селиверстова 1975, Кузнецов 1980]), обращались еще и к понятию внутренней формы как к образному основанию фразеологизма, усматривая в ней источник экспрессивно-стилистической окраски значения, а также культурно-национальной специфики фразеологизмов. И это пристальное внимание к образной мотивированности фразеологизмов, к их эпидигматическому (по Д.Н. Шмелеву) измерению, — несомненная прерогатива именно фразеологии, поскольку компонентный анализ значения, пришедший из структурных методов анализа, оперировал только синхронными данными, устраняющими из анализа роль ассоциативно-образной внутренней формы, а вместе с ней — и ее роль в экспрессивно-стилистической окраске языковых сущностей различной протяженности, — окраске, которая самым непосредственным образом связана с прагматическим эффектом, придаваемым ими дискурсу.

И тем не менее в этот период была выявлена вся палитра значения фразеологизмов-идиом — его «объективное» содержание, а также вся гамма оценочно-экспрессивных «оттенков», задающая тон стилистической окраске значения (см., например: [Жуков 1978], а также [1986]). Наиболее тщательно экспрессивный потенциал фразеологизмов описан в работах А.И. Федорова, который связывал его с их «коннотативной сущностью»: «...фразеологизмы создаются не для называния каких-либо новых явлений (этим они отличаются от терминологических сочетаний типа *железная дорога*, *коробка скоростей* и т.п.), а для конкретизации и образно-эмоциональной оценки предметов, явлений, действий, качеств, уже названных в языке... Эти обороты, следовательно, отвечают экспрессивной функции языка... Именно эта коннотативная сущность фразеологического знака определяет его раздельнооформленность» [1980, 13]. В этом высказывании неточным представляется только одно: фразеологизмы могут создаваться с целью идентификации объектов — и тогда они *н а з в а ю т* (но при этом, как правило, утрачивают живую связь с образом, ср., например: *близко* и 'очень близко, в непосредственной доступности' — *под носом*, *под рукой*, *под боком* и т.п.).

Возражая против отождествления лексической и фразеологической семантики (что свойственно таким, например, авторам, как Л.И. Ройзензон [1973, 79], А.И. Молотков [1977, 22, 29], А.И. Федоров приводит следующую аргументацию, с которой мы полностью согласны: «...фразеологизмы, в отличие от слов, имеют фразеологическое значение, состоящее из образного представления метафорического, метони-

мического или сравнительного типа, через которое называется денотат и дается его коннотативная характеристика в сигнификате» [1980, 15].

Обращение к исследованию значения фразеологизмов-идиом не могло не привлечь внимания и к проблеме его тождества при столь характерном именно для фразеологизмов явлении, как лексико-грамматическая вариантность компонентного состава, проявляющаяся в замене слов-компонентов, их морфологических форм или синтаксического строения (ср., например: *лезть/переть на рожон, распустить язык/языки, сломать/разбить лед и лед разбит/сломан* и т.п.) или в опущении каких-либо слов-компонентов (*материнское молоко на губах не обсохло* и *молоко на губах не обсохло, разрубить Гордиев узел и разрубить узел* и т.п.). Варьирование может сопровождаться не только изменением стилистического регистра (ср. *лезть на рожон* — неформально и *переть на рожон* — грубо-фамильярно), но и семантическими сдвигами (например: *на полу/на улице не валяется* — что, где валентность объекта заполняется не любым предметом, а только тем, который «соизмерим» с компонентом *на полу* либо *на улице*, ср.: *Деньги на полу/на улице* не валяются, но *Запчасти на улице/*на полу* не валяются и т.п. (см. [Телия 1968]). Кроме того, варьирование всего лексико-грамматического состава может привести, как уже отмечалось выше, к внешнему совпадению с синонимами (ср. *с неба/с луны упасть/свалиться* и *с неба упасть/с луны свалиться* или *с неба свалиться/с луны упасть* и т.п.).

Подход к проблеме вариантности с позиций структурно-семантического их тождества предписывал рассматривать как варианты только те видоизменения фразеологизмов, которые различались стилистическим «знаком». Случаи семантического расхождения видоизменений лексико-грамматического состава фразеологизмов трактовались как варианты-синонимы, а случаи полного расхождения по лексическому составу — как структурные синонимы (см., например: [Кунин 1970]). Очевидно что такое решение проблемы неудачно ни терминологически, (варианты и синонимы — разные категории), ни по существу, поскольку оно «подгоняло» под категории лексикологии специфическое именно для фразеологизмов явление.

Более перспективной представляется решение проблемы вариантности с позиций исследования особенностей знаковой организации идиом (исследование которой впервые было предпринято еще В.Л. Архангельским [1964]). Именно такой подход к проблеме вариантности характерен для монографического описания этого явления в [Диброва 1979]. Рассматривая фразеологизм как составную номинацию, представленную сложным знаком, лишённым прямого «вещественного (денотатив-

ного) фона» автор считает, что сигнификат фразеологизма заключается в интерпретации, оценке (в широком смысле слова) того или иного факта реальности, в которую включаются разные психологические наслоения, эмоционально-психологические оценки, прагматические характеристики и т.д. Именно этим объясняется то несоответствие, которое существует при прямом сопоставлении суммы значений слов-компонентов и значения идиом.

Семиологический подход к проблеме знаковой функции идиом позволил Е.И. Дибровой утверждать, что фразеологизмы все время находятся под непрерывным давлением со стороны всей совокупности форм и значений словесной системы, чем и обусловлена категория вариантности фразеологизмов, тождество которых обеспечивается осознанием внутренней формы знака. Вариантность в понимании автора — это совокупность динамических состояний фразеологического знака, выражающаяся в его способности актуализировать то или иное дополнительное содержание — чаще всего прагматически обусловленное, а также в сохранении и реализации синтагматических или парадигматических связей слов-компонентов, в опущении какого-либо звена составного знака и т.п.

Таким образом, исследование вариантности в семиологическом аспекте лишний раз убеждает в том, что фразеологизмы — не просто аномалии языка, а знака, обладающие «размытым» объективным содержанием и вместе с тем прагматической нагруженностью, что и обеспечивает и специфику их функционирования в языке.

Эта особенность фразеологизмов особенно ярко проявляется в особом характере их синонимии. В отличие от лексической синонимии, основанной на различии «близких по значению» слов по достаточно четким дифференциальным признакам, а также признакам стилистическим, фразеологизмы, обладающие, как уже отмечалось выше, размытым объективным содержанием, отличаются — и весьма существенно, по тем «добавкам» в это содержание, которое вносится в него образно мотивированной внутренней формой — с одной стороны, а с другой — по коннотативному потенциалу. Синонимии фразеологизмов-идиом уделено достаточно много внимания как в общих работах по фразеологии, так и в специальных исследованиях. К сожалению, «давление» догмата о синонимии как одному из проявлений системной организации фразеологического состава языка, а также исследование синонимов безотносительно к их взаимозаменяемости в реальных условиях дискурса препятствовало как в классический, так и в постклассический период, осознанию того факта, что над близостью значения «по денотату» (если обратиться к терминологии Ю.С. Степанова [1975, 30—34]) у

фразеологизмов доминирует расхождение «по сигнификату», а как раз последний и вбирает в себя все оценочно-экспрессивные и стилистические коннотации, придающие значение его прагматическую ценность, предопределяющую условия выбора той или иной идиомы в речи.

Представление о решении проблемы фразеологической синонимии может дать материал, описанный в Словаре фразеологических синонимов русского языка [1987], в котором обобщены теоретические воззрения его составителей (см. также [Сидоренко 1982]). Этот материал свидетельствует скорее об отсутствии категории синонимии в традиционном ее понимании: фразеологизмы-идиомы с «близким значением» могут быть квалифицированы скорее как квазисинонимы, поскольку различия в коннотативных «оттенках» значения препятствуют их взаимозаменяемости в составе высказывания. Ср., например, выбранные из указанного словаря фразеологизмы с общим значением 'с большим напряжением сил, интенсивно трудиться' и существенные их расхождения либо меняющие смысл высказывания (либо вообще не возможные для данного высказывания): В первый день жатвы Володька приказал прикрепленным к нему шоферам, что работать с ним надо только серьезно, *на всю катушку (на полную железку//во всю ивановскую//во все тяжкие)*, где *на полную железку* — скорее интенсивно, чем напряженно, т.е. без качественной оценки; *во всю ивановскую* — это ocasionальное употребление — «расширительное», как отмечают сами авторы, так как узуальными здесь являются слова-сопроводители кричать, орать и т.п.; а *во все тяжкие*, помимо явно стилистической несоизмеримости с серьезной работой, еще содержит перфективную характеристику, не сочетающуюся с перспективой будущего труда, обозначенной в высказывании.

✓ Примеров подобного рода квазисинонимичности гораздо больше, чем подлинной синонимичности. И это — особенность фразеологической синонимии, которую скорее следовало бы определять как синонимию только по денотату, а не по сигнификату, поскольку именно вне денотата сосредоточены, с нашей точки зрения, те ассоциативно-образные коннотации, которые придают каждому фразеологизму совершенно уникальный семантический результат — фразеологическое значение. Из приведенных примеров следует, что фразеологизмы различаются не столько по дифференциальным признакам значения, сколько — по коннотативным, непосредственно связанным с ассоциативно-образным содержанием внутренней формы фразеологизмов.

Исследование способа организации в н у т р е н н е й ф о р м ы — ее тропических оснований — одна из характерных примет постклассического периода развития фразеологии, о чем свидетельствуют,

например, работы, ведущиеся как в синхронно-сопоставительном плане [Райхштейн 1980; Солодуб 1985], целью которых является сопоставление фразеологизмов разноструктурных языков на уровне идентичности или сходства, лежащих в их основе образов, так и в плане диахроническом, в основном на материале славянских языков [Мокиенко 1980]. Эти исследования, помимо разработки методов структурно-типологического анализа идиом, положили начало изучению национального своеобразия фразеологизмов, связанного прежде всего с характерными особенностями самих образов, выраженных в «буквальном значении» идиом (см. также [Черданцева 1977]).

Осознание важности мотивационного основания фразеологизмов-идиом, которому посвящены многие работы А.М. Мелерович (см., например: [1979]), привело к необходимости исследовать саму образную структуру внутренней формы — ее метафорический, метонимический и т.п. характер, а также роль в ней различного рода символов или квазисимволов (ср., например, квазисимвольное прочтение слова *рука* в идиомах, где этот компонент ассоциируется с идеей власти: *держат в руках, иметь руку* и т.п.), а также эталонов или квазиэталонов (типа *дрожать над каждой копейкой, от горшка два вершка* и т.п.). Нельзя не заметить, что этот ракурс исследования связан с разворотом проблематики фразеологии к номинативному аспекту семантики фразеологизмов-идиом.

Таким образом, фразеология в постклассический период накопила новые сведения о своем объекте, оставаясь тем не менее в стороне от антропологической парадигмы, формирующейся в лингвистике как раз в тот период. Воссоединение с этой парадигмой началось с интереса к номинативным закономерностям формирования идиом, который самым непосредственным образом связан с изучением их коммуникативного предназначения, а тем самым — со всей палитрой информации, несомой идиомами как единицами особого типа вторичной номинации — идиоомообразования (см. [Телия 1977]). Как пишет А.М. Эмирова, книга которой как бы завершает постклассический период развития фразеологии и выдвигает новые для нее задачи, «коммуникативный анализ идиом предполагает описание всех их «составляющих» — содержания, структуры и употребления в речи — в свете выполнения ими коммуникативной функции, понимаемой как интегральное целое: формирование и передача знаний о реальной действительности, коммуникативные интенции говорящего и прагматический эффект» [1988, 6].

Однако для выполнения этой задачи фразеология должна была освоить и методы, способные эксплицировать не только способы «объективного» указания фразеологизмом на мир, но и на оценочные и эмо-

тивные отношения к обозначаемому, которые соотносимы с фактором субъекта, а также на культурно-национальное восприятие фразеологизмов и их распределение по стилистическим регистрам в соответствии с теми или иными социально маркированными условиями речи. Все эти задачи требуют перехода на новую парадигму исследований, имеющую дело не с классификацией единиц фразеологического состава языка, а с когнитивно-интерпретированным моделированием процессов их выбора в ходе организации высказывания с учетом способности выполнить то или иное коммуникативное намерение говорящего и обеспечить понимание слушающего.

Внимание к динамике языковых процессов — это своего рода «знание времени» теоретической лингвистики конца 60-х годов. Непосредственным импульсом к такому развороту проблематики послужили идеи Н. Хомского, связанные с созданием трансформационной грамматики, которая вызвала настоящий «бум» в американских школах лингвистики и была объявлена здесь «хомскианской революцией». Суть этой «революции» — требование описывать языковые высказывания и все их составляющие не в анализе, а в синтезе — от коммуникативного намерения — к его воплощению в тексте. Все направления исследований, предпринятые как ревизия первой версии трансформационной грамматики с целью ее семантизации (генеративная грамматика), а также последующие за ней исследования коммуникативно-деятельностного аспекта в описании всех фактов языка (интерпретативная грамматика), продолжают оставаться актуальными и в наше время, акцентируя когнитивные процедуры владения языком. Идеи трансформационных грамматик разного толка (в том числе таких предвестников этого направления, как пражской функционализм, характерное для французской лингвистики внимание к номинативным процессам, блестяще представленное и в советской лингвистике в работах В.Г. Гака [1966] и др.) привлекают внимание к тому, как мысль преобразуется в высказывание (а мысли — в текст)¹.

В наши задачи не входит изложение основных постулатов и периодов развития трансформационных грамматик. Цель обращения к идео-

¹ См. также работы А.К. Жолковского и И.А. Мельчука, в которых самым тщательным образом разрабатывались механизмы перехода от смысла к тексту, связанные с лексическим компонентом этого процесса [1966; 1972], Ю.Д. Апресяна [1974], Н.Д. Арутюновой [1976], в которой разрабатывалась проблематика логико-синтаксической организации высказывания и приспособления к ней семантики слов, а также работу Ю.С. Степанова [1981] и продолжение этого направления исследований под эгидой «Логический анализ языка» и в настоящее время (см., например, [1992]).

логии трансформационных грамматик в различных ее версиях — и прежде всего тех из них, которые разрабатывались в отечественной лингвистике, заключена в том, чтобы показать, что расширение исследовательской базы, приведшее к слиянию методов синтаксиса и лексикологии, существенно обогатило лексикологию новыми идеями и методами, но влияние этих идей на фразеологию заметно отставало, а господствующим направлением продолжала оставаться дистрибутивная доктрина, поскольку единицы фразеологии — это комбинация слов, устойчиво воспроизводимые в данном их сочетании.

/ Основной методологический «прорыв» в лексикологии этих лет связан с двумя фактами, принадлежащих разным языковым онтологиям, но тем не менее пересекающихся в категории сочетания слов.

Первый фактор — это очевидность того, что слова-компоненты фразеологизмов (синтетических или аналитических по характеру значения, т.е. «сращений» и «единств» — с одной стороны, а с другой — «фразеологических сочетаний») не являются минимальными их единицами, а следовательно — и единицами анализа и описания. Этот факт предстал во всей неопровержимости его доказательств как итог развития компонентного анализа слов и словесных значений.

Методы компонентного анализа, разрабатываемые сначала для нужд структурно-дистрибутивного описания, оказались не только необходимыми, но и плодотворными для грамматик порождающих типов на всех уровнях анализа языковых сообщений. Если компонентный анализ на начальных этапах его развития имел дело с разграничением интегральных и дифференциальных сем («семантических множителей», «семантических компонентов»), преследующих установить тождество и различие слова, то в связи со «сращением» методов синтаксиса и лексикологии, продиктованного необходимостью проследживать семантический статус слова как центральной, номинативной, единицы языка на всех уровнях его реализации в составе высказывания, — компонентный анализ стал использоваться для отслеживания этих статусов в их взаимодействии.

Тенденция к онтологизации семантических компонентов как реальных составляющих лексического значения — его семантическую модель, столь характерная для структурализма, сменяется взглядом на компонентный анализ как на модельное представление значения, в котором должны учитываться и разные уровни презентации этих «семантических множителей» в зависимости от того, на каком уровне рассматривается порождение высказывания (см. по этому поводу работы Дж. Катца и Дж. Фодора, У. Вейнрейха, а у нас работы А.К. Жолковского и И.А. Мельчука, а также Ю.Д. Апресяна, относящиеся к этому

периоду). А это, в свою очередь, привело к включению в компонентную модель значения различного рода модальных «рамок», если в лексическое значение включен субъективный фактор (подробнее см. Wierzbicka [1972; 1980]).

Описание лексического значения стало оснащаться субъективно-модальными «рамками». Это оказалось необходимым, так как, наряду с выраженной модальностью в специальных модальных средствах типа *к сожалению, жаль, что, к радости* и т.п., выбор слов (и фразеологизмов) в высказывании может быть обусловлен их способностью нести модальные сигналы — модусы рациональной или эмоциональной оценки, не выраженные в явной форме, но опознаваемые по тем дополнениям к значению, которое реализуется в высказывании. Таким свойством обладают, как правило метафорические наименования, а следовательно — и большинство фразеологизмов. Ср., например: *К сожалению, жена вскоре стала командовать им и Вскоре он стал подкаблучником/попал к жене под каблук*, т.е. 'вскоре он попал в полное подчинение к жене, что «плохо» и вызывает осуждение у говорящего'. *К великому удовольствию детей он стал разыгрывать веселые сцены и Он паясничал дурачился/валял дурака, и детям нравилось это* и т.п.

Введение модальных рамок в лексическое значение изменило представление о семантической структуре слова: стало очевидно, что в слове может быть заложено все то, что можно выразить в высказывании. Об изоморфизме структуры значения слова и высказывания, а именно о том, что в слове может быть выделено идентифицирующее (таксономическое или классифицирующее) основание, или тема, и ассертивная часть, или рема, писал еще Ю.С. Степанов [1975]. Однако состав ассертивной части долгое время сводили к предикации признаков денотата. И только после того, как лингвистика взяла на вооружение оценочную модальность, которая в условной форме может быть записана как суждение о ценности типа «Говорящий считает, что *X* — «хороший»/«плохой» (больше нормы/меньше нормы)», стало ясно, что мнение говорящего также принадлежит ассерции, поскольку является высказыванием о ценности денотата (подробнее см. [Wright 1963; Vendler 1967; Вольф 1978, 1985] см. также [Арутюнова 1988]).

В перспективе компонентный анализ преобразовался из таксономического исчисления «сем» в ряд блоков, несущих различные типы информации — пресуппозицию значения, информацию о денотате, оценку — рациональную или эмоциональную, которые «обрабатываются» разными когнитивными процедурами.

Второй фактор, тесно связанный с первым самой внутренней логикой исследования порождающих высказывание процессов, нацеленного

на поиск того, как взаимодействуют в ходе организации высказывания различные единицы его структуриации, — это констатация того, что организация единиц разных уровней системы пронизана изоморфизмом, который проявляется во множественности способов выражения одного и того же содержания. Этот изоморфизм становится очевидным, если моделировать языковые процессы не в анализе, когда описание строится по принципу «высказывание состоит из слов (фразеологизмов, синтаксических конструкций и т.п.)», а в синтезе, предполагающем описание языковых фактов по принципу «высказывание образуется из слов (фразеологизмов, синтаксических конструкций и т.п.), способных обозначить вербализуемый говорящим смысл». Тем самым при исследовании речевой деятельности от смысла, подлежащего выражению, к тексту и от текста — к пониманию его смысла за исходное следует принимать номинативный аспект высказывания, т.е. обозначаемую ситуацию, ее осмысление, и вербализацию теми или иными средствами языка, способными выразить данный смысл. «Когда мы говорим — мы именуем», — отмечал еще В. Скаличка [Scalička 1948]. А это значит, что равнозначными относительно именуемого смысла могут оказаться как слова, так и сочетания слов.

Все сказанное самым непосредственным образом относится не только к фразеологизмам-идиомам, но и к фразеологическим сочетаниям слов. Как уже отмечалось выше, методологическая установка школы В.В. Виноградова ориентировала описание фразеологических сочетаний на основе фразообразующих потенциалов связанного значения слова, ведя поиск ограничения в его комбинаторных потенциях в «следах бывшего употребления», во внутренних законах развития языка, но никак не в живых смысловых и лексико-грамматических процессах (последовательным примером такого подхода может служить монография Ю.А. Гвоздарева [1977]).

✓ Можно утверждать, что принцип историзма был настолько абсолютизирован в рамках этой школы, что заслонял собой живые номинативные процессы, мешал увидеть, как семантически ключевые слова, играя роль опорных наименований, «связывают» с собой слова для выражения достаточно регулярных категориальных значений, формируя лексико-грамматические парадигмы, аналогичных парадигмы словообразовательным. Ср., например, выражение аспектуальных значений в сочетаниях *завязывать, крепить, хранить, разрывать дружбу*, оценочно-интенсифицирующих значений — в сочетаниях типа *крепкая, тесная дружба, бурный восторг* и т.п., агентивных, инструментальных, локативных и т.п. — в сочетаниях типа *раб страстей, голос сердца, поле деятельности* и др. Однако открытие этой за-

кономерности было сделано за пределами собственно фразеологии в работах В.Г. Гака, а также А.К. Жолковского и И.А. Мельчука (см. также [Апресян 1974]), которые ставили перед собой цель исследовать и описать динамические процессы, характеризующие переход от коммуникативного замысла к его воплощению в текст.

Еще в книге «Беседы о французском слове» [1966] В.Г. Гак обращал внимание на то, что развитие устойчивых словосочетаний может быть связано с тем, что при их помощи передаются значения, которые не могут быть выражены отдельными словами. Например, такие словосочетания, как *поддержать предложение, отвергнуть предложение, обсуждать предложение* не имеют лексических эквивалентов, являющихся глагольными перифразами отглагольных именных форм (в отличие от словосочетаний типа *сделать предложение ↔ предложить* и т.п.). А между тем, как отмечает автор, в глагольных словосочетаниях можно выразить целый ряд оттенков, связанных с обозначением начальной, средней, конечной фазы действия, залоговых отношений и т.п. [1977, 206—212].

Анализируя сочетания типа *вступить во владение, вступить в бой, вступить на путь чего-л., вступить в спор, войти в доверие, выйти из доверия, вывести из равновесия, выйти в отставку* и т.п., а также сочетания типа *острая боль, горячие отклики, яркий блеск* (ср. **острое недомогание, *горячие отзывы, *яркий отблеск*), В.Г. Гак замечает, что развитие и распространению в русском языке (равно как и во французском) устойчивых словосочетаний способствуют не только внелингвистические факторы, такие, например, как появление новых реалий и нужда в их наименовании, что характерно в основном для случаев типа *белое золото* — о нефти, *вывести/выйти на орбиту* — о спутнике Земли, и т.п., но и внутрilingвистические, если с помощью устойчивых сочетаний слов передаются значения, которые не могут быть выражены отдельными словами. Речь здесь идет не только об обозначении какой-нибудь реалии — материальной или идеальной, но и тех лексико-грамматических значениях, которые можно назвать словообразовательно-парадигматическими, т.е. которые способны выразить производные слова или аналитические формы слова. Не случайно поэтому в концепции В.Г. Гака устойчивые сочетания фразеологического типа рассматриваются как аналитические структуры [1977].

Вывод о таком статусе этих сочетаний был сделан благодаря их номинативному анализу: проследивая соответствие значения словосочетания, которое оно получает в составе высказывания, номинативному аспекту высказывания, автор сделал вывод о том, что семантически ключевое слово, выступающее в одном из своих основных значений,

называет элемент обозначаемой ситуации, а семантически зависимое от него значение — динамический или качественный признак этого элемента. И соответственно — опорное наименование выступает как номинативная база для переосмысления того слова, которое обозначает признак, необходимый для этого опорного наименования.

Таким образом здесь был как бы «инвертирован» взгляд на фразеологические сочетания, характерный для В.В. Виноградова: не связанное значение является фразообразующим его компонентом, а тот смысл, который «прибавляется» к наименованию опорному и который выражается переосмысливаемым значением слова, обретающим связанность потому, что оно называет признак, присущий данному конкретному опорному наименованию. Иными словами, в номинативную «вершину» фразеологических сочетаний было поставлено опорное наименование. И предстояло с этих позиций лингвистически осмыслить феномен «связанного» значения, семантически реализуемого только при определенном слове в его основном значении (или «серии» таких слов). Так была поставлена задача решения проблемы связанного значения (и тем самым — фразеологических сочетаний) в русле теории номинации.

Первая попытка решить эту задачу для всего корпуса фразеологических сочетаний русского языка с позиций теории номинации была предпринята через десятилетие после постановки этой проблемы В.Г. Гаком [Телия 1976, 1977], а монографическое исследование проблемы — еще позже [Телия 1981]. Эти исследования во многом базируются на методе описания устойчивых сочетаний слов, разработанной в русле модели «Смысл ↔ Текст» А.К. Жолковским и И.А. Мельчуком [1966, 1967] (см. также [Мельчук, Жолковский 1984]) для целей автоматического анализа текста.

Специально разработанная здесь как одна из «зон» словарной статьи «лексическая анкета» семантически ключевого слова содержит около пятидесяти «лексических функций» т.е. смыслов, реализация которых тем или иным словом, по смыслу и по форме, сочетающимся со словом ключевым, представляет собой значение этой функции. Например, при слове *надежда* значением лексической функции Magn, 'очень' будут слова *большая, огромная, глубокая* и т.п. (ср. **большое, огромное, глубокое упование*), значением ЛФ Ant Magn — *маленькая, крошечная, трепетная надежда* (ср. **маленькое, трепетное упование*), значением Inser Orig — 'начальная фаза активного действия первого актанта (подлежащего)' — *обрести надежду* (ср. **обрести упование*), лексическая функция 'длительность действия первого актанта' — *хранить надежду* (ср. **хранить упование*), 'конечная фаза' (такого же дейст-

вия) — *терять надежду* (ср. **терять упование*), 'одна «частичка»' — *луч надежды* (ср. **луч упования*) и т.д. и т.п.

Важно обратить внимание на указанные запреты: все они исходят из семантики слова *упование*, которое в современных словарях определяется как 'твердая, стойкая надежда' (ср. также дефиницию глагола *уповать* в Толковом словаре В. Даля: 'твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не смущаясь' и характерное для этого глагола заполнение объектной валентности словом *Бог* в пословицах: *На Бога уповай, а без дела не бывай; На Бога уповай, а сам не плошай*, ср. также в псалмах: *Уповайте на Господа* и т.п.) [1956, 502]. Именно потому, что упование отличается от надежды абсолютной уверенностью, она не может измеряться по шкале «большая — маленькая», упование — твердая, стойкая уверенность в ожидаемом, в отличие от надежды, где отражена высокая вероятность, отсюда — семантический диссонанс с фазовыми глаголами; если у надежды может быть подкрепление вероятности ожидаемого — *луч надежды*, то упование не нуждается в подтверждении этой вероятности. Таким образом, запрет на выбор слов, способных сочетаться с номинативно опорным словом *упование*, обусловлен значением этого слова (а не стилистическим узусом или какими-либо исторически обусловленными внутриязычковыми закономерностями).

Слова, выражающие значение функции, могут получать в результате переосмысления служебное значение или сохранять полнозначный его характер. Ср., например, служебный характер связанных значений слов *иметь терпение, оказать содействие, приходиться к решению* и т.п. и полнозначный — *завязывать знакомство, набиваться в гости, терпение лопнуло, трепетная надежда, раб моды* и т.п. Некоторые слова приспособлены и в своем основном значении к выражению значения лексической функции, так как они обладают единичной или групповой референтной соотносительностью. Например: *глаза* — *моргать* (глазами), типичный звук, издаваемый обозначаемым семантически ключевого слова — *шуршать* (при *камыш, листва, бумага* и т.п.), *ржать* (при *лошадь*), *кукарекать* (при *петух*) и т.п. Семантически реализуемые слова были названы параметрическими, т.е. обозначающими какой-л. признак семантически ключевого слова. Из этого следует, что все фразеологические сочетания — сочетания параметрические, т.е. «связанные» по смыслу семантически опорным наименованием (но не наоборот).

В этой модели в явной форме было декларировано обоснование парадигматических отношений, задаваемых лексическими функциями: все они соответствуют тем смыслам, которые всегда или обычно выра-

жаются в языке словообразовательными средствами. Из этого можно сделать вывод о том, что существует г л у б и н н ы й и з о м о р ф и з м между категорией словообразования и параметрическими сочетаниями слов — во-первых, а во-вторых о том, что отсутствие в языке словообразовательных «решений» восполняется лексико-синтаксическими способами. Так было разъяснено семантическое подобие трансформаций типа *помочь* ↔ *оказать помощь*, *спрашивать* ↔ *задавать вопросы*, которые в языкознании стремились объяснить только с позиций стилистического узуса (см. приведенные выше мнения В.В. Виноградова, Н.Н. Амосовой и др.). Но самое главное — все параметрические сочетания слов даже при отсутствии такого рода трансформационных отношений нашли свое место в «лексической анкете» как средства, дополняющие словообразовательные лакуны. И это очень важное свойство лексической анкеты: она по своей сути представляет собой матрицу всех возможных и достаточно регулярных для данного языка способов словообразовательного или фразообразовательного «порождения» структурно-семантических дериватов семантически ключевого слова.

Таким образом, в рамках этой модели было сделано подлинное открытие глобального изоморфизма между слово- и фразообразовательными отношениями. Однако и это открытие надолго осталось в стороне от фразеологии по двум, как представляется, причинам. Одна из них уже упомянута в связи с невниманием фразеологов к концепции В.Г. Гака, что объясняется исключительно тем, что фразеология оказалась замкнутой в своих собственных таксономических границах, играющих роль железного занавеса между ней и лексикологией, а другая связана с тем, что модель «Смысл ↔ Текст» изначально развивалась как лингвистическое обеспечение машинного перевода, рассматриваемого как область исключительно прикладная. Но как показало время, проблемы, выдвигаемые задачами машинного перевода, вписались в проблему построения «искусственного интеллекта», если видеть в компьютерной «памяти» и ее действии аналог языкового сознания. В «компьютерных лингвистиках» есть одно важное достоинство: они требуют полной формализации интуиции *homo cogitans* и *dicendis* на всех уровнях языковой компетенции, а не «приблизительной» адекватности описания объекта — необходимой и достаточной в рамках поставленной ученым задачи. Однако формализмы компьютерной лингвистики и сейчас представляются многим чем-то вроде китайской грамоты.

Нежелание понять всей глубины открытия вызвали жесткую и, как теперь ясно, несправедливую критику модели «Смысл ↔ Текст», в частности — и по той ее части, которая связана с лексической анкетой. А между тем в этой модели лексические функции «расположены» в

вершине глубинно-синтаксического этапа порождения текста, а это значит, что и фразеологические сочетания, подчиненные узусу, а не «свободному» синтаксису, моделируются здесь по семантическим правилам. Авторы этой модели вынуждены были покинуть Россию в самый разгар работы над ней. И исследования в области лексических функций позднее продолжены были Ю.Д. Апресяном, но уже в рамках «интегрального подхода к описанию языка». Что, кстати свидетельствует о теоретической валидности моделей типа «Смысл \leftrightarrow Текст».

Отчуждение фразеологии от метода описания фразеологических сочетаний (и идиом, если таковые описываются этим методом) по системе лексических функций продолжается и в настоящее время. Причина такой теоретической «заторможенности» кроется, по всей видимости, в том, что фразеология не занимается проблемами семантического синтеза своих единиц в текст, что, как мы старались показать выше, требует «расконсервации» самой фразеологии и интеграции ее результатов в общее описание языка в действии. А тот приоритет, которым обладает в описании фразеологических сочетаний слов отечественная наука, остается нереализованным, и в словарной практике до сих пор не существует словаря устойчивых сочетаний слов, организованного по принципу лексических функций, адаптированного для нужд «обычного» пользователя. Выход же в свет в Вене в 1984 г. Толково-комбинаторного словаря русского языка И.А. Мельчука и А.К. Жолковского, созданного для модели «Смысл \leftrightarrow Текст» и описывающего в указанной парадигме фразеологические сочетания, — событие малоизвестное для фразеологов.

Завершая обзор классического и постклассического периодов развития фразеологии, а также тех достижений современных лингвистических исследований, которые имеют самое непосредственное отношение и к проблематике фразеологии — раздела лингвистики, исследующего устойчиво воспроизводимые сверхсловные наименования различного типа, необходимо обратить внимание на то, что в словарном деле продолжает господствовать принцип описания фразеологизмов-идиом, восходящий еще к традициям Словаря современного русского литературного языка [1948 — 1965], примером чего может служить фразеологический словарь под редакцией А.И. Молоткова [1967]. Думается, что причиной этого является отсутствие такой модели значения фразеологизмов-идиом, которая могла бы быть онтологизированной в соответствии с теми процедурами языкового сознания, которое говорящий осуществляет, когда выбирает идиому в речи или когда декодирует ее в тексте.

Резюмируя положение дел во фразеографии, А.И. Федоров утверж-

дает, что «есть все основания пересмотреть все имеющиеся определения и стилистическую характеристику фразеологизмов в толковых словарях» [1985, 184]. Но такая ревизия должна быть осуществлена применительно ко всем типам информации, несомой фразеологизмом, начиная от объективного содержания, его пресуппозиций и ассоциативно-образного восприятия и кончая всеми типами отношений субъекта к обозначаемому — оценочным, эмотивным, культурно-национальным а также отношения к социальным условиям речи. Совершенно ясно, что такой объем информации может сканироваться, храниться и быть обработан только с применением компьютерной технологии. Разработка такой системы может служить базой данных для словаря любого типа — как академического, так и учебного. Только на базе изучения всех типов информации, несомой фразеологизмом как языковым знаком, возможно определить и специфику фразеологического значения. Если оценить достижения фразеологии в ретроспективе, то можно прийти к нескольким выводам:

1. Безусловно, отечественная фразеология «вышла из виноградовской шинели», так как концепция акад. В.В. Виноградова была не перенесением взглядов Ш. Балли на русский материал ни тем более — на почву отечественной традиции, а развитием его идей в духе постгумбольдтианского психологизма, наиболее ярко представленного той традицией, которая восходит к трудам А.А. Потебни, а в грамматике — к школе А.А. Шахматова. Синтез гумбольдтианских идей и идей структурализма на базе теории словосочетаний как «номинативного минимума» предложения придают этой концепции ту мощную теоретическую базу, те направления решения проблем, ту высоту поставленных задач, которые не были достигнуты последователями В.В. Виноградова ни в «классический» период — период непосредственной разработки наследия В.В. Виноградова, ни в период «постклассический», который характеризует исследование «деталей» фразеологических «сращений», «единств», фразеологических сочетаний и других типов фразеологизмов (пословиц, поговорок, крылатых выражений и т.п.), а также их грамматических особенностей (относительно частеречных и синтаксических признаков).

2. Классический период развития фразеологии знаменуется стремлением сохранить основные положения, высказанные В.В. Виноградовым, а постклассический — стремлением освоить новые методы, в основном — методы лексикологии, и описать фразеологический состав либо только как систему всех его единиц, что можно назвать тенденцией к центростремительному моделированию значения всех фразеологизмов на основе признаков идиоматичности (полной или частичной)

и воспроизводимости (часто ассоциируемой с устойчивостью), либо же — описать этот состав как подсистемы лексико-фразеологической системы языка, что связано с тенденцией к центробежности — к моделированию значения фразеологизмов сообразно с теми его признаками, которые либо сближают их со словом, либо с сочетанием слов, либо, наконец, с предложением. На этой основе были выделены несколько подразделов фразеологии — к собственно фразеологии стали относить только полностью идиоматичные сочетания, а сочетания фразеологически связанные и пословицы были отнесены как бы на периферию, интерес к которой значительно ослаб (по сравнению с классическим периодом).

Однако фразеологический состав языка не знает рамок — это скорее — безбрежный разлив, вышедший за лексикологическое русло. В.В. Виноградов, бывший свидетелем постклассического периода, хранил долгое и даже таинственное молчание, прервав его для того, чтобы заметить, что распределение материала фразеологии по уровням или подсистемам — это как бы стремление вписать его в некую «табель о рангах», в то время как фразеологический состав следует исследовать на всем пространстве взаимодействия уровней языковой системы [Виноградов 1963]. Именно этот подход к проблеме фразеологии (при его декларации во многих исследованиях) был и остается наименее изученным.

Завершение постклассического периода связано с осознанием того, что классификационно-системный подход к изучению фразеологического состава языка исчерпал себя и что изоляция фразеологии от других лингвистических дисциплин сужает ее теоретическое пространство.

3. Перспективы дальнейшего развития фразеологии как раздела лингвистики, изучающего устойчиво воспроизводимые сверхсловные наименования, — в освоении новых методов описания, разработанных в русле грамматик порождающего типа и потому «срачивающих» методы лексикологии и синтаксиса — с одной стороны, а с другой — уделяющие пристальное внимание таким проблемам, как условия референции, прагматические функции фразеологического знака, его роль в высказывании, речевом акте и текстообразующие потенции. Иными словами — фразеологизмы должны рассматриваться как знаки, обладающие своей особой природой, а это означает — в них должны быть выявлены свойства, объясняющие их роли и функции в языке и речи, а тем самым — дан ответ на вопрос: какими преимуществами обладает фразеологический знак перед другими знаками (в частности и прежде всего — лексическими), которые обеспечивают их воспроизведение при аномальности знаковой структуры. Очевидно, что ответ на этот вопрос

предполагает исследование соотношения объективного и субъективно-го факторов в значении фразеологизмов, их приспособленности к коммуникативным процессам, способности выполнять номинативное задание в ходе организации высказывания, включаясь в когнитивные процедуры, обеспечивающие понимание, а также в социальные условия речи, характеризующие статус коммуникантов и т.д. и т.п. Эти исследования — неотложная задача фразеологии.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБЪЕМ ФРАЗЕОЛОГИИ И ТИПЫ ЕЕ ЕДИНИЦ

Начать эту тему, предваряющую наш собственный взгляд на объем, предмет и задачи фразеологии можно было бы с обзора проблемы. Однако это увлекло бы нас в болезненно дискуссионную атмосферу фразеологии 60—70 гг., когда именно вокруг этой проблемы «ломались копья», поскольку от постулируемых признаков объекта зависела и разработка методов, универсальных для всего корпуса фразеологических единиц или характерных для тех или иных их классов. Но поскольку разными учеными в зависимости от типа языка и от избранного критерия фразеологичности выделяется то или иное количество таких классов, а в соответствии с этим — и объем фразеологии, мы попытаемся выделить наиболее универсальные их типы, свойственные любому языку, для которого характерна категория слова и сочетания слов. Хотя совершенно ясно, что в зависимости от типа языка критерии фразеологичности варьируют (см. об этом [Dobrovol'skij 1988]).

К базовым классам фразеологизмов в русском языке (как и в других языках аналитического или синтетического типа) можно отнести все сочетания слов, для которых характерны три основных параметра: принадлежность к номинативному инвентарю языка, признак полной или частичной идиоматичности, а также свойство устойчивости, в той или иной степени ее вариабельности, проявляющееся в абсолютной или относительной воспроизводимости сочетаний слов «в готовом виде». Как бы ни определялись границы каждого из класса в соответствии с той или иной характеристикой признаков, каждый из них представляет собой «размытое множество» по периферии с типовым «ядром»: в языке как исторически развивающейся системе не может быть четко очерченных границ его подсистем.

Категориальное содержание этих признаков-параметров, небесспорное для всех ученых-фразеологов и, всего вероятнее, далекое от совершенства, но являющееся своего рода итогом контент анализа всех из-

вестных нам фразеологических концепций (как отечественных, так и зарубежных), сводимо к предлагаемым ниже.

✓ Под номинативным составом языка принято понимать всю совокупность его единиц, обладающих номинативной функцией, т.е. служащих для названия вычлененных языковым сознанием из внеязыкового континуума отдельных его фрагментов, соответствующих «видению мира» данной лингвокультурной общностью. Номинативные единицы — это тот инвентарь языка, который служит средством построения высказываний: последние состоят из таких единиц и в то же время приспособливают их к общему смыслу — как семантически и прагматически, так и за счет грамматических форм.

Классическим типом номинативных единиц являются полнозначные, или знаменательные, слова — первообразные или производные. К номинативным единицам относятся и слова служебные, обозначающие пространственно-временные, причинные и т.п. отношения (той или иной степени их абстракции от собственно названий пространства, времени, причин и под.). Как известно, собственные имена обладают целым рядом особенностей, но тем не менее они также называют внеязыковой объект. К неклассическим типам номинативных единиц относятся комбинации слов (полнозначных или служебных), выполняющих номинативную функцию, т.е. называющих и обозначающих фрагменты действительности как целостные внеязыковые объекты.

Очевидно, что, следуя этому критерию, к фразеологизмам можно отнести лишь те сочетания, которые не характеризуются функцией высказывания, т.е. не обладают вне текста так называемой объективной модальностью, равно как и конкретной референцией. Это не означает, что к фразеологизмам не относятся те из них, которые имеют структуру предложения и формально вычленяемые в этой конструкции его «члены»: форма предложения сама по себе, без ее модальной актуализации — это еще не высказывание. Например, фразеологизмы представляющие собой лексически незамкнутые структуры, типа *Куры не клюют* чего-л. (денег, продуктов и под.), *Веревка плачет* по ком-л., равно как и лексически замкнутые «устойчивые фразы» (по терминологии В.Л. Архангельского [1964]) типа *Наша взяла!*), выступают как готовые «блоки» в составе высказывания или текста, где они и обретают не только «завершенность мысли», но и модально-референтную актуализацию. Вне высказывания он и обозначают и называют целостный внеязыковой объект. Например, в наших примерах *Куры не клюют* чего-л. — ‘ничтожно малое количество’ чего-л., а ограниченный набор слов, способных заполнить синтаксическую валентность, свиде-

тельствует лишь об объеме признаков, выделенных в акте номинации, поэтому такое ограничение не является синтаксическим, а с е м а н т и к о - л е к с и ч е с к и м, когда самим значением «блокируется» выбор тех или иных слов из числа синтаксически возможных. Во фразеологии для так ограниченного набора «внешнего окружения» принят термин слова-сопроводителя. Такого рода ограничение в выборе слов-сопроводителей характерно не только для «незамкнутых фраз», но и для других лексико-грамматических типов, например: *без задних ног* — только *спать, обвести вокруг пальца* — только имя, обозначающее лицо, а *вешать лапшу на уши* — валентность *кому* может быть заполнена не только именем лица, но какого-л. коллектива (вплоть до всего народа) и т.п.

Безусловно, само понятие «целостный объект» расплывчато, но интуитивно противопоставлено представлению комбинации объектов. В частности, *Куры не клюют* — обозначает не поименованные объекты, а ситуацию в целом, обретающую смысл только в данном сочетании слов. Номинативный критерий позволяет не только классифицировать фразеологизмы, но и служить мерой адекватности для классификаций, построенных на других основаниях (например, на статистических и т.п.).

В настоящее время во фразеологии как бы сосуществуют по крайней мере шесть классов фразеологизмов, каждый из которых включает в себя либо только «ядро» фразеологического состава — и д и о м ы (1), либо фразеологизмы с аналитическим типом значения — ф р а з е о л о г и ч е с к и е с о ч е т а н и я, которые непосредственно взаимодействуют по своей структуре с единицами лексико-семантической системы языка (2), либо п а р е м и и (пословицы и поговорки), обладающие одновременно и «прямым» и иносказательным значением (3). Некоторые авторы включают в объем фразеологии только два класса — идиомы и фразеологические сочетания (1, 2), другие — еще и пословицы и поговорки (1, 2, 3). К этому добавляют иногда речевые ш т а м п ы (4) и различного рода к л и ш е (5), а также к р ы л а т ы е в ы р а ж е н и я (6). Все эти типы единиц объединяются по двум признакам: несколькословность (следовательно — раздельнооформленность) и воспроизводимость.

Иными словами, широкий объем фразеологии можно определить как все то, что воспроизводится в готовом виде, не являясь словом. Сразу видно, что это критерий не структурно-семантический, а чисто узуальный: все сочетания слов (непредикативные и предикативные), которые воспроизводятся в речи в соответствии с узусом употребления — фразеологизмы. Иными словами, все устойчивые сочетания слов,

независимо от их характерологических признаков, — предмет фразеологии.

Нет смысла обсуждать правомерность или неправомерность выделения такого объема фразеологии (как известно, он был намечен в трудах В.В. Виноградова). Однако ясно, что на базе этого «широкого объема» фразеологии невозможно построить универсальные для всего этого корпуса методы: они могут быть адекватными только для каждого из упомянутых выше классов (1—6). Возможность же существования «общих» для всего фразеологического состава языка методов означает возможность построения единой «грамматики» для всех этих типов. Но пока такой грамматики, идущей от смысла к форме (или наоборот), не существует, и мы сомневаемся в плодотворности самой этой затеи: ничего, кроме исчисления нарушения регулярных парадигматических и синтагматических отношений, а также «особых» прагматик создать, как нам кажется, невозможно.

Таким образом, говоря об объеме фразеологии, мы имеем в виду все типы узуально воспроизводимых сочетаний, которые группируются в сильно размытые множества на основании тех или иных характерных для каждого множества признаков и отношении между ними. В соответствии с этим ниже и пойдет речь о разных «фразеологиях».

Фразеология-1, или учение о полностью идиоматических сочетаниях слов, — это лексическая идиоматика. Этот раздел можно было бы «окрестить» фразематикой, поскольку идиомы выступают как целостные по номинативной и структурно-семантической организации знаки и могут быть названы в соответствии со стилем структурализма фраземами (ср. фонема, лексема, синтаксема и под.). Именно так и мы в свое время предлагали, ссылаясь на мнение Е.Д. Поливанова [1928], называть полностью идиоматические сочетания слов [Телия 1965]. Однако этот термин в отечественной традиции не прижился (а кроме того, он был использован Н.Н. Амосовой для обозначения фразеологизмов с уникальной сочетаемостью, типа *night mere* (см. [Амосова 1963]). Употребляется же он в западно-европейской традиции (см., например, [Matešić 1987; Eckert 1987; 1992] и др.). Но в конечном счете дело не в терминологии, поэтому мы предпочитаем в соответствии со сложившейся традицией называть сочетания с полностью переосмысленным значением фразеологизмами-идиомами, или просто идиомами, тем самым сохраняя структурно-семантический их изоморфизм с идиомами других типов (словообразовательными, синтаксическими и т.п. вплоть до понятия идиоматичности языка L_1 , относительно языка L_2 (см. подробнее [Бар-Хиллел 1957; Мельчук 1962]).

Идиоматика — бесспорное «ядро» фразеологии, можно даже сказать

«собственно фразеология», поскольку только идиомы эквивалентны словам по выполняемой теми и другими целостной номинативной функции. Под последней понимается способность имени, выраженного сочетанием слов указывать на объект, соотносимый с одним денотатом (классом реалий, свойств, событий, явлений, фактов и т.п.), ни один из признаков которого не соотносится с отдельным именем, входящим в сочетание слов. Это несколько «тяжелое» определение позволяет, как представляется, избежать упрека, адресованного всем тем, кто апеллирует при определении идиом к критерию целостности номинации, поскольку речь идет здесь об одном, едином денотате, т.е. классе объектов, на которые указывает имя.

Именно номинативный, а не семасиологический критерий позволяет установить различие между типами единиц, входящих в «широкий объем» фразеологии. Само идиоμοобразование — это всегда спонтанный процесс, не ориентированный ни на какие регулярные семантические правила выбора и комбинации слов, на что в свое время указывала Н.Н. Амосова [1963]. Процесс идиоμοобразования — это вовлечение сочетания слов в метафору (или другой троп) на основе подобия того смысла, который лежит в основе номинативного замысла, и того, что обозначается сочетанием в его «буквальном» значении, и что, к тому же, включено в определенную структуру знания о мире — некоторый «сценарий» или «фрейм» (как принято говорить в когнитивных науках, см. [НЗЛ 1983; 1988]). Например, исконно русское сочетание *лезть на рожон* входит в сценарий фрагмента охоты на медведя: охотник выставлял рогатину с прикрепленным на нее поперек заостренным лезвием, а медведь, напоровшись на нее, захватывал его в пасть и, разъярившись, как бы сам шел на свою смерть. Отсюда и аналогия, лежащая в основе метафоры: *X* ведет себя подобно тому, как медведь, который лезет (или прет) на рожон, следовательно — *X* ведет себя совершенно неосмотрительно, не сообразуясь с опасностью. На основании этого можно предположить, что не значение сочетания переосмысляется, а извлекаются черты подобия из обозначаемого им фрагмента действительности, всегда мыслимого вместе с его «фреймом», т.е. структурированным в форме эпизода сцены, более крупного фрагмента сценария или всего сценария в целом.

В подтверждение этого предположения приведем пример из современных процессов идиоμοобразования: *выйти из окопов* вписывается во фрейм «военные действия — начало наступления на противника». Номинативный замысел, принадлежавший «творцу» этой популярной в конце 80-х годов идиомы М.С. Горбачеву, был всем понятен: «начать активные наступательные действия членов КПСС против демократи-

ческой оппозиции', а значение — 'прекратить бездействовать начать активную борьбу с кем-л.' Ни одни из компонентов сочетания в его «прямом значении» здесь не переосмыслен ни по отдельности, ни в целом, поскольку призыв выйти из окопов понимался однозначно: следовательно, прекратить обороняться и т.д. в том сценарии, который имел в виду автор метафоры. Но вот пример ее применения к армии, что означает, что она уже получила собственную референцию, не связанную со значением слова *окопы*: «Если эта националистическая паранойя не кончится, то армия, которую просто рвутся расчлениить на куски, в конце концов *выйдет из окопов*. А это уж не янаевы...» (Куранты, 1991).

Со временем изначальный фрейм может забыться, перестает узнаваться — тогда мотивировка утрачивается, как, например, в *бить баклуши* (поскольку забылась роль этой операции в изготовлении ложек и других деревянных поделок). В этом случае возникает тот тип значения, который В.В. Виноградов называл «сращением» (ср. также *собаку съел, точить ласы* и т.п.). Но пока осознается хоть какая-либо связь с «исконным» сценарием либо же сходным с ним, идиомы воспринимаются как мотивированные (как «единства»). Так, хотя идиома *выносить сор из избы* исконно связана с поверьем о том, что вынести сор из избы значит открыть злой силе тайны семьи и тем самым навлечь на нее порчу (что зафиксировано в пословице: *Сору из избы не выноси, а в печи топн*), эта ситуация вписывается в представление о том, что вынести сор — это вынести «грязь» из дома (семьи). Думается, что эта структура знания, сформировавшаяся и не без собственно языкового воздействия (ср. вторичное значение слова *грязь* — сплетни, порочащие слухи»), обеспечивает прозрачность мотивировки: *выносить сор из избы* — следовательно, 'разглашать не предназначенные для посторонних тайны, порочащие кого-л., или какую-л. группу лиц, объединенных общими интересами'.

И еще одна особенность идиом, во много определяющая как их типовые черты, так и наличие в корпусе идиом различного рода промежуточных и переходных, или точнее — периферийных для классических идиом, случаев: идиомы формируются чтобы ярко, броско и метко воздействовать на слушающего. **Б о л ь ш и н с т в о и д и о м — з н а к и э к с п р е с с и в н о о к р а ш е н н ы е.** Эта номинативная интенция не считается с тем, полностью или частично «вошло» в метафору сочетание слов. Так, возникают идиомы-кентавры, в которых какая-то часть переосмыслена, а какая-то выступает в своем «прямом значении», как, например, в *на скорую <быструю> руку*, где, строго говоря, идиоматично только сочетание *на руку*, ср. также *жить на*

широкую <барскую> ногу или сойти с ума, где переосмыслено слово *сойти* и синтаксическая конструкция (ср. ее основное значение в *сойти с крыльца* и под.).

В последние годы такого рода случаи привлекают самое пристальное внимание фразеологов. Их предлагается объединить в особую категорию «фразеологической переходности», которая отражает «ядерно-периферийные» отношения в идиоматике: «К переходным фразеологическим явлениям мы преимущественно относим обороты с остаточными или приобретенными лексико-семантическими свойствами отдельных компонентов [Жуков А. 1994, 39] (разр. наша. — В.Т.). К таким явлениям относятся идиомы типа *на скорую руку, положи руку на сердце, между двух огней, не от мира сего, смотреть сквозь пальцы, шутить с огнем*, в которых выделенные компоненты выступают в своих обычных значениях. Возможны случаи так называемого синкретизма, когда исконное слово переосмысляемого сочетания совпадает с его употреблением в современном языке: *биться как рыба об лед, схватывать на лету* и под. Многочисленны случаи, когда переходность — явление вторичное для изначальной идиомы. Она может быть результатом варьирования (*облупить <ободрать> как липку*) или обретения аспектных значений глаголом (*заварить — расхлебывать кашу, приходиться в голову — выскочить из головы*) и под. (см. описание такого рода аспектуально-парадигматических форм в рамках одной словарной статьи в [СОВРЯ]).

Уже из приведенных примеров (а число и разнообразие их можно без труда увеличить) видно, что сама метафора «ядерно-периферийные» отношения неоднозначна: ее можно понимать как противоборство центробежных и центростремительных тенденций в языке (см. [Шмелев 1964]), либо как соотношение стабильных и переменных проявлений фразеологичности, либо, наконец, как соотношение наиболее характерных относительно свойства идиоматичности сущностей и сущностей, для которых признак идиоматичности нейтрализуется, уступая место другим доминантам. Идиомы, будучи сочетаниями слов-компонентов, еще в большей степени чем слова включены в динамические процессы языкового существования. А это значит, что их (как, впрочем, и фразеологизмы других типов) необходимо рассматривать не только и не столько в статике (что, в принципе, уже пройденный — классификационный этап фразеологии), сколько в динамике, что приближает описание идиом к отражению живого их функционирования в языке.

В свете сказанного «фразеологическая переходность» — не особая

категория, а факт динамического состояния корпуса идиом, существующего в условиях различных внутриязыковых и внеязыковых процессов и тенденций развития языка: процесса номинации, сразу включающей слово в его «обычном значении» (как в *петь с чужого голоса*), процесса формирования разноаспектных номинаций (типа *вылететь — выпустить в трубу*), которые связаны с тенденцией к мотивации, к регулярности форм, или же к «выравниванию по аналогии с грамматическими значениями. Во всяком случае, это достаточно закономерные для естественного языка тенденции, и наличие переходных случаев — столь же закономерно. Поэтому идиомы могут оказаться образованиями, частично разделяющими свойства свободных сочетаний слов и идиоматичности, фразеологических сочетаний слов и сочетаний, полностью идиоматичных и т.д.

От фразеологических сочетаний идиомы отличаются тем, что первые именуют аналитически, т.е. одно из имен в них всегда обладает самостоятельной денотативной соотнесенностью, а другое — указывает на свой денотат через посредство этого имени (подробнее см. ниже). От пословиц, крылатых выражений и т.п. идиомы отличаются тем, что первые несут в себе сигналы, свидетельствующие об объективно-модальной их готовности, а от штампов и клише — использованием имени во вторичной для него функции Таков «крупный план».

Конечно же, провести четкие границы между идиоматикой и другими типами фразеологических единиц так же невозможно, как установить, где та, к примеру, грань, которая проходит между морской водой и водой речной, вливающейся в море, особенно — во время шторма. Это же сравнение можно использовать и для разграничения идиом и «ходовых» метафор. Известно, что во время перестройки пошли в ход метафоры типа *раскачивать лодку, загребать влево* и под., которые повторялись как в прессе, так и в других видах «масс медиа». С концом перестройки эти идиомы выпли из активного употребления вместе с теми ситуациями, которые они обозначали. Идиомы-временки — это тоже «размытый» слов.

Таким образом, конечно же существует некое статическое «ядро» идиоматики и его размытая периферия, которую образуют сочетания, частично идиоматичные по тому или иному признаку — лексико-семантическому, синтаксическому, морфологическому или всем вместе. И в этом нет ничего удивительного, поскольку в идиоообразовании действуют не регулярные законы языка, а факторы смысловой аналогии (о чем нам уже приходилось писать [Телия 1981]). Даже в словообразовательных процессах существуют отклонения от общих и жестко регулярных «моделей» словопроизводства (ср. *сумасшедший, незнайка*,

пятизначный подмышка и т.д. и т.п.). Тем более закономерно нарушение общего принципа идиоматичности для сочетаний слов, поскольку здесь нерегулярность самого номинативного процесса сталкивается с тенденцией языка к грамматической регулярности хотя бы в выражении возможных лексико-грамматических значений, семантическая обособленность сочетания от свободно образуемых комбинаций сталкивается с тенденцией к мотивации, лексическая устойчивость сочетания расплывается под воздействием системных отношений в лексико-семантической системе языка, чему способствует как мотивированность значения идиом так и их немотивированность и т.д. и т.п.

По этой причине было бы схоластичным вести спор о том, входит ли данный фразеологизм в «ядро» или выходит за пределы идиоматики, разделяя свойства других типов единиц фразеологии: безусловно сочетание *приходить в голову* может быть описано как образно-мотивированная идиома, но если компонент *голова* считать метонимическим обозначением ума, то это же сочетание обнаруживает сходство с фразеологическими сочетаниями (ср.: *У него хорошая, светлая голова; Бисмарк — это голова!*; подробнее по этому поводу [Ковшова 1990]). Но вместе с тем, такие периферийные типы должны определяться по доминирующему критерию: либо это результат идиообразования, либо фразеобразования и т.п. Все приведенные выше примеры — это продукт идиообразования, о чем, в частности, свидетельствует невозможность выделить в них такие опорные наименования, которые имели бы продуктивную «свободную» сочетаемость (например: *нагло обдирать* <ободрать>, но **ободрать* кого-л. *на улице, в трамвае*, ср. *обокрасть* кого-л. *на улице, в трамвае* и т.п.). Идиомы имеют свой «стиль»: они обладают глобально образным основанием и таким же прочтением (восприятием) — независимо от того, жив образ или стерся (ср. *как если бы птица* и т.п. *на лету схватывать* — образно мотивированная идиома и *на скорую руку* — как если бы руки скоро делали что-либо и т.д.).

Фразеология-2 обычно понимается как учение о таких воспроизводимых сочетаниях слов, которые были названы В.В. Виноградовым фразеологическими сочетаниями. В зарубежной (преимущественно англо-американской традиции) такие сочетания называют лексическими коллокациями [Benson 1985], но в этот класс обычно включают штампы, клише и т.п. Под влиянием трансформационной грамматики стал употребляться и термин рестриктивные сочетания [Cowie 1988]. Следует заметить также, что в зарубежной традиции категория связанности значения по существу игнорируется, не исследуются и семантические основания ограничения в выборе связанного значения с тем или иным

семантически ключевым словом, а разработка лексических коллокаций (или рестриктивных сочетаний) ведется в сугубо лексикографических целях (см., например, [Benson M., Benson E., Illson 1986]). Однако даже при лексикографическом подходе возникает вопрос, образуются ли лексические коллокации узким объемом значения одного из слов или его «связанностью».

Этот вопрос существенен и для отечественной традиции: семантически свободно или семантически принудительно воспроизводятся такие, например, сочетания слов, как *щурить глаза*, *каурая лошадь* — с одной стороны, а с другой — *завоевать*, *потерять авторитет*, *дутый авторитет* и т.п. Для сочетания типа *железная дорога*, *утечка мозгов* и т.п. характерно и идиоматичное включение: *дорога* здесь — рельсовые пути, а *железная* — рельсовая колея (повтор в толковании элемента «рельсовый» свидетельствует о том, что ни одно из слов-компонентов не обладает самостоятельно выделяемым значением, ср. недостаточную информативность высказывания *На дороге случилась авария* или же *Эта дорога — железная*).

Примеров подобного рода можно привести сколь угодно много. Все это обусловило «разброд и шатания» как в выделении этого объема фразеологии, так и определения функционально-семантического статуса фразеологических сочетаний. Следует напомнить, что Н.Н. Амосова относилась к фраземам как единицам «постоянного контекста» только те сочетания, которые характеризуются «единичным» сцеплением компонентов (типа англ. *night mere* 'ночной кошмар', ср. русское *заклятый враг* или *закадычный друг*), а сочетания с переменным «указательным минимумом» — к стилистическому узусу Амосова [1963]. Ряд других фразеологов называет такие сочетания фразеологизированными, имея в виду их «неполную» идиоматичность и тенденцию к устойчивости воспроизведения [Ройзензон, 1973; Чернышева 1977] и др.).

Для того, чтобы внести характерологическое основание в этот корпус необходимо уточнить прежде всего причину их воспроизводимости. Эту причину мы усматриваем прежде всего в том, что: (1) **Х** о т я б ы о д и н и з к о м п о н е н т о в таких сочетаний выступает в своем «свободном» значении (первичном или вторичном) и при этом о н выполняет роль семантически ключевого, т.е. предопределяет семантическое прочтение связанного с ним по смыслу и по форме другого компонента (или компонентов), ср., например: *бурный восторг* — 'общий и интенсивный' восторг, а *телячий восторг* — 'интенсивный и проявляющийся в подпрыгивании, подсакивании' и т.д. и т.п., *восторг, приходит в восторг* — 'начинать испытывать восторг' и т.п.

Нельзя не заметить, что семантически реализуемые слова допускают (хотя бы по остаточному принципу) достаточно завершённое толкование (ср. *железная дорога*, где это невозможно) (2). Это толкование возможно для семантически реализуемого слова только при комбинации с данным (одним или рядом) семантически ключевым словом: возможны случаи «связанной омонимии» когда одно и то же семантически реализуемое слово при разных семантически опорных словах реализует разные значения: ср.: *глубокое горе* — ‘сильное горе’, *глубокая зима* — ‘достигшая своего «апогея» зима’, *глубокая мысль* — ‘существенная по содержанию мысль’ и т.п.

Думается, что эти два признака достаточно четко отличают лексические коллокации с аналитическим типом значения (АЛК) от идиом и от свободных сочетаний слов. Что же касается структурно-семантических разновидностей АЛК, то они связаны как с типом языка, так и с типом значения, лежащим в их основе. Совершенно очевидно, что в языках аналитического типа «связанные значения» имеют тенденцию к десемантизации уже в самом процессе номинации, а в русском (и других языках синтетического типа) такая тенденция — скорее исключение, чем правило.

Как и в идиоматике, в этом корпусе АЛК можно выделить «ядро», периферию и динамический «ареал». Очевидно, что «ядро» должно обладать типичными признаками, т.е. (1), (2) и еще каким-то характерным именно для аналитизма признаками. К этим последним мы относим их номинативную регулярность при нерегулярности способов выполнения номинативного задания. Под номинативной регулярностью понимается способность АЛК за счет «связанного» по значению слова-компонента обозначать смыслы, которые обладают общекатегориальным содержанием, характерным для видо-временных и аспектуальных значений, для значений, соотносимых с глубинно-семантическими «падежами» (в смысле Ч. Филлмора [Fillmore 1968]), т.е. с различного рода семантическими актантами типа агенс, пациенс, инструмент, локатив, а также совокупность, часть и т.п. Именно этот принцип и лежит в основе лексических функций, разработанных А.К. Жолковским и И.А. Мельчуком и описывающих параметрические сочетания (о чем уже упоминалось выше).

Нерегулярность выражения номинативно заданных смыслов обусловлена использованием лексических средств, не принадлежащих к служебным словам, образующим аналитические формы, а также к «прямым» способам выражения оценочных или актантных значений. Эта нерегулярность обусловлена прежде всего сохранением именно лекси-

ческого (а не только категориально-грамматического) значения в словах-параметрах. Ср., например: *быть в доме*, где глагол-связка реализует свое локативное значение и *быть во гневе, не в настроении*, где реализуется экзистенциональное значение связки *быть*, но *приходить в гнев, терять настроение* и т.п., где глагол сохраняет связь с «переходом», с обладанием и т.д., ср. также *луч света* и *луч надежды, кормило корабля* и *кормило власти* и т.д.; *бурное море* и *бурное негодование, крепкое рукопожатие* и *крепкая дружба* и т.д.

При номинативном подходе к АЛК следует отнести аналитические названия элементов «предметного ряда», такие, как *грудная клетка, белый гриб, белое вино* и т.п. Их отличительный признак — родо-видовые и парциальные обозначения уже существующих объектов, называемых по видовым (*вино — белое, красное; чай — черный, байховый, зеленый* и т.п.) признакам или же по соотношению части и целого (*коленная чашечка, носик чайника* и под.).

Поскольку язык как естественно развивающаяся знаковая система не подчиняется строгой таксономии, во множестве АЛК можно выделить и периферию и динамический ареал.

К периферии следует отнести по крайней мере три случая: (1) АЛК, тяготеющие к собственно аналитическим формам значения ключевого слова, (2) АЛК, в которых связанные значения имеют тенденцию к обретению собственной денотации, т.е. в силу узуса они еще «прикреплены» к семантически ключевому слову, но уже обрели номинативную «специализацию» и (3) аналитические по значению сочетания слов, в которых в качестве опорного наименования выступает слово в переосмысленном значении (обычно — метонимическом) или же — идиома.

К (1) можно отнести сочетания типа *сделать замечание, предложение; оказать помощь, внимание; иметь терпение, мужество* и под., а также *капля сострадания, мужества; сфера интересов, деятельности* и т.п. *огромный, большой успех, скандал*. Во всех такого рода сочетаниях номинативно зависимое слово десемантизируется или расширяет свое значение (т.е. утрачивает денотативно-идентифицирующие семы), а потому его принудительная сочетаемость с опорным наименованием «контролируется» узусом. Ср. *оказать помощь, содействие* и т.п., но *приятно на выручку, а не оказать выручку; капля надежды, но *капля упования; большое уважение*: но **большое почитание* и т.п.

Исследовать исторические «корни» этих сочетаний, т.е. условий формирования сначала связанного значения семантически реализуемого слова-параметра, а затем — его десемантизации, относится к компетенции исторической фразеологии (которая представлена пока что

эпизодическими исследованиями см. например: [Копыленко 1973, 73—118, Палевская 1972]).

В (2) входят сочетания типа *приходить к решению, к заключению; выходить из положения; поле деятельности* (ср. **поле интересов*); *глубокое впечатление, чувство* (ср. *глубокое горе*, относимое нами к основному множеству на том основании, что *глубокое* здесь — не только 'сильное', но еще и характеризующее нечто важное для субъекта, ср. невозможность сказать о пропаже даже крупной вещи или суммы денег, что это — *глубокое горе*, но пропажа собаки может обернуться *глубоким горем* и т.п.).

Как (1), так и (2) принадлежат номинативной парадигме номинативно (и семантически) опорного слова: они выражают аналитически регулярные аспектуальные, локативные, парциальные значения и т.п., а также интенсификацию, общеоценочные значения. Несмотря на утрату конкретных сем, все параметрические компоненты сохраняют свое выделенное в сочетании словесное значение, а вместе с ним — и лексико-семантические ассоциации, что удерживает их от полной десемантизации. Даже в таких случаях, как *оказать поддержку, помощь* и т.п. в глаголе *оказать* осознается связь с 'приложить усилия для достижения чего-л.', равно как и в глаголе *сделать*, отсюда — запрет на сочетаемость с теми словами, которые не имплицитируют в своем содержании возможности активного воздействия, как, например, в **оказать гнев, радость, сомнение* и под., ср. также: **сделать внимание, наслаждение; *огромная печаль, *большое уныние* и под. Так что проблема выбора остаётся, по всей вероятности, за возможностью/невозможностью смыслового согласования, а не только узуса употребления (как считает, например, Е.Г. Борисова [1990]).

К (3) относятся сочетания, «промежуточные» между идиомами и АЛК, типа *приходить в голову — вбивать в голову — сидеть в голове — выскочить из головы — выбить из головы* (обычно мысль или ее содержание); *быть под башмаком — держать под башмаком; вылететь в трубу — выпустить в трубу* и т.д.

Промежуточный статус этих сочетаний состоит в том, что они разделяют свойства идиом, так как все их компоненты полностью переосмыслены, но вместе с тем осознается главенство именного компонента, который одновременно является и «признаковым» членом фразообразовательной парадигмы, т.е. выступает в роли, аналогичной «производящей основе». Обычно словари описывают такие сочетания как идиоматичные, но при этом не указываются парадигматические функции глагольного компонента. Однако в специальных работах отмечалось, что это явление не что иное, как «разноаспектная номинация» [Schyndel

1994]. Установить точную грань, между АЛК и аналитическими идиомами (АИ) не всегда возможно, поскольку здесь наблюдаются различного рода градации. Ср., например, *держат в <на> уме* и *держат в мыслях* — первое «ближе» к идиомам (ср. также *выскочить из головы*, но **выскочить из ума, мысли; приходит на ум <в голову>*, но **приходить на мысль* и т.п.).

Как уже отмечалось выше, применительно к идиомам такого рода «фразеологическая переходность» — закон естественного языка, поскольку творец имен не вписывает свое произведение-имя ни в какую классификацию, просто именует в зависимости от своего номинативного замысла: ему безразлично, сохраняется ли при этом лингвистическая «чистота» признаков фразеологизма.

Динамический ареал этого класса может быть продемонстрирован, например, появлением в период перестройки огромного количества сочетаний, которые полностью включаются в регулярную номинативную парадигму, но нерегулярную по способу лексического выражения заданных в номинативной «матрице» смыслов. Именно такого рода номинативную парадигму мы называем ф р а з о о б р а з о в а т е л ь н о й [Телия 1976; 1981]. К этим сочетаниям принадлежат так называемые «метафоры перестройки» (см. [Баранов, Караулов 1992]) типа *пирог власти*: Складывается впечатление, что молодые депутаты обижены тем, что им мало досталось от *пирога власти* (Куранты, 1992); *дитя застоя*: Вся моя сознательная жизнь, лучшие ее годы прошли при Брежневеве. Вот и получается, что я и есть *дитя застоя* (Огонек, 1991); *инъекция, паутина лжи*: «Революция продолжается!» Кто не помнит этот фальшивоплакатный лозунг времен застоя, эту *инъекцию лжи*, помутившую сознание общественного организма; Сейчас, после высылки Солженицына, эта поддержка незаменима. Мы все задыхаемся в *паутине лжи* (Огонек, 1988). Ср. также: *пути, рамки, тормоз, колыбель, штурманы, капитаны перестройки; коридоры, эшелоны власти, деревянный рубль* и под., а также *уйти в окопы — выйти из окопов, загребать влево <вправо>*).

Наиболее активными в динамической зоне являются те АЛК, которые формируются как генитивная метафора. В этой связи уместно напомнить ставшие уже устаревшими сочетания типа *акулы империализма, болезнь роста, слуги народа*, перешедшие в «цитации», или сочетания, которые свидетельствуют о страшной трагедии сталинщины: *враг народа, прихвостень оппозиции* и под.

Нельзя не заметить в этой связи, что глагольные и атрибутивные средства фразеобразования практически не пополняются. Это можно

объяснить тем, что эти средства как бы уже узуализированы, ср., однако: *двигаться курсом реформ, сходиться с намеченного курса* и т.п.

Вполне естественно, что АЛК-временянки выйдут из игры, на какую-то часть скорее всего войдет в узус употребления (*коридоры, верхние эшелоны власти, промывание мозгов* и т.п., как вопли сочетания *железный занавес, холодная война* и под.). Считать ли такие сочетания фразеологизмами? Безусловно, да: они проявляют все признаки фразеологичности, свойственной АЛК: им присуща воспроизводимость и наличие связанного значения одного из компонентов. Но то, что они служат для наименования «тонкостей» и «деталей» современной политической жизни страны как бы обрекает их на историческое забвение.

Номинация же сущностей, соотносимых с миром человека — как внешним, так и внутренним не знает исторической смерти. Хотя и для этой сферы характерны периоды большей или меньшей фразеобразовательной активности. Продуктивным и плодотворным периодом для формирования номинаций, соотносимых с этой сферой, были конец ХУІІІ — начало ХІХ веков, которое проходило под влиянием французской культуры и языка, освоенной русским дворянским обществом. И этот факт свидетельствует, в частности, о том, что освоение культурных ценностей всегда отражается в языке, который дает имена этим ценностям, расчлняя их «на свой лад».

Итак, в корпусе традиционно определяемых фразеологических сочетаний необходимо выделить, следуя за закономерностями формирования этих сущностей в процессах номинации и тем самым — с учетом номинативного аспекта значения, в качестве особого множества а н а л и т и ч е с к и е л е к с и ч е с к и е к о л л о к а ц и и — АЛК. У этого множества есть свое «ядро», которое образуют АЛК, сохраняющие связанность значения одного из компонентов при свободном значении другого (типа *зло берет, телячий восторг, завязать дружбу, сын народа*) и периферия. Последняя может быть представлена тремя сферами: собственно переходные случаи, когда компонент АЛК переходит в область служебных слов — это процессы д е с е м а н т и з а ц и и или т е н д е н ц и и к расширению сочетаемости на основе перехода коннотативных сем в семы денотативные — это процессы а в т о н о м и з а ц и и связанного значения; наконец — процессы «п а р а д и г м а т и з а ц и и» и д и о м, когда один из компонентов начинает выполнять роль базового члена номинации, т.е. выражать какие-либо категориально-грамматические значения, объединенные в номинативную парадигму.

Помимо того корпуса, который включает АЛК, к фразеологическим сочетаниям в концепции акад. В.В.Виноградова, а затем — во многих трудах по фразеологии (см., например, приведенные выше клас-

сификации акад. Д.Н.Шмелева или М.М.Копыленко и З.Д.Поповой) были отнесены сочетания типа *щуришь глаза, спертый воздух, беспробудное пьянство, трескучий мороз, курить взятяжку* и под., в которых нет идиоматичности: их воспроизводимость обусловлена узко референтным значением одного из компонентов, которое согласуется по своему собственному смыслу и форме со своим партнером. Так, *щуришь* — ‘прикрывать веки, сморщив их’, отсюда *щуришь* — только *глаза, веки*; *ржать* — ‘издавать звук, характерный для лошади’, отсюда — *лошадь ржет* (ср. *камыш шуришит* и под.), скорлупа ‘верхний, жесткий покров плодов ореха или яйца’, отсюда — *скорлупа ореха, яичная скорлупа* (но **скорлупа картофеля*, у картофеля — *кожура* и т.п.). Еще В.Порциг выделял такого рода сочетаемость как выражение «существенных связей» [1934]. Тем самым воспроизводимость здесь — свойство регулярно семантическое, что и позволяет считать такие словосочетания свободными, хотя лексически «избирательными».

Более условную для *Фразеологии-2* проблему представляет собой решение вопроса о том, являются ли фразеологизмами такие сочетания, как *Совет Министров* (где на самом деле не реализуется «обычное» значение слова *совет*, а оно выступает как обозначение организации, в которой сотрудничают министры), ср. также *Верховный совет*, члены которого принимают решения, в итоге обсуждения какого-либо закона и под., т.е. как бы посоветовавшись, *Министерство обороны* (которое занято не только обороной) и т.д. и т.п. Думается, что эти номенклатурные названия подчинены не законам естественного языка, а языка официально-делового — терминологической его сферы, а поэтому и должны изучаться как специальные термины, т.е. скорее в прикладной лингвистике, нежели в «общем» языкознании. Уместно отметить и стандартизованность подобных составных терминов, ср., например: *совет народных депутатов (ветеранов, независимых государств* и т.п.).

По признаку стандартизованности к сочетаниям такого рода близки различного рода «речевые заготовки», или клише. В последних, как общее правило, есть «свободное место» для актуализации денотативного пространства, как, например, в формулах приветствия, вежливости, вступления в разговор, предложения услуг, совета и т.п. Этот раздел фразеологии можно условно назвать *Фразеологией-3*, а ее предметом является исчисление форм и значений формул речи.

Думается, что с «собственно» фразеологией, которая занимается все же аномалиями, *Фразеология-3* не имеет ничего общего, кроме того, что в клише могут входить и семантически переосмысленные компо-

ненты. Так, если формула *Не могли бы вы передать мне соль* содержит смысл 'передайте, пожалуйста мне соль', где условно-сослагательный модус и выражает «неприказную» форму просьбы, то в *Я не могу не попросить у Вас извинения за слишком резкое выступление* содержится АЛК *просить извинения*, а формула несогласия *Боже упаси* — идиома (ср. также формулы утешения, соболезнования: *Держи себя в руках, Не падай духом* и т.д.). Что же должна исследовать фразеология в этом материале? Условия воспроизводимости? Но они заданы узусом общения в определенных ситуациях, а не структурно-семантическими свойствами слов-компонентов. Последние здесь — только средство, а не способ клиширования.

Столь же «внефразеологична» по своей сути и заштампованность речи, хотя именно эта ее характеристика лежит в нетерминологическом для лингвистики таком понимании фразеологии, в котором отражаются типичные для какого-либо литературно-публицистического направления, стиля автора способы отбора языковых средств. В таком случае (назовем его *Фразеология-4*) говорят о фразеологии декабристов, фразеологии романтизма, публицистической фразеологии, о фразеологии Пушкина, Гоголя, Достоевского и т.п. В этом терминопотреблении сведены те характерологические черты стилистических приемов, которые так или иначе связаны с установкой речи (или произведения). Приведем примеры, свидетельствующие о том, что может пониматься под *Фразеологией-4*: Вчера на пресс-конференции блока Фракции «Российское единство» «непримиримые» вновь потребовали отставки правительства. Готовятся митинги протеста, свой конгресс намерен провести так называемый Фронт национального спасения, на улицах «доброты» малюют прокоммунистические лозунги. Похоже, чтобы задушить реформы, для оппозиции все средства хороши! (*Куранты*, 1992); За год зарплата, как сообщил вчера Госкомстат России, поднялась в 12 раз. Но в два раза быстрее росли цены. Кстати, в сентябре средняя заработная плата составила 7,2 тысячи рублей. Почти треть населения довольствуется среднедушевым доходом в две тысячи рублей. Всю эту статистику мы каждодневно ощущаем, как говорится, на собственной шкуре. Становится все очевидней, что социальный щит у реформ ненадежен (*Куранты*, 1992). Комментарии, как представляется излишни. И все же можно кое-что отметить в связи с темой объема фразеологии.

В приведенных текстах (а их репертуар можно было бы расширить и все равно узнать по стилистике отбора, каковы излюбленные средства, кочующие из текста в текст и потому воспринимаемые как штампы) имеются: фразеологические сочетания (*потребность отставки, провести конгресс, задушить реформы, растут цены* и т.п.), элементы

финансовой деловой речи, политические термины, которые и обеспечивают информационный «срез» текста, экспрессивно окрашенная лексика (*малевать, доброхоты* и т.п.) и идиомы, которые вкуче со сменой синтаксического ритма придают эмоционально-прагматический эффект «сухим цифрам» и общеизвестным фактам. Именно «смесь» общественно-политических (правовых, финансовых и т.п.), общеразговорных и экспрессивно окрашенных средств и создает штампы «газетной полосы». В числе этих штампов и фразеологизмы, но сами по себе они штампами не являются — заштампована речь: нагнетание «объективной» информации теми средствами, которые связаны с этой предметной областью, сталкивание нейтрально-официальных и разговорно-обиходных средств выражения и наконец — образный финал, воздействующий на эмоциональную сферу читателя.

Таким образом, мы считаем, что *Фразеология-4* — это скорее область семантики и прагматики лингвистики текста, а не фразеологии как учения о номинативном инвентаре языка, сформированном на базе полностью или частично идиоматичных сочетаний слов.

Столь же сомнителен собственно языковой статус пословиц и поговорок, которые можно было бы очень условно отнести к *Фразеологии-5*. Эта условность связана с тем, что по своему жанру пословицы и поговорки — произведения народного творчества, запечатлевшего мудрость народа его ценностную картину мира.

То, что пословицы и поговорки характеризуются двуплановостью, т.е. не являются просто «свободными» выражениями, — следствие не внутриязыковых закономерностей, а условий жанра — его притчевым характером. Воспроизводимость же обеспечивается «цитацией» этих выражений как народного мнения о ценности. О цитатном характере пословиц и поговорок писал «на заре» фразеологии А.И. Смирницкий: «...воспроизведение единиц языка никогда не носит характера «цитирования»: эти единицы применяются и воспроизводятся как принципиально не имеющие автора... Как только какое-либо слово повторяется как «чье-либо», так оно уже приобретает характер своеобразного речевого произведения, обособляется от системы языка: для полного включения в эту систему требуется утрата каких-бы то ни было «авторских прав» на него [Смирницкий 1954, 21]. Внешне это высказывание относится скорее к крылатым выражениям. Но сам автор приводит эту аргументацию ко всем «вкраплениям» в язык.

Пословицы и поговорки — это часто парадоксальные сентенции, выражающие ценностные суждения и прескрипции как образного, так и безобразного характера. Ср.: *Стреляного воробья на мякине не проведешь; Цыплят по осени считают; На чужой каравай рот не разевай;*

Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами или Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка всегда в избе; Не то плохо, что жена мужа бьет, а то, что муж плачет и т.п. Поговорки отличаются от пословиц (по общераспространенному мнению) тем, что содержат простое предложение типа *Хороша ложка к обеду; Дорого яичко к красному дню* и т.д. Но по существу поговорки, как и пословицы, — кодекс морально-нравственных правил, оценок бытия.

Фразеологичность этих единиц — в их воспроизводимости, а их «двуплановость» — это идиоматичность относительно того «прямого» значения, которое выражено в буквальном смысле выражений. Но с таким же успехом можно говорить об идиоматичности загадок, заклинаний, ритуальных формул, обычаев и других единиц фольклора.

Авторы приводили разные аргументы для правомерности включения пословиц и поговорок в объем фразеологии (правда, всегда — «широкий»). Так Н.М.Шанский, который называет этот материал «фразеологическими выражениями», пишет, что к этому разряду относятся «такие устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободными значениями... От фразеологических сочетаний они отличаются тем, что в них нет слов с фразеологически связанным значением» [1963, 44]. Какова же в таком случае основная специфическая черта этих выражений? И автор констатирует (и совершенно справедливо), что «...в процессе общения они не образуются говорящим, а воспроизводятся как готовые единицы с постоянным составом и значением» [Там же].

Все это абсолютно верно, но воспроизводятся такие выражения не как единицы языка: и их значение формируется именно в фольклорно-оценочной сфере, так как их денотация — не денотация к миру, а повод для отнесения к системе ценностей. Не случайно же пословицы и поговорки — предмет перемиологии как особого раздела фольклора Пермяков [1970]. Это осознавал еще А.А.Потебня [1894].

Дело, конечно, не в «чистоте» фразеологии как раздела науки о языке. А в том, что фольклорист оперирует знанием о ценностях, характерных для «народного духа», а фразеология — знанием о единицах языка как знаковой системы, способной обеспечить сообщения о мире. В принципе с таким же успехом можно было бы объявить, что фразеологизмы — единицы фольклора. Но так не делается по одной простой причине: фразеологизмы не укладываются в понятие о «жанре».

Не случайно и крылатые выражения попадают в работах Н.М.Шанского в тот же разряд, что и пословицы и поговорки, а именно —

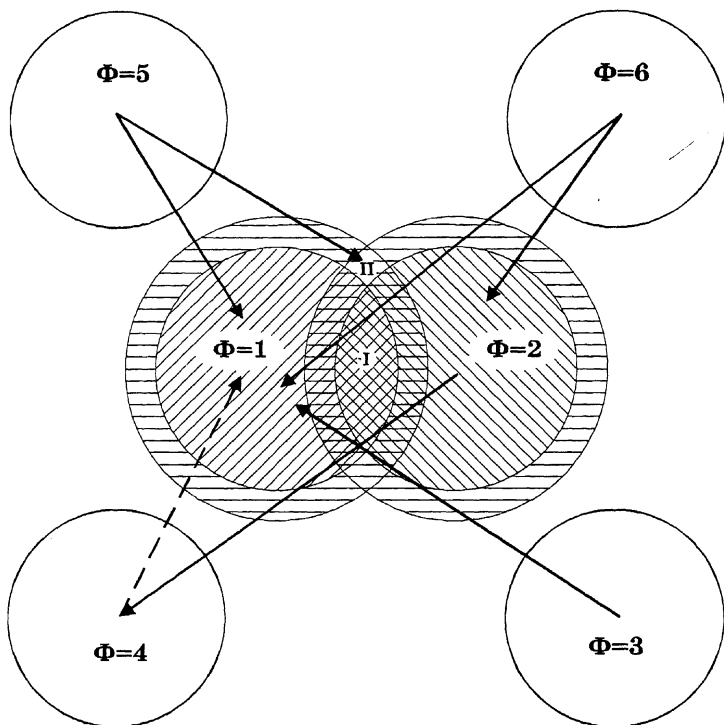
отнесены к «фразеологическим выражениям» [Указ. соч., 44—45], хотя строго говоря, этот материал можно выделить во *Фразеологию-6*. Но в том, что «цитации» — это «чужая речь», приводимая по памяти (или подлиннику), а не извлекаемая из общепародного тезауруса (или лексикона данной языковой личности), мы уже писали выше. Таким образом, мы остаемся в этом вопросе на тех же позициях, которые были изложены нами в [1966]. Поэтому если и выделять *Фразеологию-6*, то только с той целью, чтобы коллекционировать и описывать крылатые выражения, коль скоро ни одна другая лингвистическая и шире — филологическая дисциплина этим не занимается. Но придавать статус единиц языка всем тем выражениям, которые воспроизводятся в готовом виде — это, если быть последовательными, включить в лексико-фразеологический состав языка и такие «цитации», как общеизвестные стихотворения, анекдоты, даже молитвы (ведь и крылатые выражения знают и воспроизводят далеко не все говорящие на данном языке, а только «книжные» люди).

Итак, проблема объема фразеологии может решаться на разных основаниях. Очевидно, что признаки идиоматичности и воспроизводимости сами по себе и даже в комбинации не могут служить гарантиями принадлежности выражений к единицам номинативного инвентаря языка. А с нашей точки зрения, предметом, фразеологии должны быть такие единицы языка, которые входят в его номинативный инвентарь. Что касается остальных выражений, то они также должны найти свое место в науке о языке.

/ Можно предложить даже условные названия для всех выделенных выше типов: *Фразеология-1* это раздел лингвистики, исследующий идиоматичность сочетаний слов и их знаковые функции; *Фразеология-2* — раздел лингвистики, изучающий категорию связанности значения (в ее лексических и семантических, а также лексико-грамматических аспектах) и знаковые функции связанного значения слова; *Фразеология-3* раздел лингвистики, изучающий клишированность речи (скорее всего во взаимодействии с теорией речевых актов и культурной речи); *Фразеология-4* — раздел лингвостилистики, исследующий характерные для того или иного направления, стиля или отдельного автора способы номинации; *Фразеология-5* — раздел паремологии; *Фразеология-6* скорее всего прикладная область лингвистики, коллекционирующая афоризмы, сентенции или слова, воспринимаемые как «цитации», с целью создания энциклопедических словарей крылатых слов и выражений. Таким образом, к собственно лингвистическим разделам можно отнести *Фразеологию-1* — *Фразеологию-4*, выполняющих разные задачи.

∨ Естественно, мы далеки от навязывания этих идей. Но если фразеоло-

логия — лингвистическая дисциплина, то она должна выделять свой предмет относительно знаковых функций единиц этого инвентаря или правил их употребления. Ниже мы приведем схему, систематизирующую, расположение всех выделенных выше множеств воспроизводимых сочетаний слов:



На этой схеме показано, что зоны пересечения для *Фразеологии-1* и *Фразеологии-2* охватывают как промежуточные случаи, т.е. те, которые обладают как свойствами идиом, так и свойствами АЛК (типа *быть, держать, находиться под каблуком, приходить на мысль, держать в мыслях* и под.), так и случаи переходные, под которыми имеются ввиду «нечистые» фразеологизмы (типа *на скорую руку, во всю ивановскую, лодыря гонять, валять дурака* и т.п. со стороны идиом (I), а со стороны АЛК — всякого рода «индивидуальные» сочетания (II) типа

без зазрения совести, змея подколотная, замолвить словечко и под., которые обнаруживают свойства идиом, но один из компонентов в них имеет «полусвободное» значение, т.е. он может быть употреблен в этом же значении и вне состава идиом, но это употребление еще не оформилось в самостоятельное значение или уже стали архаизмами (например: *слово* — как заступничество или протекция в *замолвить слово*, *без зазрения* только в данном сочетании и т.п.).

Стрелки показывают основные направления обогащения каждого из определенных выше «объемов». Так, пословицы и поговорки (Ф-5) — наиболее продуктивный ресурс идиоматики. Ср. *стреляный воробей* и *не провести на мякине* — результат «расщепления» пословицы, *держат язык за зубами* — из пословицы *Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами* и т.п. (впрочем, возможно, что пословица возникла на базе фразеологизмов). Столь же продуктивно и «перекачивание» в идиоматику крылатых выражений (Ф-6): *разрубить Гордиев узел*, *перейти Рубикон* и под. Небезынтересно отметить в этой связи крайне слабую продуктивность «заимствования» крылатых выражений в сферу АЛК: это может быть объяснено тем, что эти структуры формируются за счет собственно номинативных закономерностей «моделирования», а вкрапления здесь — скорее исключение, чем правило. Однако именно «крылатые выражения», а точнее — цитации из литературных и культурноносных источников служат одним из наиболее продуктивных способов заполнения лакун в номинации актантов. Такие АЛК, как *сын народа*, *зерно истины*, *кормило власти* и т.п. — по происхождению — библеизмы. Следует предположить, что это связано с непродуктивностью для русского языка образования наименований, выполняющих роль актантов от абстрактных имен. В этой же связи надо отметить, что (Ф-2) активно пополняется за счет заимствований из других языков (ср., например, приведенные выше кальки с французского типа *иметь терпение*, а также с английского — *мозговой штурм*, *утечка мозгов*, *эскалация войны* и т.п.). Весьма активно корпус клише пополняют (Ф-1) и (Ф-2), а также арсенал (Ф-4) — в основном за счет генитивной метафоры (*враг народа*, *корабль перестройки* и т.п.).

Как представляется, приведенная схема дает представление о взаимодействии разных сфер, единицы которых обладают воспроизводимостью.

В этой схеме обозначено также взаимодействие каждой из сфер фразеологии. Столь же интересно исследование собственно источников Ф-1 и Ф-2. Указание на них носит по преимуществу эпизодический характер (см., например: [Шанский 1963]). Во фразеологии достаточно

много внимания уделяется межславянским параллелям и славянско-русским соответствиям (см. работы на эту тему В.М.Мокиенко [1980; 1986], а также зарубежных славистов [Eskert 1992; Eismann 1992] и др.). Но русской исторической фразеологии как оформившегося ее раздела пока не существует (ср. работу по белорусской исторической фразеологии, где прослеживаются параллели и заимствования из литовского, польского, русского, украинского и других языков [Аксамітаў 1978]).

Без систематичной работы по исследованию исторических процессов, обогащающих фразеологический состав языка как за счет его собственных ресурсов, так и извне (заимствование, калькирование и т.п.), немислимо и построение полной теории фразеологии. При этом историческая фразеология должна заниматься не только «источниками», но и рассматривать фразеологический состав в его диахроническом (динамическом) аспекте: мы имеем в виду все формы вырйирования, а также окказиональные употребления. Очевидно, что в этом направлении фразеологии еще предстоит большая работа и, как представляется, новые «прозрения».

Изложенное выше «исчисление» множеств воспроизводимых сочетаний слов, в основании которого лежит критерий наличия — отсутствия номинативной функции, дополняет все существующие принципы классификации, приведенные выше. Думается, что классификационно-разграничительная «обработка» фразеологического состава языка (любого, где имеется категория сочетания слов и идиоматичности) уже исчерпала свои ресурсы, и наша таксономия — это своего рода «завершительный аккорд» к ней. Об этом говорит отсутствие новых идей в этой области знания, и об этом же свидетельствует то, что прекратилось выделение новых типов фразеологизмов: практически речь идет об отнесении уже выделенных к тому или иному «объему».

Безусловно, можно считать, что для английского языка, например, плодотворно разграничение фразеологических сочетаний на фраземы (типа *black frost* 'мороз без снега', *white day* 'счастливый день', ср. *white lie* 'безобидная ложь', *white night* 'бессонная ночь', ср. также русские сочетания, называющие актанты, типа *зерно истины*, *кладезь премудрости*, а также сочетания, называющие оценку признака, типа *телячий восторг*, для которых также характерна уникальная сочетаемость связанного значения) и сочетания с «узуально связанным значением» одного из компонентов типа англ. *to pay attention*, *homage*, *compliments*, но **celebration*, **reception* и т.п., которые Н.Н. Амосова назвала «фразелоидами» [1963, 70] (ср. русск. *оказать внимание*, но **оказать уважение* и т.п.). Однако, как представляется, все же это одно множе-

ство, в котором выделяются связанные значения слов с «единичным» семантическим результатом и «серийным». Но в любом случае прослеживается одна и та же номинативная закономерность: значение «связывается» с опорным для него наименованием, что и создает особый категориальный тип номинации — *к о с в е н н у ю* (см. подробнее [Телля 1977; 1981]), в которой выделимы разные типы.

В завершении раздела о типологическом различии единиц, обладающих признаком воспроизводимости, следует еще раз отметить, что фразеология усердно занималась поисками структурно-семантических сходств и (преимущественно) отличий этих единиц как друг от друга, так и от единиц лексического состава языка. Эта же тенденция пронизывает и исследования парадигматических отношений слов и фразеологизмов (в основном — синонимии). В них отмечалось, что фразеологизмы богаче по экспрессивно-стилистическим признакам. Практически не обращалось внимания на то, что фразеологизмы — особенно идиомы и фразеологические сочетания (АЛК) — дополняют те признаки, которые не заполняются при лексической номинации. На этой дополнительной мы и остановимся ниже (в порядке постановки проблемы).

Если исходить из особенностей значения фразеологизмов разных типов, а не из их структурно-семантической организации, т.е. из особенностей отличия их строения от свободных сочетаний слов, то напрашивается вывод о том, что специфика фразеологизмов и всего фразеологического состава языка состоит в том, что они не столько называют обозначаемое, сколько характеризуют его. И в этом (как и в оценочно-экспрессивном пласте лексики, представленного образно мотивированными словами типа *осел* — о человеке, *тащиться*, *балаболить* и т.п.) — основная функциональная нагрузка фразеологизмов-идиом и связанных значений фразеологических сочетаний, сохраняющих образную мотивированность (что отмечают многие авторы [Жуков 1978; Мелерович 1979; Федоров 1980] и др.). Поэтому фразеологизмы дополняют и обогащают номинативный инвентарь языка недостающими в нем оценочно-экспрессивными средствами, а кроме того — еще и средствами, способными описать такие «подробности» обозначаемого, которые «не укладываются» в рамки лексической номинации.

Примерами собственно экспрессивной дополнительнойности могут служить (помимо приведенных выше квазисинонимических рядов, практические любое соотношение слова и фразеологизма-идиомы. Так, в основных глаголах речевой деятельности *говорить* и *молчать*, которые обозначают не что иное, как процесс вербализации мысли, т.е. «преобразование» мысли в звуковую форму (слово, высказывание), по существу

не выражен признак действия, но эти признаки дополняются идиомами, в которых главным «героем» является инструментальный актант — компонент *язык*, а также другие средства артикуляции — *зубы*, *рот* и др.: *срываться с языка* (признак ненамеренности действия), *язык не отсохнет*, *язык без костей*, (признак естественности усилий), *язык сломаешь* (признак сложности артикуляции), *длинный язык*, *язык как как помело*, (инструментальная «избыточность»), *язык чешется* (желание) ср. также *распутить язык*, *давать волю языку*, или *тянуть за язык* и т.п., или же *придерживать язык (за зубами)*, *прикусить язык*, *язык не поворачивается* (сдерживать инструментальную активность), *держат язык за зубами* (контролировать речевое «производство»), ср. также *укоротить язык*, *заткнуть рот*, *говорить сквозь зубы* и т.д. Поражает детальность разработки самого действия «языковлечения» мысли [Телия 1994]. Аналогичным образом дополняют, к примеру, смысл физического наказания («общее» имя которого отсутствует в русском языке): *намылить <намять> шею <голову>*, *свернуть голову <шею>*, *скрутить в бараний рог*, *здать жару <перцу>*, *показать, где раки зимуют* и т.д. Не все из приведенных идиом являются синонимами — они объединены идеографически. И только на идеографических массивах можно проследить эту дополнительную, т.е. номинацию всех мыслимых признаков того или иного лексически категоризованного значения.

О том, что АЛК в своем основном большинстве дополняют не выраженные словами или словообразовательными средствами признаки, уже говорилось выше.

Из всего сказанного следует, что фразеологизмы — характерная часть номинативного состава языка, главное в них — не структурно-семантическое отличие от слов или сочетаний слов, а тот способ, каким они выполняют то или иное номинативное «предназначение». Однако именно эта дополнительность выходила из поля зрения фразеологов в постклассический период, основной задачей которого было выделить фразеологию в какую-то особую страту языка, поскольку она была объявлена особой лингвистической дисциплиной, и найти предмет специального для нее исследования, разработать для него специальные методы. Этим и можно объяснить стремление придать фразеологическому составу языка статус особого уровня или особой подсистемы, хотя не было найдено никаких других критериев, кроме отличий в структурно-семантической организации фразеологизмов, проявляющейся в их устойчивости, или в ограничениях в выборе переменных элементов структуры, или в наличии более многомерного, чем у слов, осложнен-

ного образными ассоциациями, или «компликативного» (по С.Г. Гаврину [1974]), значения найдено не было.

Подводя итоги изложенному, можно сделать некоторые выводы.

1. Разграничение типов фразеологизмов зависит от того, в каком теоретическом пространстве моделируется сам объект, какими свойствами насыщаются критерии идиоматичности и воспроизводимости, поскольку от этого зависит принцип выделения объема фразеологии и тех признаков, на основе которых определяются свойства фразеологичности. В этой связи уместно привести слова Д.Н. Шмелева, который, обсуждая положение дел во фразеологии, сложившееся к середине 70-х годов (т.е. концу ее «классического» периода), писал: «Наиболее странное впечатление производит, однако, даже не разноречием в терминологии, а то, что «фразеология» понимается некоторыми исследователями как нечто само по себе данное в языке и в своих точных границах. В связи с этим отдельные исследователи признают «неправильным» включение во фразеологию тех или иных разрядов словосочетаний (или, наоборот, исключение из нее каких-то типов словосочетаний) лишь на основании того, что их представление о фразеологии не совпадает с другим представлением, в соответствии с которым такие-то словосочетания признаются или не признаются фразеологизмами» [1973, 297—298].

2. Корпус фразеологии — это не «данные» в языке единицы, а выделенные исследователями в соответствии с теми или иными критериями — с одной стороны, а с другой — фразеологизмы всегда представляют собой аномалии по сравнению со свободными сочетаниями слов. И аномальность может «проникать» не только в лексико-семантический «срез» фразеологизмов, но и в грамматику — морфологию и синтаксис (вплоть до звукового состава). Если при этом еще учесть и то, что образность может быть результатом взаимодействия не одного тропа (как правило — метафоры), а ряда тропов (метонимия, «остатки» сравнения, гиперболы или литоты и т.п.), то становится очевидным, что такие базовые отличительные признаки, как идиоматичность или связанность значения могут оказаться размытыми, как размытыми являются и все множества, объединяемые по тому или иному признаку.

Фразеология исследует несвободные сочетания слов в «многоярусной» и размытой системой отличительных свойств, а потому и ее границы — условны и подвижны.

3. Без исследования взаимодействия и взаимопроникновения различных страт корпуса фразеологии невозможно создать сколько-нибудь полное впечатление о структурно-семантическом разнообразии

фразеологизмов. Но для исследования этих процессов необходимы данные исторической фразеологии, которая, по всей вероятности, имеет для общей теории фразеологии более существенное значение, нежели для других дисциплин: фразеология — дисциплина историческая прежде всего.

История фразеологического состава языка — это не только история его формирования, но и история мировидения и миропонимания народа, поскольку отбор образов и их оязыковление — это результат культурной интерпретации самих фрагментов действительности с целью выразить отношение к ним — ценностное или эмоционально значимое.

4. Предложенная стратификация, как уже отмечалось выше, — это результат рассмотрения корпуса фразеологии через призму номинативных их свойств, которые мы считаем в такой же степени «основополагающими» для лексикона, как коммуникативные — для выполнения языком своей основной функции — быть средством общения. Все, что вовлекается в процесс коммуникации, должно быть способно эту функцию выполнить, поэтому акты номинации подчинены прежде всего этой необходимости. Следовательно, номинативный аспект классификации может служить и целям онтологизации объекта в то время как другие — служить только средством для его анализа на разных уровнях структуры. В этом несомненное преимущество предлагаемой классификации фразеологизмов, которая мыслится как базовая, но, конечно же, не единственная, ибо только множественность способов описания способна охватить все черты фразеологизма, релевантные в том или ином классификационном аспекте.

5. Корпус фразеологии, характеризующийся четкой номинативной направленностью его единиц, а к таковым следует отнести фразеологизмы-идиомы и фразеологизмы-АЛК, выполняет не только роль «расширения» номинативного инвентаря языка, но и дополняет лексический состав. Эта дополнительность прослеживается в обозначении тех признаков, которые оказались не «втянутыми» в денотативное пространство значения, хотя прототипические его модели имплицитно подразумевают наличие таких свойств (ср. например, номинацию фразеологизмами-идиомами самого действия «говорить», а также номинацию связанным значением АЛК, различных аспектуальных, оценочных и актантных признаков того, что обозначено опорным для данного связанного значения наименованием).

6. Эта дополнительность проявляется и в создании прагматически ориентированных знаков-фразеологизмов, способных обеспечить за счет образной мотивации эмотивность, т.е. отображение в знаке эмоциональ-

ного отношения субъекта к обозначаемому, и тем самым — создать экспрессивный эффект. Последний, как общее правило, воздействует и на употребление фразеологизма в том или ином стилистическом регистре. Можно утверждать, что фразеологизмы (особенно — идиомы) — более мощное средство выражения эмотивности, чем слова, поскольку фразеологизмы, отражая образ-ситуацию, выступают как микротекст в тексте.

7. Образы, лежащие в основе фразеологизмов-идиом и связанных значений слова в основной своей массе прозрачны для данной лингвокультурной общности, так как отражают характерное для нее мировидение и миропонимание, что и позволяет говорить о культурно-национальной специфике фразеологического состава языка, проявляющейся более ярко, чем в его словарном запасе. И в этом отношении фразеологический фонд языка дополняет фонд словарный.

ЧАСТЬ II

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-ИДИОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА И ЕГО КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ

Чтобы создать теорию значения фразеологизмов-идиом, необходимо ответить на вопрос: как их означающее (или «тело» знака) способно замещать в языковых высказываниях те внеязыковые сущности, которые при его посредстве обозначаются. Очевидно, что звуковая оболочка выполняет знаковую функцию только при том условии, что она ассоциирована с обозначаемым фрагментом внеязыкового ряда. С нашей точки зрения именно эта ассоциация и является тем, что в языкознании — в различных его направлениях — называют значением. Определить содержание этой ассоциации — значит определить знаковую, или семиологическую, функцию значения. Но прежде чем изложить наше понимание того, что есть значение идиом, необходимо указать на специальные признаки плана содержания идиом, поскольку имеются все основания утверждать, что значение идиом существенно отличается от словесного значения.

Применительно к идиомам тезис о произвольности соотношения ее плана выражения и плана содержания по крайней мере не всегда верен: идиомы — з н а к и м о т и в и р о в а н н ы е, поэтому не может не быть мотивированным и значение. Именно оно включает в себя в качестве *tertium comparationis* тот образ, который выражает означающее. Этот образ указывает не только на то, что значение производно от него, но и принимает живое участие в указании на действительность (если, конечно, образ воспринимается языковым сознанием).

Столь же характерным для выполнения идиомами знаковой функции является «подключение» к ней не только рациональной оценки, но и оценки эмоциональной, что характерно и для экспрессивных пластов лексики. Тем самым идиомы могут служить своего рода «полигоном» для исследования всех образно мотивированных значений, поскольку образное основание идиом всегда имеет большую «протяженность», чем такое же основание у слов. Из этого следует, что для пости-

жения знаковой функции значения идиом необходимо учитывать особенности их номинации, т.е. исследовать в режиме лингвистического эксперимента закономерности формирования той семиологической ассоциации, которая способна конвенционально указывать на применение имени к внеязыковой действительности, вычлениая в ней то, что обозначается данным именем, выступающим и как «тело» знака.

Идиомы именуют иначе, чем слово — даже образно мотивированное. У семантически производного значения слова есть «предшественник» с четкой денотацией (и соответственно — со своими условиями референции). У идиомы в качестве «предшественника» выступает сочетание слов, компоненты которого утрачивают самостоятельную денотацию и референтную автономность. Кроме того, слово высвечивает при вторичной номинации обычно только один из образно ассоциированных признаков, характерных для него в исходном значении (см. [Серебрянников 1983, 198—210; Телия 1977]). Идиомы, как общее правило, «переносят» из исходного для них сочетания слов более, чем один признак, поскольку само исходное для них сочетание полипризнаково — во-первых, а во-вторых — оно в процессе переосмысления включается в полипризнаковый же классификационный фрейм или фрейм акциональный, который уже заполнен подробностями. Ср., например, возможность включения слова *колея* во фрейм «дорога», а *выходить* — в «перемещение», но *выходить из колеи* соответствует уже более узкому фрейму «выходить из колеи», который включается во фрейм «перемещение по наторенному пути», выход за пределы которого — нарушение стандартной для этого фрейма ситуации. Из этого следует, что значение идиом всегда больше насыщено «детальями», чем значение слова.

Для разъяснения сказанного достаточно сопоставить близкие по значению слова и идиомы: *Иуда* — ‘тот, кто предал близких по делу и духу людей’, и *продажная душа* — ‘тот, кто «продал» близких по духу и делу людей’, *подзуживать* — ‘постоянно подстрекать кого-л.’ и *прожужжать все уши* — ‘постоянно и назойливо внушать что-л., подстрекая кого-л. к чему-л.’.

Столь же существенным для выполнения идиомами знаковой функции является и подключение к ней как рациональной оценки, так и оценки эмоциональной. И это роднит значение идиом с экспрессивно окрашенной лексикой. Однако если у слов с образно мотивированным значением рациональная оценка осознается на фоне слова-идентификатора, выполняющего роль «безразличного» по оценке дескриптора, то у идиом рациональная оценка осознается на фоне более протяженно, чем слово, дескриптора, указывающего «место» значения этого слова в шкале ценностей (о шкалярности оценки см. [Ивин 1970; Вольф

1978]). Например, *пройдоха* — это всегда «плохо» (в аспекте моральных установок), а *стреляный воробей* имеет более сложную дескрипцию, в которой выделяется наличие хитрости, увертливости, приобретенных (скажем метафорически, чтобы сохранить образ) «в условиях выживания». Поэтому отрицательная или положительная оценка зависит здесь от того, с каких позиций выступает говорящий, т.е. в зависимости от эмпатии говорящего (соответственно — и слушающего): если говорящий считает, что *стреляный воробей* — «опытный» (безотносительно к тому, как этот опыт приобретен), то это «хорошо», а если в фокусе его внимания «увертливость», то это «плохо».

Иначе говоря, сама д и ф ф у з н о с т ь номинативного аспекта значения и д и о м (передаваемого дескрипцией) отличает их от слов, в которых всегда более четко фокусируется класс обозначаемых. Ср. также: *внушать* или *подзуживать* и *прожужжать все уши*; *упрямый* или *баран* и *хоть кол на голове теши* и т.д. и т.п. И это одно из существенных различий словесных значений и значений фразеологизмов-идиом.

У идиом в еще большей степени, чем у слов, размыта эмоциональная оценка, а точнее — э м о т и в н о е о т н о ш е н и е говорящего/слушающего к обозначаемому. Так, в словах типа *подзуживать* четко осознается пренебрежительное отношение к такого рода речевым актам [Дорошенко 1995], в идиомах же типа *прожужжать все уши* осознается всего лишь неодобрение агенса, а в грубо-прост. *проесть [всю] плешь* — неодобрение агенса при эмпатии к пациенту, что приводит к более сложной палитре эмотивности.

Такая размытость связана также с тем, что само значение идиом «обременено» отношением говорящего/слушающего к образу, который каким-то способом ассоциирует имя и закрепленный за ним фрагмент действительности. Как известно, это отношение несимметрично: говорящий «кодирует» свое чувство-отношение, которое может не совпасть с восприятием образа слушающим и следовательно — с его «декодированием». Эта интерпретативная деятельность слушающего дает ему возможность придавать сообщению — и его эмоциональному коду — иной смысл, чем тот, который задуман говорящим [Демьянков 1989, 110—115, Долинин 1985]. Так, сообщение о ком-то, что *Он — большая шишка*, может быть воспринято двояко — с одобрением или неодобрением, а слово *начальник* (руководитель и т.п.) — только эмоционально нейтрально, если контекст не «наводит» иную тональность.

И еще один важный компонент, необходимый для выполнения знаковой функции языковыми единицами — ассоциирование имени с теми или иными условиями речи. Чаще всего считается, что

стилистическая маркированность — элемент значения, следовательно — он тоже способствует указанию на действительность. С этим нельзя не согласиться, но при одном существенном уточнении: это «действительность» речевого поведения, а ее пространство — это мир речевых стратегий, где действуют говорящий и слушающий (подробнее см. [Винокур 1993]).

Мы не упомянули еще одного важного аспекта, который также участвует в ассоциировании «тела» знака и действительности, а именно — грамматического значения. Надо сразу же заметить, что все попытки вписать идиомы в частеречную классификацию «без остатка» не привели к успеху. И более того — они только «путают карты»: отнесение таких, например, идиом, как *стреляный воробей*, *тертый калач* к именным фразеологизмам — дань их поверхностной структуре, а не содержанию ассоциации между двумя сторонами знака. Правда, часто имеются и совпадения, например, категория вида и времени релевантна для всех почти глагольных идиом. Но то, что ограничения на продуктивность этих форм — своего рода норма для идиом, свидетельствует о приоритете соотношения с миром над формальной — кодовой регулярностью форм.

Таким образом, теория значения идиом должна обеспечить все типы ассоциирования из знакового «тела» с обозначаемыми фрагментами действительности.

Понятие значения чаще всего воспринимается как лингвистический концепт, получающий ту или иную онтологизацию в зависимости от того, что считается значением (см. в этой связи, например: [Комлев 1969]). Об этом свидетельствует и приведенный выше обзор развития фразеологии: от постулируемых признаков содержания и их специфических черт зависит и его определение.

Так, если авторы исходят из соизмерения значения идиом и свободного сочетания слов (что характерно для подавляющего большинства фразеологов виноградской школы), то в экстенционал концепта «значение» не входят номинативные, а вместе с тем и коммуникативные ипостаси значения. При таком подходе устанавливается разница между содержательной стороной двух сущностей, совпадающих по лексико-грамматическому (т.е. «поверхностному») составу — между свободным сочетанием слов и переосмысленным. И эта разница рассматривается как значение. Иными словами, операции с планом содержания проводятся через сопоставление того смыслового содержания, которое падает на долю слов-компонентов идиом и значения слов-компонентов свободного сочетания слов, а определение специфики плана

содержания идиом целиком и полностью зависит от манипулирования этими компонентами.

Чтобы продемонстрировать, как «работает» такой подход к проблеме значения на практике, обратимся к примерам из СФСРЯ. В один синонимический ряд здесь, к примеру, включаются *задирать (подымать, драть) нос (разг., неодобр.)*, *задирать хвост (груб.-прост., неодобр.)*, *держаться высоко (устар., разг., неодобр.)*... Держаться высокомерно, важничать, зазнаваться [161—162]. Это толкование призвано отразить «общее значение». Однако такового, как представляется, для фразеологизмов-идиом с разным образным гештальтом, т.е. «прототипическим» восприятием образа, в котором некоторые реальные его «подробности» редуцированы, просто не может существовать. А то, что заявлено в виде общего значения — тем более «тощая абстракция», поскольку ей уже не соответствует никакого образного ассоциирования, а тем самым — никакой языковой реальности. Так, в высказывание «Софья Николаевна *высоко себя держала* перед бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова» невозможно без существенного изменения его смысла вставить идиомы *задирать нос* и *задирать хвост*: Софья Николаевна *задирала нос* перед бойкими и заносчивыми людьми (но не ‘важничала’, ‘зазнавалась’!); Софья Николаевна *задирала хвост* перед бойкими и заносчивыми людьми (но не ‘держалась заносчиво’!). Так манипуляция со значениями безотносительно к реальной информации, несомой идиомами, приводит к постулированию синонимии там, где можно говорить лишь о квазисинонимии (т.е. «близости значения» — и не более того) и то — по сигнификату, т.е. на уровне пересечения смыслов, а не реального функционирования идиом в речи (тексте).

Еще «дальше» от номинативной природы значения отстоят те концепции, которые уравнивают в правах значение слов и идиом (см., например: [Молотков 1977]). Соизмерение в таком случае проводится на том уровне, который имеет дело только с денотативным аспектом значения, т.е. который обеспечивает эквивалентность по отношению к объективной действительности.

Такой подход является всего лишь лексикографическим приемом: здесь важно приписать идиоме толкование, которое должно «уложиться» в ту или иную «часть речи». Например, такая идиома, как *задирать нос* толкуется в ФСРЯ как ‘зазнаваться, важничать, чваниться’, что обеспечивает «укладку» идиомы в текст, но не содержит сведений о том, что говорящий употребляет эту идиому только в том случае, если прежде тот, о ком сообщается, был в равной социальной или быто-

вой иерархии с тем, по отношению к которому проявляются, с точки зрения говорящего, эти свойства, а также при условии, что говорящий выбирает эту идиому, чтобы в самом образе «показать» стремление агенса манифестировать его отношение своим вызывающим поведением, снижая эту манифестацию выбором идиомы, принадлежащей к неформальным условиям речи и т.п. В самом деле, вряд ли можно сказать о человеке, который занимает высокий пост, но прежде не был «на равных» с говорящим, что он *задирает нос*, то есть важничает или чванится: *Королева Англии *задирает нос* перед парламентом, ср., однако: Нашего сотрудника повысили, и он теперь *нос задирает* и т.п. При этом в значении идиомы имплицитно содержится рациональная оценка — и это «плохо», которая основана исключительно на мнении говорящего, поэтому ему всегда можно возразить: «Нет, это тебе показалось». Далее — сам образ служит как бы доказательством преднамеренности поведения того, кто *задирает нос* (достаточно неестественная «картинка»). И эта «неестественность» служит поводом для выражения эмоционально значимой оценки пренебрежительного чувства-отношения к агенсу. А все вместе может быть сообщено только тому, кто находится в неформальных отношениях с говорящим: вряд ли уместны высказывания с этой идиомой в кругу малознакомых лиц или, тем более, — в официально-деловой речи.

Все выделенные выше сигналы показывают, что идиомы нагружены мнением и эмоциональным отношением говорящего, которое сразу нивелируется, если перейти на нейтральный «код» (ср. *Он стал важным*) — во-первых, а во-вторых — они представляют собой знаки с «внутренней предикацией», и как общее правило — не одной.

Из приведенных выше примеров анализа, показывающих, что под значением идиомы часто понимается такое концептуальное построение, которое обеспечивает только содержание единицы языка, но не выполнение ее знаковой функции, т.е. все условия указания на то, как это содержание «задает» соотношение единицы с действительностью. Очевидно, что для того, чтобы это указание осуществлялось, необходима такая кодовая структуризация этого отношения, чтобы и тело знака приобрело форму, соответствующую коду, и само содержание было изоформно обозначаемому.

Отражательные концепции значения оперировали, как известно, таким концептом, как гносеологический образ, т.е. существенные признаки обозначаемого, образующие понятие, к которым «прибавляются» грамматические признаки, обеспечивающее вкуче лексико-грамматическое содержание слова и других единиц лексикона (см., например, [Уфимцева 1986]).

Именно это облигаторная диада, вместе с признаками, необлигаторными для значения (такими, как пресуппозиция, оценка, эмотивность, стилистическая маркированность и под., которые большинство авторов относят к прагматике знака) и была положена в основание того, что еще Л.В. Щерба называл «лексическим понятием» [1947, 67], синонимами к которому и выступают такие термины, как значение, обозначаемое, сигнификат, интенционал. Но в этих концепциях всегда проступало на первый план ее семасиологическое основание, т.е. способность значения соотноситься с понятием, а через него — с миром, данным в существенных признаках, которые «конкретизируются» в речи.

Безусловно сильной стороной этих концепций является постулат об отражательных корнях языкового значения, а слабой — условия конкретизации в речи. Не случайно еще А.А. Потебня предложил разграничивать два типа значения — «ближайшее» и «дальнейшее», которое по существу предстает как знание об обозначаемом [Потебня 1874] (цит. по: [Хрестоматия по истории русского языкознания 1973, 217]).

Попытка скоординировать собственно языковое и речевое значение, или смысл, принадлежит и С.Д. Кацнельсону, который считал, что в значении надо разграничивать два типа понятия — формальное (в котором закреплена иерархия существенных признаков) и содержательное (в котором «разворачиваются» в речи признаки и несущественные) [1965].

Слабой стороной понятийно-отражательной концепции оставалось и то, что постулаты о «восхождении» от абстрактного (языковых значений) к конкретному (обозначаемой действительности), не сопровождались разработкой условий процедур редукции, свертывающей конкретное в абстрактное (идеальное), поэтому и процедуры развертывания объяснялись интуитивно понятным, но теоретически не эксплицированным термином «актуализация». Сразу возникали вопросы, которые так и не были разрешены: если это актуализация признаков обозначаемого, то как она осуществляется — на каком этапе вербализации, если же это редукция признаков обозначаемого, то как хранятся в памяти «изъятые» до востребования признаки и т.д. и т.п. Лингвистический штамп «актуализация в контексте» вызывает вопрос: а как актуализированы другие элементы контекста и т.п. (см. подробнее [Уфимцева 1986, 5—35]).

Без ответа на эти вопросы невозможно и обоснование значения как указания на мир. Очевидно, по этой причине лингвистика надолго занялась проблемой значения своих единиц, т.е. «распределенных» по уровням языковой структуры языковых сущностей, соизмеримых друг

с другом по принципу «значимый фрагмент» вышестоящего яруса: морфема, слово, синтаксическая конструкция и под., а не знаковых «исполнением» этих единиц.

При таком развороте проблематики на долю семасиологии оставалось «семантическое конструирование», т.е. сортировка элементов плана содержания на семы (интегральные и дифференциальные) того или иного достоинства (лексико-семантические, грамматические — синтаксические или строевые). А также рассмотрение этих семантических компонентов как элементов значения (подробнее о таком подходе к проблеме лексического значения см. [Уфимцева 1986]).

Прием конструирования перерос в миф о том, что значение — это набор упорядоченных тем или иным образом сем. Тезис Ф. де Соссюра о том, что язык есть система знаков был заменен тезисами о том, что язык состоит из единиц разных уровней, один из которых — лексико-семантический (выше уже говорилось о том, что предпринимались попытки выделить фразеологический уровень). В этой связи уместно привести слова Н.Д. Арутюновой, которая писала о сложившемся положении дел в теории значения: «Странным и непостижимым образом лингвистика, изучив до мельчайших подробностей все стороны и механизмы Языка и языков, оставила почти совсем вне поля своего зрения обширную и увлекательную для исследования область значения предложения» [Арутюнова 1976, 5]. Эта область нуждается прежде всего в изучении того, как единицы лексикона выполняют знаковую функцию, т.е. обеспечивают референцию к миру (естественно — в процессах речемыслительных процедур).

Как представляется, для достижения этой цели само понятие языковой единицы должно быть наделено более действенной силой. Языковой единицей следует считать материальную оболочку вместе с тем ассоциированным с ней и закрепленным за ней содержанием, которое указывает на элементы (фрагменты или ситуации) внеязыковой действительности, обеспечивая тем самым выполнение языковой единицей знаковой функции. При таком понимании двусторонняя единица языка и есть экспонент языкового знака, т.е. звуковая (или графическая) форма, наделенная способностью указывать на мир своим значением, которое «встраивается» при этом в структуры знания о мире — прототипы, фреймы (сценарии), являющиеся своего рода концептуальными посредниками между собственно языковым значением и обозначаемой действительностью. О том, что само знание есть идеально-объективная сущность, играющая роль «третьего мира», писал в свое время К. Поппер [1983, 558—593].

Тем самым мы считаем, что языковая единица имеет референцию

не «прямо» к миру, а всегда через фреймовое включение, которое является посредником между значением языковой единицы и выполнением ею знаковой функции. Такое понимание значения языковой единицы, а следовательно — и фразеологизма, принадлежит когнитивной парадигме, активно развиваемой в настоящее время прежде всего в разработке проблемы искусственного интеллекта (см. подробнее [Минск 1988; Чарняк 1983], в когнитивной психологии [Rosch 1978], а также и в лингвистике [Филлмор 1983, Фрумкина 1988, Wierzbicka 1980, 1985; НЗЛ 1988]).

Но переходу на эту новую парадигму значения предшествовали те направления лингвистической семантики, которые так или иначе были связаны с логическим анализом языка, с разработкой теории референции. Здесь нет нужды подробно останавливаться на этапах того поступательного движения, которое привело к необходимости включения в моделирование значения категорий когнитологии, таких, как структура знания, способы его «упаковки» и т.п. Эти этапы достаточно подробно изложены в [Арутюнова 1976; Баранов 1987; Фрумкина 1995]. Но необходимо, как представляется, указать те «вехи», которые указывали путь в новой парадигме.

Первой такой вехой можно считать (естественно — в ретроспективном аспекте) утверждение Г. Фреге о том, что смысл предопределяет объем признаков денотата (под которым сам Фреге понимал реальность): «Если задан смысл имени, то этим определяется и наличие денотата» [Фреге 1977]. Иными словами, если имя ассоциировано со смыслом, то содержание этой ассоциации устанавливает соотношенность имени к действительности. Нельзя не заметить, что здесь пропущена процедура получения смысла, т.е. все этапы его понятийно-языкового «отражения». Можно считать, что это наиболее редуцированная модель значения — в ней выделена лишь функция указания смыслом на мир, и она полностью укладывается в модель значения, сзематизированную в «семантическом треугольнике», истоки которой прослеживаются еще у стоиков (IV—V вв. до нашей эры).

Второй вехой в становлении новой парадигмы значения можно считать разграничение таких понятий, как интенционал и экстенционал, предложенное еще Р. Карнапом.

Смысл этого разграничения был связан с необходимостью развести то, что является «внутренней стороной» знакового отношения и его возможной «протяженностью» в мире. Изначальная причина такого разграничения заключалась в том, что чтобы указать на то, что интенционал — это и есть все те смыслы, которые несет знак, а экстенционал — вся область его референции. Смена понятийной парадигмы на

интенциональную семантику была связана еще и с тем, что понятие не «вмещало» в себя того, что принято называть интенциями говорящего — такими, как необходимость, намерение, возможность, вероятность и т.п. субъективно ориентированные смыслы, которым не было места в такой форме отражения действительности, как понятие. В самом деле, если понятие отражает чувство (такое, например, как пренебрежение, то как входит в понятие пренебрежение, если оно является сопутствующим (в такого рода случаях, как например, *предатель, подзуживать, бить баклуши*). Кроме того, сама способность говорящих интерпретировать обозначаемое как в тексте, так и в системе, оставалась вне досягаемости для понятийно-отражательных концепций значения.

Развитие понятия *интенционал* привело в некоторых работах к его расширению за счет выделения в нем «импликационала» (т.е. пре-суппозиций), эмоционала (т.е. сопутствующих чувств) и т.п. (см. [Никитин 1983], см. также Шаховский [1987]). Но главное заключалось, с нашей точки зрения, в том, что экстенционал стал пониматься как все «возможное положение дел» в мире — внешнем для субъекта и внутреннем. Тем самым, между референтом (миром) и интенционалом возникло «подсобное» средство — положение дел, в которое включен референт как терм или акциональная «сцена».

В рамках референциональных (или денотативных) концепций значения концепт «смысл» стал разрабатываться принципиально иначе: постулат о том, что смысл «задает» мир обязывал внести признаки изоморфизма между ним и обозначаемой действительностью. И это было осуществлено посредством понятия пропозиции — так сформулированного значения, в котором весь мир предстал как событийно организованный (см. [Арутюнова 1976]). Понятие обрело форму пропозиции, т.е. отношения типа aRb , где R — осмысленное соотношение «предметных переменных a, b, \dots, d . Иными словами — предметные имена определяли содержание пропозиции и вносили в нее категоризацию, а пропозиция «осмыслила» отношение между ними, придавая им содержание. В таком подходе к проблеме понятия нельзя не усмотреть возможности описывать взаимодействие в рамках акциональных структур и структур классификационных.

Совершенно в другом проблемном климате формировалась когнитивная парадигма: изначально здесь центральную роль играли классификаторы, называющие «сцены», «сценарии», категории (типа «магазин», «вокзал» и т.п.). Но поскольку сценарии всегда разыгрываются, то оказалось, что упорядочить структуру знания в такого рода житейских ситуациях могут как раз «акциональные фреймы», тем более, что

знание как форма информации в мире «Идеальное» заменило собой такую форму, как понятие — «гносеологический образ» мира.

Складывается такое впечатление, что сама идея «упаковки» знания в форме акциональных фреймов, в которые всегда могут быть введены фреймы классификационные, пришла из лингвологического анализа. Но случайно же Ч. Филлмор на заре когнитивистики уже предпринял попытку применить понятие пропозиции к описанию языкового значения (см. [Филлмор 1983]).

И еще один очень существенный шаг, который был сделан в становлении новой парадигмы значения, — это введение в описание понятия «прототипа» или гештальт-структуры. Под этими понятиями кроется то, что всегда обозначалось как представление, т.е. некоторая более конкретная форма отражения, чем понятие (идеальное образование) — нечто вроде «картинки» с опущенными второстепенными деталями при сохранении существенных. При этом в концепции психологов — это представление — стереотип (например, для русского сознания маленькая птичка — это воробей, а для английского — малиновка, см. [Rosch 1978]). Понятие прототипа пересекается с двумя концептами: тем, что психологи называют типовым образом (стереотипом, эталоном), и тем, что лингвисты обычно соотносят с денотатом, т.е. выделенным при номинации «представителем» класса (или множества) объектов. Когнитивисты показали, как велика роль прототипов в категоризации действительности, лингвисты же всегда имели в виду под представлением некоторую сущность, «промежуточную» между внеязыковой реалией и понятием. Достаточно отметить, что все словари фиксирует значение с точностью до класса, а не референта.

После того, как когнитивисты стали склоняться к мысли, что знания упакованы в форме прототипов, или фреймов, лингвистике предстояло сделать свой шаг — высказать гипотезу о том, что именно денотат и есть та сущность, которая «соотносит» «смысл» (в его фрегевском понимании) и референт, когда они «означены» в языковых формах. Но этот шаг пока не сделан, хотя введение в лингвистический обиход понятия гештальт-структуры уже предполагает выделение в знаковом отношении, т.е. отношении «означающее — означаемое», такой сущности, которая не является ни понятием в традиционном понимании — гносеологическим образом, ни смыслом — образом конкретной ситуации — как для говорящего, так и слушающего.

Такая сущность — типовое знание об обозначаемом (его прототип). Само знание о мире, структурированное в форме некоторого фрейма (способного включаться в более «крупный» или «мелкий» фрейм) — это некоторое подобие ситуаций, событий, положения

дел (и естественно — того, что «сопоставляется», т.е. элементов действительности), которые имеют или могут иметь место в мире. Иными словами, помимо понятия и смысла, в описание знакового отношения должно быть введено понятие концепта, экстенционалом которого является типовой образ (прототип, или гештальт-структура) посредством которого формируется как сам концепт, так и условия его референции. Понятие, по определению, — это только существенные признаки объекта, поэтому оно не обеспечивает референцию к не существенным; смысл — это, как уже говорилось, — отражение конкретной ситуации со всеми присущими ей подробностями в тех или иных модальных «рамках»; прототип соответствует некоторой универсальной или культурно-национальной форме знания, он корреспондирует с понятием и формирует смысл и условия референции.

В ряде работ нами упоминалось о том, что в знаковом отношении «мир — понятие (смысл)» имеется промежуточное между обозначаемой реальией и смыслом звено — *денотат* (то, что означено). Денотат, в отличие от референта знакового отношения (самого мира «Действительное») содержит информацию о классе (множестве) объектов, представленных данным именем. Эта информация создает по существу новый, не существующий в мире, но существующий в виде прототипа (типового образа) объект (см. подробнее [Телия 1977; 1986], а также [Уфимцева 1977]). Этот объект не является реальностью из мира «Действительное» (в понимании А. Вежбицкой [Wierzbicka 1985]), но представляет типовые признаки обозначаемых реалий, основанные на знании о свойствах реалий, входящих в данное множество.

Доказательством (хотя и косвенным) в подтверждение этого постулата может служить лексикографическая практика: в словарях толкуется и описывается не значение отдельного референта, но значение денотата имени, а особенности референтного «применения» имени приводятся в иллюстративной зоне. Денотат отражает представление о классе референтов в языковом сознании и соответствует в национальном языке «наивной» (в смысле Ю.Д. Апресяна [1974]) картине мира носителей данной лингвокультурной общности.

Иными словами, если денотат можно уподобить *alter ego* десигната, т.е. того, что обозначается именем как знаком, то гештальт-структура — это то, что категоризируется в языковом сознании как типовой образ, в отличие от концепта как всей совокупности знаний об объектах из мира «Действительное».

Создается впечатление, что в когнитивной парадигме такая форма сознания как понятие получила другой ранг — она снизилась до уровня гештальт-структуры, будучи хранителем существенных для данной

категоризации признаков и в то же время слилась с представлением. По существу здесь имеет место «переразложение»: понятие как «гносеологический образ» стало интерпритироваться как типовой образ — оно ничего не утратило, но обрело, если угодно, психологические черты, воссоединившись с типовым представлением. И в этом есть определенный смысл: понятие как абстрактная сущность наделялось «внечеловеческим» статусом, поскольку мыслилось как абстрактная сущность, обладающая объективным содержанием, в то время как представление, определялось как субъективное ментальное состояние индивида. В когнитивной парадигме описываются ментальные состояния коммуникантов, поэтому и появилась необходимость введения понятия гештальт-структуры как типового представления объекта из мира «Действительное» в мире «Идеальное».

Итак, в когнитивистике были разработаны предпосылки, чтобы от «отражательной семантики», процедурно не связанной с условиями референции, перейти к семантике, связывающей концепт, знание о типовых свойствах обозначаемого в виде его гештальт-структуры, «упакованной» в форму тех или иных «фреймов» и процедурами соотношения этих концептуальных и категориальных признаков с референтом, оперирующими этими признаками на основе знания «по знакомству» или знания «по опыту» (в смысле Рассела).

Смена термина *понятие* как набора существенных признаков на термин *концепт* — не просто терминологическая замена: концепт — это всегда знание, структурированное во фрейм, а это значит, что он отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе заполняются знанием о сущности. Из этого следует, что концепт должен получить культурно-национальную «прописку». Как пишет Р.М. Фрумкина, «знание долгое время рассматривалось как феномен социально-культурный и психологический. Роль естественного языка как основной формы фиксации наших знаний о мире, равно как и источника изучения самих этих знаний, была осознана сравнительно недавно... Именно в результате взаимодействия лингвистики с философией (автором имеется в виду то направление «философствования», которое представлено в работах З.Вендлера, В.В. Петрова, см. также сб. «Философия, логика, язык» [1987] и под. — В.Т.), наукой о знаниях, психологией и культурной антропологией в лингвистической семантике появились термины концепт, категория, прототип. Появилась и форма научных изысканий, названная концептуальным анализом» [1992, 2—3]. И далее: «Трактовка смысла как абстрактной сущности, формальное представление которой отвлечено и от автора высказывания и от его адресата, уходит на второй план. Ин-

интересы фокусируются на изучении концепта как сущности ментальной (т.е. принадлежащей языковому сознанию говорящего/слушающего — В.Т.) прежде всего» [Там же]. И здесь же приводится экспликация этого термина А. Вежбицкой: концепт — «это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определенные культурнообусловленные представления человека о мире «Действительность». Сама же действительность, по мнению А. Вежбицкой, дана нам в мышлении (не в восприятии!) именно через язык, а не непосредственно. Очевидна близость подхода Вежбицкой к идеям Гумбольдта» [Там же]. Концептуальный анализ — это исследования, для которых концепт является объектом анализа. Смысл концептуального анализа — проследить путь познания смысла концепта и записать результат в формализованном семантическом языке. По существу это означает знание концепта, т.е. концепт — это знание об объекте из мира «Действительность», переведенное в знание объекта в мире «Идеальное».

Как считает Р.М. Фрумкина, проблема категоризации в ее современном понимании восходит к известной формулировке Уорфа о членении мира на категории посредством языка, а сама категоризация — это «способ установления и выражения в языке преимущественно иерархических отношений, т.е. таких как общее — частное, класс — член класса... Категоризация — это отношение на именах» [Указ. соч., 5—6], в отличие от концептуализации — отношения в мире «Идеальное»/»Действительное».

Прототип — это «ядро» категории — ее идеализированные эталонные образцы, представления о типичном объекте из мира «Действительность», в котором выделяются существенные (essential) для данного представления) и обычные (characteristic) «детали» (см. [Мостовая 1989, 52—58]).

Мы специально привели это соотношение терминов с той целью, чтобы пояснить и наше понимание соотношение «триады» семантического треугольника «концепт — прототип (денотат) — реализация из мира «Действительность». Концепт — это все то, что мы знаем об объекте, во всей экстенсии этого знания, Концепту онтологически предшествует категоризация, которая создает типовой образ и формирует «прототип» (он и есть гештальт-структура). Этот прототип соответствует в имени, тому, что мы называли денотатом [Телия 1981], а реализация — это то, чем является для нас объект в мире «Действительность», т.е. то, чем объект является для нас (а шире — для всех тех, кто имеет сходные прототипы и концепты).

Интерпретация приведенной выше триады — это «распределение ролей» на той оси семантического треугольника, которая соотносит

смысл (концепт), принадлежащий миру «Идеальное», категоризацию, порождающую типовой образ — тот объект, который является прототипом объекта из мира «Действительное», созданным на основе таксономически упорядоченного знания о нем, запечатленном в концепте (в мире «Идеальное»), и референт — объект из мира «Действительное» в той ее полноте, как он познан.

Такая интерпретация позволяет, как представляется, избежать включения в семантическое отношение непосредственно воспринимаемые сущности.

Выполнение же знаковой функции, по всей вероятности, состоит не в «замещении» объекта из мира «Действительное», а в проекции концепта имени на референт как на названную в языковом выражении реалию — подлинный объект из мира «Действительное», чувственное восприятие которого может воспроизводиться по памяти: в противном случае мы могли бы сообщать только о том, что непосредственно воспринимается. Поэтому корректнее было бы вслед за Л. Виттгенштейном говорить о проективном отношении языкового знака или имени концепта к миру, а не о замещении (ср.: «И предложение есть пропозициональный знак в своем проективном отношении к миру» [1958, 37, 3.12]).

Выше уже упоминалось об асимметрии языковой деятельности говорящего и слушающего. Но эти разные (и в естественной языковой деятельности диалоговые) роли скорее корпоративны, чем антогонистичны (см. об этом [Spice 1975]: говорящий начинает свой «путь» от референта, одновременно осуществляя процедуру концептуализации и, создавая на основе прототипа, типовой образ, находит имя, чье значение удовлетворяет его номинативному замыслу, т.е. может указать на референт. Иначе говоря, идет осмысление, категоризация референта и поиск подходящего по значению имени, способного выполнить знаковую функцию. Слушающий же воспринимает значение имени, осмысляет его, подбирает прототип и соотносит имя с референтом. Очевидно, что говорящий проделывает путь от референта к значению имени, способного указать на референт; слушающий же начинает речемыслительную деятельность с имени, значение которого ведет его от прототипа к типовому образу, к осмыслению его и соотносению с референтом.

Эта асимметрия заключается не только «во встречном движении»: в ней могут не совпадать прототипы (у одного в нем больше «деталей», чем у другого, но они должны иметь нечто общее между собой), а также экстенсионалы концептов (у одного богаче, чем у другого), но и они должны быть в чем-то подобны. Кроме того, может не совпадать и характер оценки и чувства-отношения (эмотивности), зависящие от вос-

прияття образного основания значения имени, что может быть связано и с эмпатией, т.е. включенностью говорящего или слушающего в обозначаемое положение дел. Такое несоответствие может вызвать «неправильное» понимание с точки зрения говорящего. Но в таком случае обсуждается не правильный или неправильный выбор денотата имени, а содержание концепта имени.

Автор данной книги не является сторонником ни схем, ни жестких формулировок, потому что тот феномен, который описывается в лингвистике под названием значения — это только метамодель процессов принадлежащих языковому сознанию прежде всего. Не случайно эти процессы по-разному описываются психологами, логиками, физиологами, а в настоящее время — всем комплексом когнитивных наук, связанных с проблемой искусственного интеллекта. И каждая смена метамодели все же только что-то уточняет в том, что мы привыкли воспринимать в словаре как значение. Так что же мы вкладываем в содержание концепта «языковое значение»?

Значение единиц языка — это та информация, принадлежащая миру «Идеальное», которая закрепляется за определенным звукорядом и служит оязыковленной памятью, хранящей знание об объекте из мира «Действительное» и о категориях и формах из мира «Язык», способных восстанавливаться в том или ином объеме, когда языковая единица вовлечена в знаковую ситуацию, т.е. в процесс организации речевых сообщений.

Обладает ли значение отражательной природой? Несомненно обладает, и это «зона» того, что названо выше типовым образом, его гештальт-структура. Типовой образ — это то, что ассоциировано со знанием о свойствах объекта из мира «Действительное» в тех или иных диспозициях, упакованных как категориальные фреймы (акциональные — в том числе). Это знание и есть облигаторное «ядро» содержания концепта «значение». Не случайно же для таксономических суждений (т.е. отнесения к классу) о тождестве достаточно указания на типовой образ: *Это — воробей; Это — любовь; Это — гражданская война* и т.п. А для суждений, так или иначе связанных с предикацией признака, необходимы сведения, «насыщающие» типовой образ за счет знания о его «предрасположенности» входить в те или иные связи и отношения в том или ином положении дел в мире «Действительное» (в терминах денотативной парадигмы значения об этом писал в свое время В.Г. Так [1972]). Эти знания вычерпываются из типового образа и из его концептуальной экстенсии. Ср. сомнительные с точки зрения правдоподобности высказывания типа *Стрелять из пушки по воробьям* («Я знаю, и ты знаешь, что так не делают», — сказала бы А. Вежбицка) или

Любовь всегда взаимна (мы знаем, что так бывает далеко не всегда); *Война ведется без огнестрельного оружия* (что означает, что это может быть только «холодная война», а отсутствие прилагательного *холодная* создает информационную недостаточность) и т.п.

Итак, т и п о в о й о б р а з — это образ прототипический, и он выделяет из мира «Действительное» обозначаемый объект, отвечая на вопрос «Что это?». К о н ц е п т — это знание об обозначаемом во всех его связях и отношениях, и он отвечает на вопрос «Что известно об этом?». И не случайно во многих концепциях принято говорить об оценочных коннотациях (см. например: [Вольф 1985; Арутюнова 1988] и др.), т.е. созначении, приписываемому типовому образу в модусе субъекта оценки.

Можно считать, что объекты из мира «Действительное» безразличны сами по себе к ценностной картине мира языковой личности. Воровью, как таковому, «безразлично», хорош он или плох для человека. Более того, даже такое межличностное отношение, как дружба, может оцениваться как «хорошая» или «плохая», что свидетельствует об отношении к ней, но само ее типовое представление лишь категоризирует то, что в данном языковом коллективе принято называть дружбой (здесь, кстати, нелишне напомнить о том, что «русская» дружба обязывает к большей «самоотдаче», чем «французская», например). Думается, что только обработка знанием того, какой является настоящая, истинная дружба и т.п. (т.е. включение представления о ней в концептуальный каркас знаний) позволяет высказывать суждения о ее ценности (впрочем, и здесь возможны оценки стереотипные и индивидуальные).

Нельзя не напомнить в связи со всем сказанным, что в теории номинации типовой образ может интерпретироваться как денотат, а концепт — как вся совокупность знаний о свойствах денотата. Отношение субъекта к этим свойствам всегда релятивизировано к ценностным нормам бытия данного языкового коллектива. Нарушение этих норм воспринимается как индивидуальное употребление значения, т.е. свойственное картине мира автора. Из этого можно сделать вывод о том, что ценностная картина мира принадлежит не зоне типового образа, а зоне концепта.

То же можно сказать и об эмоциональной реакции субъекта на обозначаемое: сам мир «Действительное» просто существует, а положительное или отрицательное эмоциональное отношение к нему зависит от психологического восприятия означаемого и от осознания его в мире. «Идеальное» как желаемого или нежелаемого. По этой причине э м о ц и о н а л ь н о е о ц е н и в а н и е следует отнести к операциям со знанием и переживанием свойства объекта из мира «Действитель-

ное» в мире «Идеальное», а следовательно — к области коннотативной, а не денотативной.

Что касается такой информации, как стилистическая «окраска» значения, то она также принадлежит миру «Идеальное» и миру «Язык», поскольку это знание о социальных условиях речи и об уместности/неуместности выбора данного словозначения в процессах коммуникации. В подтверждение этого положения достаточно привести расхождения в стилистических системах — по их регистрам и количеству стилистических маркеров (обычно отражаемых в словарях в виде помет типа *разг.*, *высок.*, *фам.* и т.п.). И если в мире «Язык» эта информация закрепляется, получая категориально-языковой статус, то в мире «Идеальное» она может интерпретироваться по-разному. Следовательно, необходимо разграничивать два вида (по крайней мере) стилистического коннотатива — облигативный узус выбора и опциональное употребление языкового средства.

Все описанные выше типы знаний можно разделить на знания о мире, ассоциируемые в форме категориально-таксономических признаков с объектом из мира «Действительное», и знания о ценности объектов — рационально выводимые в форме суждения о ценности или же эмоционально переживаемые и выражающие чувства-отношения, но в равной мере ассоциируемые с объектом в форме коннотаций. В основе последних всегда лежит мнение субъекта или его психологическое переживание. Если бы структура значения не отражала все эти «компоненты» (причем — изоморфно для их природы), оно не выполняло бы своей основной роли — хранить информацию, соотносить ее с прототипом, а через него — с концептом, погруженным в ценностную, в том числе — и культурно-ценностную, и эмоциональную рефлексию субъекта, а также указывать на референт.

Велик соблазн мыслить значение как лексический фрейм. Такую концепцию значения предлагает Е.Г. Беляевская: Приведем ход рассуждений автора: «Для того, чтобы интегрировать представление о лексическом значении в общую когнитивную систему *language competence*, моделирующую процессы синтеза и понимания высказывания и текста, необходимо отказаться от узкого понимания лексического значения как совокупности основных и наиболее существенных признаков обозначаемого, необходимых и достаточных для его идентификации... лексическое значение включает в себя весь комплекс знаний об обозначаемом, существующий в данном социуме в данный исторический период, в том числе потенциальные и ассоциативные признаки. Лексическое значение представляет собой микрофрейм — особым образом организованный блок

знаний об обозначаемом, фиксируемый посредством языковой формы» [1992, 5] (разр. наша — В.Т.).

В этом определении нельзя не увидеть некоторого параллелизма между парами понятие/лексическое понятие (по Л.В. Щербе) и когнитивный фрейм/лексический фрейм, что свидетельствует как раз о констатации изоморфизма между отражательным основанием лексического значения vs. когнитивным его обоснованием.

Однако рамки когнитивной парадигмы обязывают учитывать ситуацию, т.е. включенность лексического значения не только в тот или иной фрагмент концепта, но и способность этого значения включаться во фрейм определенных ситуаций, где данное слово является либо терминалом более широкого акционального фрейма, либо акциональным фреймом, подключенным к определенной ситуации (например, слово *глупец* подразумевает все фреймы ситуации, где терминалом является глупец — с одной стороны, а с другой — все фреймы, где глупец совершает поступки, интерпретируемые как промахи, оплошности и т.п.). Очевидно, что эта ситуативность может учитываться в зонах, описывающих типовые лексические пресуппозиции.

Кроме того, если лексическое значение должно отображать процессы синтеза и понимания языкового сообщения, то его необходимо описывать в процедурном режиме. А это значит, что процедуры будут несимметричны для «значения говорящего» и «значения слушающего». Следовательно, в лексическом значении необходимо выделять отдельные «блоки», имеющие дело с разной последовательностью процедур, т.е. с разными когнитивными операциями, как кодирующими, так и декодирующими. И в том и в другом случае имеет место номинативная деятельность. Но деятельность говорящего имеет ономаσιологический характер, а деятельность слушающего — семасиологический (в смысле В.Г. Гака [1977]). Однако оба вида деятельности подчинены коммуникативному предназначению речи — обмену информацией о мире, а не обмену значениями слов. Здесь уместно привести следующее высказывание В.А. Звегинцева: «...деятельность общения состоит не из простого поочередного обмена слов с закрепленными за ними значениями, из суммы которых механически «собираются» (посредством их различных сочетаний) предложения. Мы обмениваемся не словами, а мыслями, используя слова (как и язык в целом) всего лишь как средство общения, или, правильнее сказать, как средство осуществления деятельности общения [Звегинцев 1973, 168] (разр. наша — В.Т.).

Лексическое значение должно моделировать содержательные процедуры как умозаключения, на основе которых можно сделать вывод о

свойствах обозначаемого, т.е. сформулировать выводное знание об объекте, прибегая к концептуальному содержанию значения.

Вполне естественно, что все эти требования, теоретически бесспорные, по существу «сращивают» методы описания лексики и текста как «макрофрейма». Однако разумно следовать и принципу «огрубления», полагая, что лексическое значение — только «пусковой механизм», включающий слово в текст (о принципах ситуативности, процедурности и огрубления как методических принципов вычислительной семантики см. [Городецкий 1983]).

Из всех известных попыток описать значение в когнитивной парадигме только работы А. Вежбицкой «отличаются методологической рефлексией высокого ранга», как пишет Р.М. Фрумкина, отмечая, что «ее метод позволяет: (1) проследить путь познания смысла концепта: (2) транслировать путь, которым идет она сама, вовне, т.е. превратить интуитивное, неэксплицируемое знание, в эксплицируемое» [1992, 5].

Однако в работах А. Вежбицкой значение исследуется и формализуется только как «значение говорящего», предполагающего, правда, наличие фонда общих знаний со слушающим. Запись этого значения осуществляется в режиме «Я сообщаю»: «Я знаю, и ты знаешь, что...» [1980; 1985]. Эта форма толкования значения моделирует процесс кодирования, в который вовлечены процедуры, указывающие на знания, оценки, интерпретацию метафор и переживания их образа говорящим. Слушающий же может осуществлять процедуру декодирования, понимая смысл знака в соответствии со своими знаниями, установками на восприятие значения и т.п., хотя он как бы обязан, напрягая память, извлечь из нее путем умозаключений выводы, желательные для говорящего (а часто — не соответствующие коммуникативному намерению последнего). Но в идеале именно знание значения гарантирует понимание. Из этого следует, что языковое значение не просто конструкт, но достояние языкового сознания, реальный источник информации, работающий как единица языкового кода.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАКРОКОМПОНЕНТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

Ниже речь пойдет о такой модели значения слов и фразеологизмов, которая способна воплотить в себя и тем самым — исчислить и описать все типы информации, которые манифестирует значение этих единиц [Телия 1990]. Эта модель легла в основание лексикографической анкеты,

разработанной с целью создания Машинного фонда русской фразеологии и позволила осуществить полипараметрическое описание значения такого сложного лингвистического объекта, каковым являются экспрессивно окрашенные фразеологизмы—идиомы (см. [Телия 1990; Макет...1991]).

Как бы ни были различны по характеру и последовательности когнитивных процедур значения говорящего и слушающего, у каждого из них есть набор содержательных компонентов и обрабатывающих их процедур. Форму толкования, в которой исчислены общие для языковой личности (в смысле Ю.Н. Караулова) смысловые компоненты в их взаимодействии можно назвать декларативно-процедурной: в ней декларируется содержание компонентов, которое имплицитно подразумевает процедуру его когнитивной обработки. Думается, что в такого рода форме значение усваивается в процессе овладения языком и обретает конвенциональный статус в итоге узуса употребления. Такая форма описания значения ориентирована на человеческий фактор, а потому является инструментом антропологической парадигмы значения, ставящей в центр описания человека и его языковую компетенцию.

Модель декларативно-процедурной формы значения должна содержать все типы информации, несомые словозначением (или значения фразеологизмов) того или иного типа. Поскольку наша задача описать значение идиом, а его специфику легче разъяснить на фоне значения слова, ниже в схематизированном виде описывается состав информационных блоков лексического значения, выделенных в [Телия 1990, 1991]).

Первое — это блок информации, на основе которого говорящий/слушающий указывает на типовой образ, соотносит с ним. Этот блок является базой для всех остальных знаковых процедур: без указаний на объект из мира «Действительное» не может быть осуществлена знаковая функция, имеющая дело с описанием, или дескрипцией, ибо и референция знака и концептуальное осознание свойств референта в данном тексте не могут иметь места в «пустом пространстве». Условно этот компонент, или лучше — «блок», значения может быть назван *денотатом* — в таксономическом представлении значения, а в динамическом — *денотацией*, т.е. процедурами, связанными с категоригацией действительности на основе типового представления об обозначаемом (*Д*). Денотация облигаторна для всех типов значения, за исключением тех которые могут быть названы *аффективами*, т.е. языковыми знаками, «значение которых является единственным способом означивания отраженной эмоции, без ее называния. Аффективами, например, являются междометия и междометные слова, лексика обы-

вания и ласкания, бранная (нецензурная) лексика» [Шаховский 1987, 25].

Сам типовой образ (и его гештальт-структура, в смысле Дж. Лаккоффа [1981]) — это только «тема» для лексического значения. Вычленный и категоризованный тем или иным способом, характерным для данного языка, объект из мира «Действительное» включается в концепт, соотносясь со знаниями о нем, «упакованным» в виде фреймов в этом концепте. Так, например, одна и та же, казалось бы (по крайней мере в русском языковом сознании) реалия снег (которая у эскимосов категоризируется уже в номинации на несколько десятков подвидов) включается во фреймы «Способы существования» (такие, как акциональные фреймы «Падение снега», «Снег лежит», «Снежный покров», «Таяние снега» и т.п.).

Типовой образ может включаться в различные фреймы, и это обеспечено знанием о том, что снег выступает как «Явление природы» или же играет роль термина в акциональных фреймах. Из этого следует, что включение типового образа в концептуальные структуры приводит к выводному знанию о свойствах референта, рассматриваемого в той или иной структуре знания о нем. Таким образом, процедуры соотносения типового образа с тем или иным знанием о его свойствах или диспозициях — это процедуры референции.

В концепции А. Вежбицкой эти процедуры определены через предикат *знать*, выполняющий роль когнитивного оператора, который можно условно считать оператором референции. Поскольку о содержании самого оператора и его модусах написано достаточно много, нам остается добавить только, что в процедурной форме толкования этот тип когнитивной операции может быть представлен в следующей форме: *Я знаю, что T соотносится с K₀* (структурой знания о T в K) и что *T и K указывают на R в мире «Идеальное»*, и что *R «замещает» объект, принадлежащий миру «Действительное»*. Или еще более схематично: *Я знаю, что $\{(T \supset K) \rightarrow R\} \rightarrow$ реалия*. Для слушающего эта запись может быть представлена в виде: *Я понимаю, что $\{(R \supset K) \rightarrow T\} \rightarrow$ реалия*.

Конечно же не все сведения об обозначаемом укладываются в эту схему. Часто необходимо еще и «предварительное» знание, которое не описывается в дескрипции, но которое пресуппонирует ей. Так, например, глагол *требовать* может выбран только при условии, что имеет место некоторая конфликтная (обычно - социальная) ситуация (ср. курьезное высказывание *Я требую здоровья, солнца* и под., так как известно, что говорящий не является «хозяином» ситуации и под.). Очевидно, что пресуппозиция относится к знаниям о мире, не вошедшим

в фокус типового образа (подробнее см. Филлмор [1983]). Но этот тип информации является необходимым для включения в тот или иной фрейм. Поэтому он тоже вводится как знание субъекта, фокусирующее типовой образ (например, глагол *просить* в такой фокусировке не дается).

Разновидностью пресуппозиции можно считать то, что принято называть эмпатией, или позицией, которую занимает говорящий/слушающий, когда он выбирает знак. По существу эмпатия — это аналог пространственной позиции, но в мире «Сочувствие». Так, например, в зависимости от точки зрения можно сказать, что некто *стоит за ширмой* или *перед ширмой*, аналогично этому, когда говорящий выбирает словозначение *разведчик*, то он знает, что разведка ведется в интересах государства (а следовательно — и его тоже), если же выбрано словозначение *шпион*, то говорящий знает, что разведка ведется в интересах, чуждых данному государству (и ему — тоже), хотя сам род деятельности и в том и в другом случае одинаков. Часто эмпатию интерпретируют как коннотацию, т.е. созначение, зависящее, от точки зрения субъекта. Например, были проведены эксперименты, в которых субстантивированное словозначение *красный* получала либо положительную социальную окраску, либо — отрицательную [Караулов 1989]. Но такого рода эксперименты оперируют с социальными оценками, а не со знанием типового образа и его включением в концептуальные фреймы.

Таким образом, блок информации, процедуры осознания которой обеспечиваются операциями, связанными с референцией, может быть охарактеризован в целом как дескриптивно ориентированный.

Все остальные блоки значения можно назвать прагматическими ориентированными, а это значит, что они выражают отношение говорящего/слушающего к референциальному аспекту значения. Обычно такого рода отношения интерпретируются как коннотативные смыслы, т.е. как созначения (что вытекает из самой внутренней формы этого латинского слова: *con-notare* — «со-замечать»). Правда, существует и другое понимание этого термина, восходящее к Д. Миллю, согласно которому, коннотация — это отвлеченные от «первой сущности» (в понимании Аристотеля) значения (типа *белый* — *белизна* и т.п.). Но такое понимание осталось все же авторским (см. [Mill 1970]).

Означает ли, что прагматический аспект значения и коннотативный тождественны? Думается, что все коннотативные смыслы прагматически нагружены, но термин коннотация фиксирует эту нагрузку

как «сообозначаемое», описывая характер соотношения и соответствующие когнитивные процедуры. Понятие прагматики шире, нежели только коннотативный аспект значения. Но и этот последний неоднороден: в принципе в лексическом значении можно выделить столько коннотации, сколько прагматических интенций оно выражает.

При достаточно ясном соотношении денотативного референциального содержания языковых сущностей с объектами из мира «Действительное», которое находит отображение в референциальной функции языковых выражений разного ранга — начиная от слова вплоть до связанных отрезков текста, соотношение коннотативного компонента с тем, что им обозначается остается наименее исследованной областью: не установилось общепринятого понимания коннотации (при обиходно-лингвистической любви к этому термину), не исследован ее состав и структура, в еще меньшей степени — роль в коммуникативных процессах и текстообразующие функции (подробнее см. [Говердовский 1970; Телия 1986; Jordanskaja, Mielczuk 1988]).

Под коннотацией в целом нами понимается любой прагматически ориентированный компонент плана содержания языковых сущностей (морфем, слов, фразеологизмов и отрезков текста), который дополняет денотативное и грамматическое их содержание на основе сведений, соотносимых с прагматическими факторами разного рода: с ассоциативно-фоновым (эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим и т.п.) знанием говорящих на данном языке о свойствах или проявлениях обозначаемой реалии либо ситуации, с рационально-оценочным или эмоционально-оценочным (эмотивным) отношением говорящего к обозначаемому, со стилистическими регистрами, характеризующими условия речи или сферу языковой деятельности, социальные отношения между участниками речи, ее формы и т.п.

Субъективно-модальная природа коннотации — ее связь с говорящим (или интерпретатором) придает ей прагматический статус, а рационально и эмоционально-оценочный и социально-речевой ее характер создают ту окраску (именно как «прибавочную стоимость» к основному продукту — денотативному содержанию), которая традиционно осознается как оценочная или экспрессивная функция языковой сущности.

Состав и структура коннотации в целом может быть в условной форме представлена как суждения о ценности или социально-речевой уместности или неуместности как самого обозначаемого, так и формы его выражения, и как выражение того или иного чувства-отношения, мотивом для которого может быть любое ассоциативное представление об обозначаемом (узуально фиксированное, как в единицах лексикона,

например) или окказиональное по преимуществу, как в поэтических и т.п. текстах). Этот мотив — своего рода горячее, которое при его зажигании производит тот или иной эффект (ожидаемый или неожиданный), но горячее — если продолжить метафору — это свойство самого референта или ситуации. Например, знание того, что *логово* — место «жилья» некоторых животных, вызывает в сознании образ неопрятного, темного, неприспособленного для ночлега жилья, что является причиной для оценки *презрит.* и для характеристики тех, кто в логове проживает, а также для употребления этого слова в соответствующем речевом регистре — неформальном.

Аналогичным образом можно описать коннотативную структуру суффиксов (ср. *волосенки, торопыга, старушенция*), слов (*ворона* — о человеке, *одр* — о лошади, *тащиться, губошлеп* и т.п.), фразеологизмов (*здать баню, белая ворона, во вся тяжкая* и т.д.), предложений, отрезков текста. Необходимо отметить, что единицы языка с узуально закрепленной коннотацией (а таковые, как правило, результат вторичной номинации) — это только прагматические «полуфабрикаты»: реальное функционирование коннотативного компонента — это его актуализация в высказывании или же возникновение в процессе организации коммуникативных структур (ср.: «Тот же самый *орел*, как только приблизился к кабинету своего начальника, *куропаткой* такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет». *Н.В. Гоголь*).

Коннотация значения — это компонент комплексный и гетерогенный. Для него обязателен мотив — образно-ассоциативный или звуко-символический (ср. *головотяп, увилывать, сесть на шею; балаболить, сюсюкать* и т.п.), аксиологическая модальность и стилистическая маркированность (в широком смысле). Сложность коннотации заключается в ее стратификационной нелокализованности (она может «наслаиваться» на любой фрагмент текста — начиная от значимого звукоряда и кончая текстом в целом, получая статус «подтекста» или «затекста»), в отсутствии собственных формальных показателей (за исключением суффиксов «субъективной оценки»).

Любое высказывание, содержащее языковую сущность, в содержание которой входит коннотативный комплекс, — это сообщение не только о мире «Действительное», но и об отношении говорящего к этому миру. Все высказывания, в которых выражается такого рода субъективная модальность (узуально закрепленная за средствами языка и активированная при организации высказывания или «порожденная» в речемыслительном акте), наделены на оценочное или эмотивное воздействие на адресата речи. Ср., например, заглавие «Мертвые души», производящее в конечном счете саркастический эффект, или же автор-

скую рефлексию по поводу прагматического воздействия тех смысловых компонентов, которые определены выше как коннотация: «...но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, в его голове отыскались и другие качества...виною всему слово “миллионщик”, не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни то ни се, и на людей хороших — словом, на всех действует». (Н.В. Гоголь).

Таким образом, коннотация — это «скрытая», невыражаемая формально информация о прагматической интенции говорящего, связанная с намерением произвести определенное воздействие, в том числе — эмоционально воздействовать на адресата. Неявный, формально не выражаемый коннотативный комплекс, не увеличивая длину текста, усиливает его содержание, согласуясь с принципом экономии языка.

Коннотация — это вся совокупность той информации, которая выражает отношение говорящего/слушающего к объекту из мира «Действительное», следовательно, само это отношение основано на каких-то знаниях о мире «Действительное», на чувственном восприятии объектов из этого мира.

Ни чем иным, как знанием о ценности обозначаемого, можно объяснить тот тип информации, который выражает о ц е н к у. Об оценке и ее основаниях, а также о содержании оценочной модальной «рамки» написано достаточно много и, как представляется, достоверно. Под оценкой понимается суждение о ценности обозначаемого в целом или отдельного его свойства (объект оценки), но сама оценка имеет разные аспекты — утилитарные, гедонистические, морально-правственные и т.п., т.е. реестр этих аспектов зависит от того, какую ценность усматривает субъект в объекте.

Ценность шкалируется в диапазоне «безразлично» (нулевая оценка), «хорошо» или «плохо» (в тех или иных «степенях») либо «больше нормы/меньше нормы». Первое — оценка по качеству, второе — по количеству. Сам по себе язык оценок, т.е. содержание концепта «ценность» беден, на что указывала Н.Д. Арутюнова [1983]. Но оценка проникает в семантику качественных прилагательных (о чем писала Е.М. Вольф [1978], формируя свои номинативные средства в виде частнооценочных значений (типа *здоровый, удобный, честный, глупый* и т.п.), а также *огромный, крохотный* и под.). Все эти частнооценочные значения релятивизированы к нормам бытия объекта и создают ценностную картину мира, всегда в чем-то специфическую для данного языкового коллектива (подробнее см. [Вольф 1978; 1985; Арутюнова 1988]).

Оценка погружена в контекст мнения, поэтому ее принято записы-

вать в форме суждения о ценности: «говорящий считает, что объект X «хороший/плохой» и/или больше/меньше нормы» по признакам $Xi\dots j$, выделенным по аспекту Q (см. [Ивин 1970]). Мнение говорящего всегда может быть оспорено слушающим, так как оценка — это мнение о ценности, а сама ценность как предмет интереса (удовлетворения, желания и т.п.) может оказаться разной: Именно такое мнение и является содержанием оценочной коннотации. Поскольку оценка «приписывается» объекту, она как бы «обрамляет» его. Например: *Он — богатый (честный, мужественный) человек* (и говорящий считает, что это «хорошо»). Но если говорящий — завистник, то богатство другого может оцениваться отрицательно (равно как и честность, если говорящий — обманщик, или мужественность, если говорящий — хочет его сломить).

Таким образом, практически все оценки относительны, так как они зависят от эмпатии (см. выше), а потому большинство оценочных значений амбивалентны: они меняют свой «+» на «-» в зависимости от ценностной ориентации говорящего.

В предложенной выше условной записи значения оценка «обрамляет», как уже отмечалось выше, денотативный (или дескриптивный) блок информации: *Я знаю, что $\{(T \supset K) \rightarrow R\}$ и я считаю, что это имеет положительную (или отрицательную) ценность, а в режиме слушающего: *Я понимаю, что $\{(R \supset K) \rightarrow T\}$, и я считаю, что...*, где [...] — пространство оценки (А).*

Таким образом, процедура оценивания описывается через оператор *считать, что...* Предполагается, что *знать* отличается от *считать* тем, что это последнее включает компонент «воля», а субъекту вольно оценивать объект по своему интересу.

Следует добавить, что процедура оценивания — это операция рациональная, хотя в основании оценки и лежит эмоция: интерес — это то, что нас волнует. Однако в самой оценке выражается не эмоция, а операция «шкалирования» норм бытия. Эмоция, а точнее чувство, может войти в содержание оценочной рамки, если оцениваемое — само чувство либо предмет желания, удовольствия и под. (ср. *Сердиться — плохо* и т.п.).

Таким образом, оценочная коннотация равнозначна утверждению: *Я считаю, что то, что X умный (добрый) и т.п., — хорошо* (соответственно — и наоборот), а это значит, что оценочная коннотация формирует фактообразующее значение [Арутюнова 1988].

Во всех именах, имеющих «живую» образность — а в лексиконе это, как общее правило — вторичные наименования, существенной (хотя и не обязательной) может оказаться «к в а з и д е н о т а ц и я»: образ

уже утратил связь с миром «Действительное», но он живет в сознании, воспринимается как эмоциогенный стимул. Ср., например: *интересный, сенсационный фильм* и *сногшибательный, убойный фильм*. В процессе номинации образ передал некоторые свои типовые черты новому типовому представлению. Именно образное восприятие (хотя и не всегда четко представимое) различает характер значения приведенных слов.

В такого рода случаях осознается *мотивированность значения*, т.е. его ассоциативно-образная связь с обозначаемым того словозначения, которое было использовано для формирования нового. Такой тип информации неблигатoren, но его роль столь значительна, что мы выделяем его в отдельный блок (*M*). При этом речь идет не об этимоне (неважно, на какую историческую глубину он погружен — в древность или и сейчас осознается), а о таком состоянии внутренней формы (как способа организации значения), которое нагружено ассоциативно-образной информацией (ср. также *лететь* — о самолете и т.п., где осознается мотивация, но не как образ, а как своего рода «синхронный» этимон, и *парить* — о мыслях и т.п.).

Этот блок информации указывает на образ, а не обозначает, в чем и кроется его коннотативная сущность: этот образ есть подобие, основанное на знаниях о свойствах экстенционала образа. В таксономическом представлении значения это блок «следует» за дескрипцией и оценкой, а в динамическом — это процедура ассоциирования говорящим (*D, A*) с образным подобием (*M*), которое представляет собой нечто вроде «квазиденотата», вводимого, согласно концепции метафоры, изложенной нами в [Телия 1988], *модусом фиктивности как если бы* (или в более «мягком» режиме — *модусом как бы*).

Процедура осуществляемая говорящим может быть выражена когнитивным оператором: *вообрази (или представь себе*, если подобие не «картинка», а дескрипция), что *X* такой, как если бы это *Y*. Например: *сногшибательный* — «вообрази, что *X* такой, как если бы спшибал с ног», *лететь* — «вообрази, что *X* перемещается так, как если бы летел» или *Иуда* — «представь себе, что *X* способен предать так же, как если бы *X* был Иудой» (предполагается знание о том, кто такой Иуда и что он сделал) и т.п.

Модус фиктивности также принадлежит субъекту, о чем свидетельствует тот простой факт, что говорящий волен творить любое подобие. Ср., например, *булки фонарей, стая клавиш* (Б. Пастернак), *друг бокала* (А. Пушкин), *ноги крови* (С. Есенин) и т.п.. Но его роль в значении — не только творить подобие (это подобие «осваивается» и в денотативном блоке вторичных наименований, о чем подробнее см. ниже),

но и вызывать эмоциональную реакцию, выводя из автоматизма восприятие значения, а через него — и сам объект из мира «Действительное».

Эта процедура образно-ассоциативного восприятия объекта апеллирует к *о о б р а ж е н и ю*, а не к *мнению*: *Я знаю*, что $\{(T \supset K) \rightarrow R\}$, и *я считаю*, что это имеет положительную/отрицательную ценность, и это *вообразимо* для меня так, как если бы это было $\{(T_0 \supset K_0) \rightarrow R_0\}$, а в режиме слушающего: *Я понимаю*, что *вообразимое* $(K_0 \subset T_0) \rightarrow R_0$ подобно $(K \supset T) \rightarrow R$, следовательно — имеет место $(K_n \supset T_n) \rightarrow R_n$, и *я считаю*, что это имеет положительную/отрицательную ценность для меня, где индекс «0» указывает на образное подобие, а «n» — на образно-производный характер типового образа и концепта.

Если в значении обнаруживается то, что принято называть экспрессивностью, или выразительностью, то столь же неотвратимо обнаруживается связь этого свойства с образностью: нет экспрессивно окрашенных значений, обладающих только (D, A) , — все они принадлежат либо вторичным наименованиям (в чем легко убедиться, взяв в руки любой словарь), либо же имеют «экстравагантную» для данного языка звуковую оболочку. Например, *тащиться*, *шестьдесят*; *осел*, *лошадь* — о людях или *валандаться*, *драндулет* и под. Справедливо и то, что «стершийся» образ (или мотивация) не придают словозначениям экспрессивности (ср. приведенные выше примеры типы *лететь* — о самолете, *говорить* — о печатной продукции и т.п.).

Из этого можно сделать вывод о том, что экспрессивность — это усиление восприятия за счет эмоциональной реакции, вызванной образностью, в том числе — и звуковой. Однако в языковых значениях как информации о признаках обозначаемого объекта из мира «Действительное» или мира «Идеальное» не может быть «живой» эмоции: эмоциональная реакция говорящего/слушающего может быть описана в значении только как испытанная эмоция, т.е. как *чувство*. Сама же эмоциональная реакция — это состояние и тела и души. Согласно информационной теории эмоций, только чувство может обрести знаковую форму, а эмоция остается на уровне «первой сигнальной системы» (см. подробнее [Шингаров 1971, 91]).

В психологии существуют различные точки зрения на природу эмоций и на их роль в более высоком уровне их осознания — на эмотивность речевой деятельности, т.е. на ее эмоциональную окраску. Однако все определения эмоций так или иначе выделяют их связь с аксиологической деятельностью сознания, с личностно-пргматическим интересом субъекта. Так, А.Н. Леонтьев, определяя эмоции как психические

состояния, отмечает, что в них выражается «оценочно личностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и к своим проявлениям в них» [Леонтьев 1972, 37] (разр. наша — В.Т.). Этот же личностно-аксиологический компонент выделяет в эмоции и С.Л. Рубинштейн: «Основной исходный момент, определяющий природу и функцию эмоций заключается в том, что в эмоциональных процессах устанавливается связь, взаимоотношение между ходом событий, совершающимся в соответствии или вразрез с потребностями индивида, ходом его деятельности, направленной на удовлетворение этих потребностей...» [Рубинштейн 1946, 459] (разр. наша — В.Т.). Деление эмоций на положительные и отрицательные мотивировано явным их шкалированием, которое А. Леонтьев интерпретирует со ссылкой на [Schlosberg 1954, 80—88] в трех измерениях: приятно — неприятно, внимание — отталкивание, спокойствие — напряжение.

Таким образом, можно утверждать, что эмоции как самые «низшие» проявления психики человека [Шингаров 1971, 105], лежат в основе более «высших» проявлений — чувств как достояния сознания, неотъемлемым компонентом которого является знаковая деятельность, в частности — языковая.

Как представляется, чистое выражение эмоций в языке вообще отсутствует (это скорее паралингвистические способы ее репрезентации). Однако в нем наличествуют средства, способные максимально «сблизить» эмоциональную реакцию и языковую сущность — это так называемые а ф ф е к т и в ы, о чем уже говорилось выше, а междометия представляют собой наиболее типичный их пример (ср. также интенсификаторы типа *великолепный, потрясающий* и т.п.). Другой полюс составляют названия чувств (*любовь, зло, гордость, трусость* и т.п.).

Экспрессивно окрашенная лексика — это еще один особый пласт лексики, в котором выражается или называется не сама эмоция, но в содержание которой входит компонент, способный «возбудить» эмоциональное восприятие реципиента. Этот компонент — и есть мотивирующее основание эмоциональной коннотации — ее образная внутренняя форма или звуко-символическая (ономатопеическая) огласовка. Небезынтересно отметить, в связи с последним, интересное наблюдение И. Левого над тем, что «большая часть значений», определяемых обычно как звукоподражание, оказывается на деле усилением значений, уже присутствующих в тексте, таким образом, последовательность свистящих согласных передает «шорох шелковой шторы» (Э. По),

что свидетельствует, как представляется, о том, что эмоциональное воздействие в языке всегда связано с образным видением мира, которое в тексте может передаваться не внутрисловно, но и развернутой картиной. Как отмечает и К.А. Долинин, «живая и интенсивная эмоция выражается большей частью косвенно», т.е. за счет интонации речи, синтаксической инверсии, особой фонологии и т.п. [Долинин 1978, 234 и сл.].

Эмоциональное отношение к адресату имеет преимущественно личностный характер. Однако оно частично определяется (или ограничивается) и позициями партнеров, ролью, которую играет субъект речи.

Изложенные выше постулаты психологии позволяют высказать предположение о различии рациональной оценки (которая исследуется в аксиологии) и эмоциональной, или эмотивной. Разграничение этих двух разных оценок тем более необходимо, что интуитивно ясна разница между суждением о ценности и эмоциональной реакцией на объект.

«Эмоциональное и рациональное в оценке подразумевают две разные стороны отношения субъекта к объекту, первая — его чувства, вторая — мнение», — писала Е.М. Вольф в одной из своих последних книг, представляющих ее концепцию оценки и наметивших направление исследования этого феномена в лингвистике на многие, как думается, годы вперед [1985, 42]. Настоящая работа представляет собой попытку развить приведенное выше положение, уточнить различие между этими двумя видами оценок, используя высказанные Е.М. Вольф мысли, в том числе и в устных беседах с автором данной работы, а также наблюдения над экспрессивными средствами лексики и фразеологии русского языка, над их эмотивностью, т.е. способностью выражать переживаемые субъектом речи чувства-отношения типа презрения, пренебрежения, порицания и т.п.

Прежде всего необходимо отметить, вслед за Е.М. Вольф, что «в естественном языке не может быть чисто эмоциональной оценки, так как язык, как таковой, всегда предполагает рациональный аспект... Тем не менее способы выражения двух видов оценки в языке различаются, показывая, какое начало лежит в основе суждения о ценности объекта — эмоциональное или рациональное» [Указ. соч., 40]. Подтверждением этому мнению служат и наблюдения психологов, которые утверждают, что в языке не может быть «прямого» отражения эмоций, но только такое, какое «снято» в языковых выражениях в формах пережитой эмоции, или чувства. Так, Г.Х. Шингаров замечает, что «в психологии понятие эмоции употребляется для сферы чувств-переживаний, а понятие эмотивности — для обозначения психических

процессов, связанных с эмоциями, но не сводимых к ним» [1971, 3, 91]. Иными словами, эмоции описываются в языке (исключением здесь можно считать междометия, которые не описывают, а сигнализируют об эмоциональном состоянии субъекта), а это означает, что эмоции выражены не непосредственно (в виде сигнала), а опосредованно — в виде описания чувств-отношений или чувств-состояний. И при этом первые социологизированы в той или иной мере (как, например, презрение, выражающее переживание по поводу нарушения некоторого морально-этического канона), а вторые ориентированы исключительно на личностный гомеостазис.

При расплывчатости различий между чувствами как психологическим состоянием субъекта и формами их языкового кодирования (как в плане содержания, так и в плане выражения), неоднородна и неоднозначна сама терминология, употребляемая разными лингвистическими направлениями и отдельными авторами. В этой области лингвистического знания употребляются термины *эмоциональная оценка*, *оценка психологическая*, *аффективная*, *эмотивная* (как выражения эмоции и/или чувства), а кроме того, целый ряд лингвистических кентавров типа *эмоционально-экспрессивная окраска*, *эмоционально-стилистическая окраска* и т.п. Следует заметить при этом, что термин *эмотивность* имеет наибольшую экстенсию: он обозначает как эмоциональное состояние субъекта речи и вместе с тем выступает синонимом к термину *аффектив* (см. [Stevenson 1958]), так и эмоции, категоризированные в языке и имеющие денотацию, т.е. описывающие класс чувств-отношений или чувств-состояний [Шаховский 1987; Телия 1986; Графова 1991]. Помимо этого терминологического плюрализма, существует по крайней мере три мнения по поводу соотношения рациональной (или интеллектуальной) и эмоциональной (или эмотивной, т.е. связанной с чувствами) оценок.

Первое мнение, связанное с концепцией так называемого эмотивизма, интегрирует все психологические состояния субъекта, возможные при их выражении в высказывании/тексте и постулирует положение о том, что эмоциональная сторона в речи первична, а рациональная — вторична [Hare 1949; Stevenson 1958; Hudson 1980].

Второе мнение, высказываемое, в частности Н.Д. Арутюновой, А.Н. Барановым и др., сводится к приоритетности рациональной оценки над эмоциональной: последняя рассматривается либо как вид психологической оценки [Арутюнова 1988], либо вообще как один из признаков рациональной оценки, способный к актуализации в речи [Баранов 1989].

Согласно третьему мнению, выдвигаемому в данной работе, эти два

вида оценок «переплетены» только как реакция на «предмет интереса», а в языковом отображении они достаточно четко разводятся по двум семантическим полюсам — рациональная тяготеет к дескриптивному аспекту значения (денотату) и является суждением о ценности того, что вычленено и обозначено как объективная данность, а эмоциональная (или эмотивная) ориентирована на некоторый стимул в образном содержании «внутренней формы», в том числе — и звуко-символической, включенных в языковую сущность (слово, фразеологизм, текст).

С первым мнением можно согласиться только в той его части, которая касается онтологии: если иметь в виду, что сама категория ценности — это категория, исходящая из интереса субъекта, а интерес не может не быть переживанием предмета интереса в своей основе. Весь вопрос в том, сохраняется ли в языковом выражении это переживание или уступает место суждению о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (добро, польза это или зло, вред и т.п.). В самом деле, выражения типа *Это — нашумевшая (скандальная, скверная и т.п.) история* содержат суждение об интересе к объекту (ср. также выражения типа *Это — пренеприятнейшая история*, где описано психологическое отношение субъекта к объекту оценки, но нет стимула для переживания данной ситуации), а выражения типа *Это — пикантная история*, помимо суждения о ценности, выражают еще и переживание субъекта посредством обращения к номинации *пикантный*, которая и служит стимулом для переживания некоторой истории как имеющей определенный скандальный «привкус» в данном случае — порицания. Следует обратить особое внимание на тот факт, что в последнем случае к информации об отрицательной оценке добавляется информация о чувстве-отношении, которое называется метафорой *пикантный*.

Иллюстраций подобного рода можно привести сколь угодно много. Ср., например: *Что он мог покупать в дрянном магазине (=плохом) и «Что он мог покупать в дрянном магазинишке?» (М. Булгаков. Собачье сердце)*, где к оценке рациональной «прирачивается» за счет стимулирующего чувство-отношение пренебрежения суффикса *=ишк* оценка эмоциональная, или эмотивная; ср. также: выражения, которые опшаренный кипятком пес Шарик использует в своем внутреннем монологе для «уничтожения» повара: *«Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой» (Там же)* и эмоционально нейтральную, но оценочно маркированную дескрипцию этого пассажира: *Жадный человек! Вы посмотрите когда-нибудь на его внешность: ведь он шире собственного роста. Вор с красным, лоснящимся лицом. На фоне этого сопоставления видно, что эмоциональная*

оценка «наслаивается» на рациональную (ценностная ориентация текста в этом перифразировании сохранена).

Эти факты могут служить аргументом (а заодно и тестом) в пользу того, что, помимо рациональной (или собственно интеллектуальной) оценки, ориентированной на отношение субъекта к объективной действительности, в языке выражается еще один вид оценки — оценка, выражающая чувство-отношение субъекта и вызванная переживанием некоторого стимула. В качестве последнего могут выступать как тропические средства, создающие «квазиденотат», на который и ориентирована как эмоциональная оценка, так и суффиксы так называемой «субъективной» (лучше и точнее — эмотивной) оценки, а также различного рода языковые игры, создающие звукосимволизм, каламбуры, абсурдные обозначаемые и т.п. (типа *драндулет, тени-бреньти, Мели Емеля — твоя неделя, в огороде бузина, а в Киеве — дядька* и др.).

Этот вид, а точнее — тип оценки не выделяется в концепции эмотивистов, хотя он явно отличается как от рациональной оценки (что мы стремились показать на примерах), так и от собственно эмоциональной окраски речи, представленной в указанной концепции в основном на примерах междометий и интонационных выделений (типа *Какой негодяй! Как жаль! Ты — красавец мой!* и т.п.).

Вторая из названных выше концепций исходит из постулата о том, что эмоциональная оценка вытекает из рациональной [Katz 1964; Vendler 1967; Мур 1984]. Это «натуральное» направление отдает предпочтение дескрипции (или свойствам самого оцениваемого объекта) в формировании оценки. Она, таким образом, не исключает возможности эмотивной (в нашей терминологии) оценки, но связывает ее с переживанием ценности обозначаемого, а не с посредником-стимулом, выступающим в роли «второго денотата», или квазиденотата. В этом направлении выделяются психологические оценки, среди которых названы как интеллектуальные (типа *радостный, желанный, приятный* и т.п. (см. [Арутюнова 1984]).

Очевидно, что в этом направлении к эмоциональным оценкам отнесены те, которые описывают эмоциональное состояние субъекта, испытываемое им по отношению к объекту обозначения. В отдельный класс не выделены чувства-отношения, переживаемые не под воздействием самого обозначаемого, а по поводу того, как оно представлено в роли стимула. Ср., например (опять глазами Шарика): «Тут швейцар... Совершенно *ненавистная порода. Гаже* котов. *Живодер в позументе*» (*М. Булгаков*), где выделены две психологические оценки — *ненавистный* и *гадкий*, описывающие чувства, а кроме того существует и

эмотивная оценка — чувство-переживание. В данном случае это презрение, стимулированное тем, что швейцар назван *живодером в позументе*: презрение к швейцару вызывает именно это его образ.

Эмотивная оценка награждена иллокутивной силой: она побуждает испытывать данное чувство-отношение и является в конечном счете реализацией определенного иллокутивного намерения, вызывая, в случае коммуникативной удачи, соответствующий перлокутивный эффект. Именно это свойство позволяет, с нашей точки зрения, выделить эмотивные оценки в отдельный тип. «Скрытый» характер иллокуции оставался на замеченным ни в одной из названных выше концепций.

Таким образом, существуют два типа психологической оценки, связанной с эмоциональной сферой человека. Одна из них — описывает чувства, а другая — побуждает испытать некоторое чувство-отношение по поводу обозначаемого посредством стимулирующего воздействия на реципиента образного или равноценного ему представления обозначаемого. Ср.: *Он — предатель, а я презираю предателей* и *Он — Иуда, а я презираю Иуд*; в первом случае сообщается, что некто — изменник, и это «плохо», и что говорящий испытывает презрение, а во втором — о том, что некто — изменник, и это «плохо», а то, что некто подобен Иуде, вызывает чувство-отношения презрения (хотя это отношение не выражено в явной форме). Во всяком случае в выражении *Он — Иуда* появляется дополнительная эмоциональная «окраска» по сравнению с выражением *Он — предатель*: эта «окраска» уже имплицативно подключена к номинации *Иуда*, что и делает избыточным ее экспликацию.

Но главное — это то, что такого рода «возбуждение» образом апеллирует не к разуму, а к чувству, что исключает погружение эмотивной оценки в контекст мнения. Ср.: *Я считаю, что он — предатель* и **Я считаю, что он — Иуда (медведь/тащится/коломенская верста)* и т.д. и т.п. То, что метафора не погружена в контекст мнения, отмечает и Н.Д. Арутюнова [1990; 27—28], а это означает одновременно, что в контекст мнения не вписывается и имплицитная метафорой или другим изоморфным ее средством эмотивная оценка, что лишний раз свидетельствует о том, что последняя представляет собой отдельный тип эмоционально-оценочного отношения.

Эмоциональная оценка, ориентированная на само обозначаемое (на денотат), входит в диапазон частнооценочных психологических предикатов, репертуар которых можно обобщить, перифразируя известную пословицу-шутку 'Лучше быть радостным и желанным, чем грустным

и постылым' и т.п. Эмотивная оценка входит, как показывает сопоставление со списком иллокутивных глаголов, приведенным в [Серль 1986], в диапазон «одобрения/неодобрения». Речевой поступок, связанный с выбором соответствующего имени, мотивация которого и является стимулом для эмотивности, придает ту или иную иллокутивную силу речевому акту, может быть, точнее — речевой выбор здесь задан иллокутивным намерением.

Если эмоциональная оценка психологического типа согласуется с рациональной и по существу амальгамируется с ней, то эмотивная оценка не амальгамируется с рациональной, а «наслаивается» на нее, соотносясь не с собственно обозначаемым, а с мотивационным основанием выражения, играющим роль стимула для переживания. Ср.: *радостный день* — это психологически «хороший» день, а *дутый авторитет* — это ложный и потому «плохой», и то, что он такой, как если бы был дутым (т.е. полый внутри), вызывает презрение к субъекту авторитета у субъекта речи (и в случае взаимопонимания — и у реципиента). Сказать, что *Дутый авторитет — это плохо*, значит «недосказать» то, ради чего выбрано данное прилагательное, а именно — нейтрализовать презрение к такому рода авторитету, переместив эмотивность из ремы в тему высказывания.

Эмотивная оценка «программируется» стимулом: невозможно представить, что лицо, описываемое как *змея*, может в русскоязычной среде вызвать чувство-отношение одобрения: выбор имени здесь нацелен не только на оценку, которая ориентирована на денотацию («коварный»), но и на иллокутивную силу этого наименования. Эта иллокутивная сила хорошо просматривается в процедурной записи значения: «знай, что X — коварен, считай, что это «плохо»,образи, что X — змея <змея подколотная>, испытай чувство неодобрения». Вряд ли возможно назвать *медведем* ловкого в движениях человека, столь же сомнительно, чтобы поверхностное увлечение было названо *пламенной любовью* и т.д. и т.п. Но из этого следует, что эмотивная оценка всегда «добавляется» к рациональной и как бы усиливает ее, но за счет дополнительного эмоционального стимула, а таковым в языковых выражениях может быть только ассоциация с образным прочтением имени (или выраженных в нем специальных морфологических или фонетических средств).

Нельзя не заметить, что распределение собственно оценки как отношения к ценности обозначаемого и эмотивной оценки как чувства-отношения, связанного с ассоциативно-образным восприятием обозначаемого, сопряжено с различием самих типов языковых значений (в данном случае — номинативных): в первом случае это оценочные

наименования, а во втором — это экспрессивные наименования, представляющие продукт вторичной номинации, сохраняющий ассоциативно-образную мотивацию (в той или иной ее разновидности и степени ее сохранности). Чтобы убедиться в этом достаточно сравнить экспрессивный потенциал таких наименований, как *неуклюжий* и *медведь* (о человеке), *медленно и с трудом передвигаться* и *тащиться*, *скупой* (или *экономный*) и *дрожать над каждой копеечкой*, *достойный представитель народа* и *сын народа*, *руководители перестройки* и *лоцманы* (или *капитаны*) *перестройки* и т.д. Комментарии к этой серии примеров были бы излишни, если бы не необходимость раскрыть более детально механизмы оценки, которую мы предлагаем называть *эмотивной*, имея в виду, как уже неоднократно отмечалось, что она имеет своим содержанием определенное чувство-отношение, придающее иллокутивную силу наименованию. Последняя, как свернутая пружина, распрямляется в высказывании вызывая его перлокутивный эффект.

Первым и, пожалуй, наиболее весомым аргументом в пользу того, что между оценкой, описывающей чувство, и оценкой, вводящей языковое выражение в класс экспрессивно окрашенных наименований, выражающих презрение, пренебрежение, уничтожение, порицание, а также одобрение и т.п., как уже отмечалось, является тот факт, что все слова и выражения, которым в толковании можно приписать маркеры иллокуции, являются вторичными наименованиями, так или иначе прошедшие стадию ассоциативно-образного восприятия (через их «внутреннюю» или «внешнюю» формы). Именно такого рода мотивация выступала и/или продолжает выступать как стимул для второй волны оценки — эмотивной. Например, в высказывании *Он — тряпка* сам ассоциативно-образный гештальт *тряпка* имплицитно пренебрежение (ср. также *тряпье* — об одежде), в высказывании *Он целыми днями гоняет ворон* ассоциативно-образное представление имплицитно осуждение; когда говорится, что у кого-то *дырявая голова*, возникает ассоциация с тем, что она «повреждена», а это вызывает пренебрежение к тому, кто имеет такую голову.

Важно обратить внимание на то, что в подобных случаях сама номинация определяет ту иллокутивную силу, которую выражает высказывание, содержащее данную номинацию, в то время как оценочные наименования психологической ориентации могут включаться, по наблюдению Е.М. Вольф, в любой речевой акт, например, возмущения, негодования и т.п., лишь подтверждая знак «+» или «-» [Вольф 1985, 42]. Ср. *Безобразия! Этот глупец опять все напортил!* и *Безобразия! Этот осел опять все напортил!* — в первом случае имеет место оце-

ночно-психологический речевой акт, а во втором — оценочно-эмотивный, который и придает всему высказыванию экспрессивность за счет «удвоения» — и тем самым — усиления субъективно-модального компонента смысла высказывания.

Поскольку классификация языковых сущностей имеет дело с «размытыми множествами», то четкой грани между областью тропеических стимулов эмотивности и стимулов, принадлежащих скорее «внешним» формам единиц языка, провести нельзя. Например, слова *негодяй*, *скупердяй*, *старушенция*, *домишко* и т.п. сигнализируют об эмотивности за счет суффиксов (ср. *негодник* и *негодяй*, *скупой* и *скупердяй* и т.п.). Столь же «затемнена» природа стимулов, выраженных собственно звуковой формой слов, ср.: *драндулет*, *абракадабра*, *бить баклуши*, *ни бельмеса не понимает* и т.п. Тем не менее сама их «остраненность», видимо, и дает повод для эмотивности, о чем уже упоминалось выше.

Итак, именно наличие осознаваемых (пока не ясно, на каком уровне сознательного или бессознательного это происходит в онтологии) «внутренних» или «внешних» форм как стимулов, переключающих оценку из рационального или психологического регистров в регистр, создающий иллюкативную силу одобрения, неодобрения, презрения и т.п. в содержательном плане самого наименования, позволяет полагать, что именно выражение подобного рода чувств-отношений и является «вершинным» смыслом для такого рода наименований. Этим иллюкативным силам всегда «предшествует» рациональная (интеллектуальная) или психологическая (эмоциональная) оценка денотативного аспекта значения (оценка объектов из мира «*Действительное*»). Иными словами, эмотивность «наслаивается» на денотативно-оценочную амальгаму. Например: *обезьянничать* (о взрослом человеке) можно описать в форме ‘знай, что *X* подражает *Y*-у; считай что это «плохо»; вообще, что *X* ведет себя подобно обезьяне которая как бы подражает человеку, но в очень утрированном виде (таков стереотип восприятия гримас обезьяны человеком); *испытай* чувство неодобрения’. Здесь содержатся два «вхождения», субъекта в значение: один раз в форме суждения/мнения (*считай*), а второй — в форме переживания/чувства (*испытай*). Следует заметить также, что переживания вообще не «вкладываются» в контекст мнения (**Считай, что я переживаю, <презираю, радуюсь>* и т.п.) без особых средств актуализации, что лишний раз подтверждает гетерогенность рационального и эмотивного регистров оценки.

Существует еще целый ряд отличий, диагностирующих различие в рациональной и эмотивной оценках. К таким отличиям, например, можно отнести и то, что при замене лица (*Я-ТЫ-ОН*) рациональная

оценка может не менять своего знака, а эмотивная варьирует. Ср.: *Я (Ты, Он) — глупец*, но *Я — осел* (скорее ирония, чем презрение); *Ты — осел* (оскорбление); *Он — осел* (презрение) и т.п. Видимо, закономерности смены именно иллокутивной силы, которой эмотивность награждает имя (и высказывание с ним), связаны с тем, что можно назвать «иллокутивным самоубийством»: человек, называющий себя *ослом*, говорящий о себе, что он *вставляет палки в колеса* кому-либо и т.п. по существу разоблачает себя, что скрывается в форме иронии.

Таким образом, можно полагать, что, помимо рациональной оценки, которая выступает в двух видах — оценка интеллектуальная и психологическая, существует и собственно эмоциональная оценка, «снятая» в языке в форме чувств-отношений. Эту оценку мы называем эмотивной. Эмотивность имеет своим содержанием такое чувство-отношение, которое обладает иллокутивной силой, т.е. способностью воздействовать на собеседника, вызывая определенный (в случае коммуникативной удачи) прелокутивный эффект. «С л о ж е н и е» и в з а и м о д е й с т в и е двух типов субъективно-модальных отношений — оценочного и эмотивного — придает экспрессивность как самим наименованиям, так и высказываниям, в которые они включены.

В специальных работах уже упоминалось о том, что реестр этих чувств-отношений, выступающих в словарях как маркеры экспрессивности, различен в разных национальных лексикографиях (подробнее см. [Графова 1991]). Скорее всего — это продукт лексикографической традиции, и здесь нужны экспериментальные исследования, чтобы получить подлинный набор тех чувств-отношений, которые (с точностью до инвариантных их свойств) смогли бы отразить состояние души говорящего/слушающего при употреблении/восприятии образно мотивированных слов. Но пока приходится довольствоваться их узуальным набором, который используется и нами, как когнитивные операторы, указывающие на процесс «эмоционального переживания того, что представлено через образное подобие, или образную гештальт-структуру»: *испытай* неодобрение <презрение, пренебрежение, уничижение, порицание...или одобрение, восторг, восхищение...>.

Именно такое состояние души и является содержанием эмотивной коннотации, т.е. эмоционального отношения говорящего/слушающего к объекту из мира «Действительное», представленного через его образное подобие в виде образной гештальт-структуры. Следует заметить, что ни в одном из изветстных нам исследований как у нас, так и за рубежом, эмотивная коннотация не исследована в когнитивном аспек-

те. Более того, она даже не выделена как особый вид деятельности языкового сознания.

Экспрессивность имеет, таким образом, коннотативную природу: эмоциональная оценка принадлежит субъекту (говорящему/слушающему) и основана на ассоциативно-образном восприятии. Это восприятие и «возбуждает» то или иное чувство-отношение. Но само это чувство социологизировано и релятивизировано к концепту: к знанию о том, презираемо ли обозначаемое в данном социуме, или это, то, чем пренебрегают, осуждают и т.п. Необходимо еще раз отметить, что экспрессивность не сводима только к эмоциональной оценке, но есть некоторый суммарный «итог» взаимодействия (А, М, Э).

Вызываемое образностью (или его аналогом) чувство-переживание, составляет тот тип информации, который мы называем эмотивностью (Э).

В декларативно-процедурной форме толкования эмотивность «следует» за образностью (М), а в динамическом, собственно процедурном, эта информация вводится когнитивным оператором *испытай* (Э).

Информация об уместности/неуместности условий употребления данного словозначения в тех или иных социально значимых условиях речи, составляет тот блок значения, который традиционно относят к стилистической маркированности (С). В декларативно-процедурной модели значения, этот блок информации предстает как завершающий, а в динамическом представлении — это когнитивная процедура выбора словозначения, содержанием которой является знание об условиях речи (о ее «стиле»).

«Завершающая» позиция стилистической информации, конечно же, условное ее расположение в когнитивной модели. Скорее всего, знание об условиях речи — это понимание того, как следует вести речь с тем или иным партнером в той или иной ситуации, следовательно — это «пресуппозиция» речевых действий. Но вместе с тем, сама стилистическая маркированность взаимосвязана с тем, о чем говорится (Д), а также с тем, какое образное основание заключено в словозначение, ибо от последнего зависит, как представлена действительность — «нейтрально», «грубо» или даже «неприлично». Ср. например, неуместность выбора слова *осел* в официальной характеристике подчиненного, бранное восприятие в высказывании, обращенном к собеседнику (*Ты — осел*), ироничное — по отношению к себе (*Я — осел*) и т.п.

Таким образом, знание о стилистической окраске значения принадлежит сразу нескольким сферам языковой деятельности — языковой компетенции (владение кодом), нормам общения, прагматическим аспектам общения. По этой причине говорить о стилистической коннотации уместно лишь в том случае, когда фокуси-

руется отношение говорящего / слушающего к обозначению в тех или иных условиях речи. Таксономическая же иерархия стилистических «значений», которой так упорно продолжает заниматься стилистика, — это поиск системы, а следует искать правила употребления или по крайней мере — основания этих правил, как в [Винокур 1980; 1993].

Полностью осознавая всю сложность (а часто — просто запутанность) проблемы, что связано, с нашей точки зрения, с различием выдвигаемых оснований стилистической дифференциации (обзор проблемы см., например: [Крысин 1989]), мы выдвигаем гипотезу о том, что стилистическая дифференциация имеет своей первопричиной знание об уместности / неуместности выбора данного словозначения в тех или иных социально маркированных условиях речи, поэтому и классифицироваться должны эти речевые ситуации.

О том, что именно эти последние определяют стилистическую дифференциацию слов (равно как и фразеологизмов), писала применительно к лексикографическим задачам и Г.Н. Скляревская: «Решение задачи адекватного отражения объекта описания словаря зависит от того, насколько авторам удастся осознать и отразить языковую ситуацию, а также языковую компетенцию говорящих на данном языке в настоящее время. Применительно к современному русскому литературному языку языковая ситуация характеризуется «онаучиванием» языка, с одной стороны, и его дальнейшей демократизацией — «опроцессением» — с другой. Взаимодействие этих разнонаправленных процессов, как это принято считать, формирует все типы описываемых в словаре коннотаций, в функционально-стилистической квалификации которых и заключается кодифицирующая задача словаря» (ответ на вопрос: как следует говорить в данном обществе на данном этапе его развития). И далее: «Языковая компетенция говорящих (иначе — владение языком) — это способность из многочисленных способов выражения выбрать тот, который с наибольшей полнотой соответствует типу речи, ситуации, социальным отношениям говорящих, задачам выразительности и т.д.» [1988] (разр. наша — В.Т.).

Мы привели достаточно объемную цитату, так как она избавляет нас от необходимости аргументации: автор статьи выделяет ситуацию речи как основной фактор стилистической маркированности. Поскольку в наши задачи не входит исследование всех параметров, а также всех видов взаимодействия речевых ситуаций, мы будем пользоваться — и достаточно интуитивно — очень ограниченным их набором, считая что

они являются базовыми для социально-ролевой типологии речевых ситуаций. Нейтральная стилистическая ситуация, или речевой стандарт (термин, который мы вводим как синонимичный нейтральной речи), — это когда социальные отношения партнеров несущественны и не вносят никаких «следов» в тип речи (от официального до разговорно-бытового общения). Неформальная, когда социальные отношения говорящих определяются как внесоциальные (о разграничении понятий «ролевой статус» и «ролевая позиция» см. [Крысин 1989, 133—144]). Фамильярная речь — это когда ролевой статус может быть определен как отношение «близкого знакомства», ролевая позиция — принадлежность к «равным». Грубо-фамильярная, когда близкое знакомство дает основание для «запанибратских» отношений, а ролевая позиция — пренебрежением к личности, к ее достоинствам. Сфера (или ситуация) интеллектуального общения, которая традиционно определяется через помету «книжное», — это когда ролевые статусы говорящих могут быть определены, как «люди образованные, книжные», а ролевые позиции — принадлежностью к образованным слоям общества с его уважением к личности (отметим, что в настоящее время таковыми можно считать всех, имеющих хотя бы среднее образование). Сфера официального общения — это когда ролевые статусы жестко определены, а позиции соответствуют этим статусам. Сфера делового общения имеет место, когда ролевые статусы определены «кругом обязанностей», а ролевые позиции связаны с иерархией отношений между партнерами по делам. Безусловно, этот перечень не может претендовать на исчерпывающий, ни на жестко дифференцированный. И тем не менее, как представляется, он способен охватить все типы социальных отношений общающихся — их ролевые статусы и ролевые позиции.

Отношение говорящего/слушающего к условиям речи предопределяет, как было сказано выше, выбор средств. Тем самым — сам выбор свидетельствует о мотиве. Этот последний и есть когнитивное основание стилистической коннотации, которую в процедурном режиме можно обозначить оператором *'учти, что я рассматриваю/воспринимаю речевую ситуацию как нейтральную, неформальную... деловую'*.

Нельзя не заметить, что в реестре ситуаций общения не включена сфера просторечия, поскольку она может быть определена только как сфера некодифицированной речи — речи «простых» людей, что не может считаться их речевой «ролью». Думается, что просторечие — это характеристика не условий общения, а характеристика «неправильной» речи. Так она и должна рассматриваться. Вне этого реестра оказалась и разговорная речь, так как она является формой существования

языка [Земская 1968; Сиротина 1974; Ширяев 1986], а не признаками уместности/неуместности выбора того или иного средства, которые присущи ей в такой же степени, как и речи кодифицированной (которую традиционно называют литературным языком).

Итак, лексическое значение мыслится как ряд когнитивных процедур, которые включая соответствующие им знания, принадлежащие миру «Идеальное», указывают не только на свойства объекта из мира «Действительное», но и на диспозиционные способности денотативного аспекта значения, а также — на характер субъективных отношений говорящего/слушающего к референту и к условиям речи. По исчисленным выше типам информации можно предложить и когнитивно ориентированную классификацию лексических значений: (1) значения, исчерпывающие свое содержание знанием о мире (о «натуральный» объектах, артефактах, физических акциях, чувствах, явлениях, событиях, фактах и свойствах), которые имеют нейтральную стилистическую маркированность: (2) безобразные значения, включающие в себя только рациональную оценку (их примета — невозможность употребить в позиции идентификации без специальных средств, актуализирующих референцию, ср.: **Подлец явился и Этот подлец явился*); они также стилистически нейтральны; (3) значения, экспрессивно окрашенные, которые включают в себя эмотивность; они всегда стилистически маркированы; подобно оценочным значениям, они также не употребляются в позиции идентификации без средств референтной актуализации, а кроме того, они, как общее правило, являются образно-мотивированными. Ср.: **Свинья опять не поблагодарила и Эта свинья опять не поблагодарила* и т.д. и т.п.

По существу (1) и (2, 3) различаются как собственно дескриптивные или прагматически нагруженные значения. Это — базовые типы лексических значений. Естественно, что каждый из типов (2, 3) различается по значению оценки и/или эмотивности. Например, в (2) можно выделить общеоценочные и частнооценочные значения, а внутри них — утилитарные, гедонистические, психологические, интеллектуальные и т.п. (см. [Вольф 1978; 1985; Арутюнова 1984]), в (3) в качестве имен подклассов обычно используются *одобрение, неодобрение, презрение, пренебрежение, уничтожение, осуждение, порицание*. Не исключено, как уже упоминалось выше, что этот список — скорее дань именно русской лексикографической традиции, нежели те чувства-отношения, которые реально соответствуют эмотивной иллокуции, но для проверки этого необходимы специальные исследования.

Мы уже упоминали, что могут быть выделены также культурно-национальные и социально значимые коннотации. Возможные пути выявления первых и их интерпретации изложены ниже (см. часть третью данной книги). Что же касается социально маркированных коннотаций, то они выражают «идеологемы», а потому «привязаны» к определенным политическим периодам жизни общества, они могут быть узуализированы на какой-то период, но скорее всего они не закрепляются за значением, а принадлежат тексту. Так, например, если слово *перестройка* в середине 80-х годов было идеологемой с положительным содержанием, о чем свидетельствуют такие метафорические ее обозначения, как *перевал, поток, вторая оттепель*, а ее инициаторы уподоблялись *штурманам, капитанам, архитекторам*, то в конце этого периода перестройка — это уже *повозка, болото, драма, говорильня, хирургическая операция*, а ее «отцы» — *заложники* и т.п. [Баранов, Караулов 1991, 104—110]).

Предложенная выше схема когнитивных аспектов значения была описана в той последовательности, в которой она классифицирует значение. Однако, по всей вероятности, линейный порядок просто не адекватен той симультанности процедур, которые присущи сознанию. Так, совершенно очевидно, что при вторичной номинации образное основание, выступая как внутренняя форма вторичного наименования, отдает часть информации о типовом представлении объекта, обозначаемого уже существующим именем, в типовое представление нового наименования, сохраняя некоторые свои «черты» как образная гештальт-структура, которая и является стимулом для эмоциональной реакции. Рациональная оценка при этом всегда скоординирована с эмоциональной, из чего следует, что на первую оказывает влияние внутренняя форма значения. А стилистическая маркированность самым непосредственным образом связана с характером мотивации (ср. например: *вкусный* и *объядение*, *умный* и *головастый* и т.д. и т.п.). Еще более «изысканные» имплицативные связи характерны для культурно-национальной коннотации: с одной стороны, она обнаруживает связь с кумулятивной (или «накопительной») функцией значения, хранящей предшествующий опыт или знание — вплоть до этимона, с другой — с образной гештальт-структурой, а с третьей — культурно-национальной коннотацией, оказывает самое непосредственное воздействие на оценку и эмотивность. Так, например, такое слово, как *баба* «хранит память» о простонародности, отмечает всякое подозрение в ее интеллектуальных способностях и изысканных манерах, зато настраивает на то, что она — сильная, решительная и т.п., вызывает осознание того, что это — «свойский»

человек, а поскольку речь идет не о крестьянке, то все эти (и ряд других) ассоциаций выражаются в амбивалентной оценке, а также в амбивалентной эмотивности (от одобрения до пренебрежения и уничижения) и т.д.

Но чтобы «отследить» источники той или иной когнитивной процедуры, необходимо прибегнуть к таксономии. Импликатуры значения могут быть выведены только при взгляде на объект анализа как на целостное образование, в котором все элементы структуры значения взаимодействуют так, что **м а л ы е п р и ч и н ы в ы з ы в а ю т б о л ь ш и е с л е д с т в и я**», как принято считать в той неклассической научной парадигме, которая основана на идее «синэргетики» (откуда и пришло ее название).

Синэргетика как научная парадигма сформировалась на основе исследовательской практики самоорганизующихся систем, поэтому за исходное здесь принимается наличие активной среды, на которой и задаются нелинейные связи и отношения. Синэргетика естественным образом включает в свой объект человека и его деятельность (гносеологическую, социальную, психоэмоциональную и т.п.), а также его миропонимание (культурологическая функция деятельности) как сложное психологическое целое (подробнее см. [X Всесоюзная конференция по логике, методологии и философии науки 1990; XI Международная конференция «Логика, методология, философия науки». VII. 1995].

В нелинейном мышлении эвристики базируются не на отдельных категориях или группах, а на целостных, холистичных категориальных структурах. В этом отношении нельзя не заметить ее пересечения в принципах анализа объекта с когнитологией. Специалисты отмечают, что синэргетика является именно парадигмой мировоззрения, а не теорией: это некоторая совокупность идей, методология. Важно отметить и то, что синэргетический подход к объекту информации нацелен на восстановление внутренней структуры информации, а сам исследователь «оказывается как бы включенным в систему представлений, составляющих суть парадигмы самоорганизации». Эта внутренняя включенность в структуру «привносит в методологию герменевтическое измерение» [Свирский 1990, 80—81].

Думается, что все изложенное выше имеет самое непосредственное отношение к методологии языкознания: естественный язык — самоорганизующаяся динамическая система благодаря именно нелинейности организации в ней информации (ср. общепризнанное наличие в языке «глубинных структур», которые организованы нелинейно), неаддитивность «сложения» информации, несомой языковыми знаками, самоусиление процессов, многовариантность способов выражения одной и

той же информации, случайность в выборе дальнейшего изменения, отчего «малые причины приводят к большим следствиям», а результат одного воздействия на систему при наличии другого воздействия оказывается не таким, каким он был бы при отсутствии последнего. Ср., например, использование звукосимвольной функции фонем в идиоме *тары-бары-растабары* и (как следствие) оценка такой болтовни, как пустой, никчемной, пренебрежительное ее восприятие, основанное на осознании того, что эти звукоряды, повторяющие одно и то же, манифестируют такую речь, как если бы она была бессодержательной, а оценка и эмотивность — вместе с образом-звукорядом — обуславливают употребление этой идиомы в неформальной речи:

— Тары-бары-растабары,
 Чары, чары..
 Очи — ночь.
 Кто не весел,
 Кто в печали
 Уходите прочь...
 Тары-бары-растабары,
 Чары были,
 Счастья нет.
 Разбазарил-тары-бары...

(В.Шукшин. *Калина красная*)

Думается, что методология синэргетики, дающая основание для рассмотрения языковой деятельности как активной среды с естественным включением в нее познающего, оценивающего познание в своей ценностной ориентации, переживающего через образы языка мир субъекта, а также учитывающего уместность или неуместность выбора языковых средств в тех или иных речевых ситуациях, что предопределяет нелинейность языковых знаков и их способность к самоорганизации в ходе построения речи (текста), — эта методология способна объединить данные всех наук когнитивного цикла в рассмотрении значения языкового знака как многомерного информационного комплекса холистично «настраивающегося» на входение в речь в соответствии с коммуникативными интенциями говорящего и столь же холистично воссоздаваемого слушающим как в номинативном, так и в прагматическом информационном полях.

Подводя некоторые итоги анализа когнитивных аспектов лексического значения, можно сделать два основных вывода.

(1) Лексическое значение, с безобразным основанием, — достаточно «компактный» информационный объект хотя бы потому, что в

лексической номинации вычленяется, категоризируется и вербализуется типовое представление в соответствии с естественной таксономией — наивной картиной мира. Концептуальное содержание такого значения — это знания о типовом представлении.

(2) Более сложный и менее компактный тип значения характерен для вторичных наименований, ассоциация с образным содержанием которого не утрачена. В этом случае ассоциативно-образное основание выступает как образная гештальт-структура, т.е. тот редуцированный типовой образ, который сохраняется в новом наименовании как наследие его предшествующего значения. В этом случае объект из мира «Действительное» не «удваивается» — его отображение обеспечено новым типовым образом. Однако образная гештальт-структура, пока она осознается, выступает как квазиденотат, знание о котором сохраняется в мире «Идеальное» в том объеме, который перешел в концептуальное содержание вторичного наименования. А это значит, что фреймы (структуры знания), которые воссоздают в сознании «сцены» по «сценариям» образной гештальт-структуры, приводят к своего рода информационной полифонии, когда в языковом сознании «звучит» несколько мотивов одновременно.

Так, человек, названный *ослом*, не просто глуп, но еще и упрям, следовательно, в этом значении взаимодействует по крайней мере два прототипа «глупый человек» и «упрямый человек», которые корреспондируют каждый со своей гештальт-структурой — «глупость» и «ослиное упрямство». Когда мы говорим, что кто-то *дубина*, то в типовом образе совмещаются свойства глупости и невосприимчивости; когда используется идиома *голова садовая*, то языковое сознание оперирует двумя гештальт-структурами — «глупость» и «простота», когда *олух царя небесного* — взаимодействуют «глупость» и «убогость». В связанном значении фразеологического сочетания *вбивать в голову* (которое представляет собой гибрид идиомы и АЛК) пересекаются гештальт-структуры «делать так, чтобы было (в чем)», соответствующая категориальному значению каузации агентивно-креативного воздействия, и «прилагать усилия, как если бы испытывать сопротивление»; в сочетании *луч надежды* в связанном значении взаимодействуют гештальт-структуры «часть» и «проявление чего-то обнадеживающего» и т.д. и т.д.

Вторичные значения, сохраняющие мотивацию, синкретичны по типовому представлению и диффузны по когнитивному аспекту, поскольку в типовом представлении еще не слились две системы признаков, а в концепте взаимодействуют две системы знаний. По этой причине образно-осознаваемые лексичес-

кие значения не задают класса: нет класса «ослов», «дубин», равно как диффузное концептуальное содержание значения слова *осел* указывает на все, что известно о глупцах, и то, что известно об ослах, как эталонах упрямства, а значение слова *дубина* указывает на глупость и на то, что выделено в этом эталоне невосприимчивости, указывая на тупость лица.

Если же образная гештальт-структура представлена не «отдельной» сущностью, а композицией, отображающей ситуацию или объект с преддицируемым признаком, то вся система осложняется — в ней взаимодействуют знания о каждом объекте и их диспозиции в целом, что создает ситуацию много-многомерного взаимодействия как при формировании типового представления, так и концепта. В этом отношении образно мотивированные фразеологизмы-идиомы существенно отличаются от лексических единиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВОЙ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-ИДИОМ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Постулат Ф. де Соссюра о том, что язык есть система знаков, обязывает определить, в чем состоит знаковая природа идиом, чем она «обеспечена» и какова ее специфика, позволяющая утверждать, что фразеологизмы — знаки особого рода, отличные как от словесных знаков, так и от знаковой функции сочетания слов.

Во фразеологии постулат об особенностях знаковой функции идиом стал своего рода расхожей монетой, принимаемой в силу своей самоочевидности практически бездоказательно. Единственная серьезная попытка доказать, что фразеологизмы обладают специфической знаковой функцией, принадлежит В.Л. Архангельскому, но он стремился обнаружить универсальные, свойственные всем типам фразеологизмов, специфические признаки, что привело его к утверждению о том, что «применительно к языковой системе, можно указать следующие константные свойства фраземного знака: материальность оболочки знака (фонетически-слуховая или графически зрительная); разделенность его интегрантов; единство целого и его частей, комбинаторные приращения смысла; отрешение от денотата и возможность перемены денотативной отнесенности, в известной мере произвольный характер отнесения к действительности по желанию говорящего; ... постоянство сочетания строго определенных элементов для выражения инвариантного значения, слитность значения, соответствующая слитности формы;

морфолого-синтаксическое построение сочетания или предложения; единицы фразеологии и ее правила принадлежат системе языка; наличие псевдоозначающих элементов в структуре знака и основанная на этом принципиальная возможность эллипсиса, когда сигнальный фрагмент выполняет заместительную функцию целого; возможность утраты внутренней формы, суггестивность фраземного знака и др.» И далее: «Фраземные знаки представляют собой самостоятельные духовные ценности. Подобно рычагам, они содействуют образности и убыстрению мышления» [Рукопись 1976 (см. также Архангельский [1964; 1968]).

При всей детальности исчисления признаков «фраземного знака», здесь идет речь все же о признаках, а не функциях, которые выполняет материальная оболочка знака, хотя эти функции и уподобляются рычагам, содействующим образности и убыстрению мышления. Мы бы добавили, что к этим «рычагам» необходимо отнести способность ука- зывать на мир «чужим» денотатом, выполняющим роль образной геш- тальт-структуры и возможность выражать различного рода отношение субъекта речи к обозначаемому, т.е. выполнять прагматическую функ- цию.

Если фразеологизмы-идиомы обладают именно им присущей зна- ковой спецификой, то она должна быть обнаружена не в их структур- но-семантической организации, а в том, какие особенности характер- ны для соотношения «тела» знака со «значением» знака, а последним, по определению, являются обозначаемые им фрагменты действитель- ности. Иными словами — специфика идиомы как знака должна соответствовать специфике того, что им обозначается, т.е. таким элементам действительности, которые «охватываются» только идиомами. Мы имеем в виду все то, что замеча- ет идиома как знак, в отличие от других знаков (постановку пробле- мы в таком виде нам предложил Е.Л. Гинзбург, в неоднократных бесе- дах с которым она и обрела свою формулировку). В том случае, если идиома не выполняет «особого» знакового предназначения, она может быть определена только как специфическая единица языка, аналогич- ная слову — как своего рода «аномалия» единиц лексико-семантичес- кого уровня или как «промежуточное явление» (ср. например, *стоять рядом* или *бок о бок*, *мгновенно* и *в один миг* и т.п.).

Особенности знаковой функции идиом, если таковые имеются, могут быть обнаружены только при ответе на вопрос — *знаком чего являю т с я и д и о м ы*. Следовательно, прежде всего — это их спо- собность появляться в речи вместо референтов из мира «Идеальное» и мира «Действительное», а кроме того — служить знаками оценки, пси-

хологических состояний субъекта, знаками типов речевого общения, знаками категорий культуры и т.п.

Чтобы ответить на вопрос, вместо чего выступают в речи идиомы, необходимо опираться на стратификацию, самого мира, вычлененного номинативными средствами языка, т.е. на такую их классификацию, которая отражала бы способность идиом «замещать» объекты внеязыковой действительности.

Попытки создать такую классификацию были связаны в основном с необходимостью создать типологию слов, отвечающих тому или иному коммуникативно-функциональному предназначению (см., например, [Артюнова 1976]). В таких классификациях достаточно четко разведены два полюса — полюс и д е н т и ф и к а ц и и, притягивающий к себе все словозначения, способные указывать на пространственно-организованный объект, и полюс п р е д и к а ц и и, вокруг которого группируются объекты, меняющиеся во времени. Были указаны и промежуточные области, в которые включались физические акции, имена функциональные и реляционные.

Нельзя не заметить, что эта классификация удачно соединяет два основания — тип номинации, определяемый относительно изоморфизма между обозначаемым объектом и номинативной функцией языковых единиц, и характер коммуникативной функции — идентифицирующей или предиктирующей. А это означает, что в самой номинативной функции заложена способность к коммуникативной роли. Следовательно, природа знаковой функции идиом и их знаковая специфика кроется в типе самой номинации — в том отношении изоморфизма, которое устанавливается м е ж д у о т р а ж а е м ы м о б ъ е к т о м — его гносеологическим образом и его д е н о т а т о м, т.е. совокупности признаков, характерных для всех внеязыковых объектов, на основе которых создается их типовое представление, отображающее все подобные в заданном представлении объекты как класс. Поэтому без исследования самой природы идиомообразования невозможно постичь и особенности знаковой функции идиом. Номинация — это базовый цикл закообразования — начальный семиологический процесс. И этот процесс имеет свои явно отличные от других типов номинации закономерности.

Идиомообразование как особый тип номинации

Процесс идиомообразования чаще всего протекает как метафоризация, когда говорящий, исходя из некоторого номинативного замысла — обозначить предмет, свойство, процесс, состояние и т.п., еще не имеющие имени, обращается к поискам в чем-то подобной, но уже

названной в языке сущности. Поэтому и новое обозначаемое воспринимается как подобное по некоторым признакам тому, что уже имеет имя. Такого рода подобие и служит мотивом для переноса имени на именуемый объект. Сам процесс создания новой номинации — это интеракция двух систем признаков: признаков объекта, вошедших в номинативного замысла, и признаков, «вычерпываемых» из основания метафоры, т.е. вошедших в подобие (подробнее о вторичной номинации см. [Телия 1977]).

Ниже в самых общих чертах излагается суть метафоризации как номинативного процесса, приводящего к смыслопреобразованию и особенности этого процесса, характерные для идиоматического образования — особого типа вторичной номинации в соответствии с тем, что изложено в [Телия 1988 а,б].

Основная задача данного раздела — показать метафору в действии, т.е. раскрыть механизмы метафоризации, приводящие к формированию новых идиоматических наименований. Как известно, сам термин *метафора* используется в двух значениях — как результат и реже — как процесс. Именно этот последний, деятельностный аспект метафоры самым непосредственным образом связан с когнитивной деятельностью сознания, с учетом которой и предпринята попытка установить и описать основные закономерности метафоризации, описать действие тех механизмов, которые присущи метафоре как тропу. Эта задача связана с необходимостью создания когнитивной теории метафоры, которая в настоящее время осознается как у нас, так и за рубежом (см. [Жоль 1984; Петров 1985; Метафора в языке и тексте 1988; Теория метафоры 1990]), ибо посредством механизмов метафоры синтезируется новый объект в мире «Идеальное». Метафорически переосмысленное значение обретают и сочетания слов с целью наименования новой физически воспринимаемой реалии, либо же — создания некоторого нового концепта в самом процессе его метафорического именованья. Ср. *анютины глазки, железная дорога*, где новые реалии получили лишь имя, и *не промах, набирать обороты, дойная корова, горячая точка* и т.п., где в акте метафоризации сформировались и сами новые концепты, получившие имя.

Метафора как одно из наиболее продуктивных средств формирования вторичных наименований обладает свойством «навязывать» говорящим на данном языке специфичный взгляд на мир. Такого рода навязывание способа мировидения и мышления о мире в определенном вербально-ассоциативном диапазоне (грамматическом, лексическом и синтаксическом), конечно же, не заслуживает истинного понимания происходящего. Однако нельзя отрицать и того, что язык — его инвентарь

и правила комбинации — подключают к концептуальной модели мира, т.е. к его собственно понятийному (по Павиленису [1983]) отображению, и «наивную» картину мира, свойственную обиходному сознанию, а кроме того еще и «естественную логику» языка.

Язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций концептуальную модель мира в национально-культурные цвета. Он придает ей и собственно человеческую — антропоцентрическую интерпретацию, в которой существенную роль играет и антропометричность, т.е. соизмеримость универсума с понятными для человеческого восприятия «масштабами» мира, его образами, эталонами и символами, в том числе и теми, которые получают статус ценностно определенных стереотипов. К последним, например, относятся представления о лице как о хитром животном, о камне как эталоне бесчувствия, о твердости как непоколебимости, о рабе как «образце» безволия и т.д. и т.п.

По существу метафора является моделью порождения новых значений, выполняющей в языке ту же лингвокреативную (в понимании Б.А. Серебrenникова [1983, 106—109]) функцию, что и словообразовательная модель, но только более сложную и к тому же действующую «скрыто» и нестандартно.

Синтезирующий характер метафорических процессов связан, как уже отмечалось выше, с целеполагающей деятельностью ее субъекта — творца метафоры. Эта деятельность ориентирована не только на заполнение номинативных и концептуальных лакун, но и на прагматический эффект, который метафора вызывает у реципиента. В свою очередь, фактор адресата обязывает создающего метафору прогнозировать ее понимание при выборе тех признаков подобия в уже названной реальности и той реальности, которая получает это имя, апеллируя к образно-ассоциативным комплексам этих реалий.

Оперирование с образными сущностями не может не привести в новое значение следов того образа, который ассоциируется с обозначаемым «буквального» значения переосмысляемого слова или сочетания. Это и оставляет в новом значении рефлексы человеческого фактора, ярче всего появляющиеся в самом отборе исходного значения. Например, для обозначения «пожизненного» страдания было выбрано сочетание *нести [свой] крест*, для обозначения состояния беспечного благополучия, которое вряд ли может быть вербализовано одним словом, — *кататься, как сыр в масле*, для того, чтобы выразить идею о том, что нечто или некто может быть одолено только при определенных усилиях, — *голыми руками не возьмешь* и т.д.

Свойство механизмов метафоры сопоставлять на основе подобия, а

затем и синтезировать сущности, соотносимые с разными логическими порядками, обуславливает ее продуктивность как средства создания новых наименований, особенно в сфере обозначения «невидимых» объектов. И в этом важную роль играет наиболее характерный для метафоры параметр — ее антропометричность. Последняя выражается в том, как уже отмечалось выше, что сам выбор того или иного основания для метафоры связан со способностью человека соизмерять все новое для него (в том числе и реально не соизмеримое) по своему образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми человек имеет дело в практической деятельности, в жизненном опыте. Такое соизмерение как бы уравнивает в правах конкретное и абстрактное, доступное непосредственному ощущению и умопостигаемое, действительно существующее и вымышленное, аморфное еще представление о чем-то и представление, уже ставшее стереотипом, эталоном или символом в различных картинах мира — научной, обиходной, мифологической. Так, например, в метафору часто включается то, что можно назвать символом или эталоном: *разбить сердце, сердце кровью обливается* и т.п. или *от горшка два вершка, косая сажень в плечах* и т.д.; ср. также стереотипность ситуации *преградить дорогу, встать на пути* и т.п. Не случайно фразеологизмы рассматриваются как народные стереотипы (*ludowy stereotypy*) в работах Е. Бартминьского и его школы (см., например: [Bartmiński 1993]). В настоящее время популярной как на Западе, так и у нас является концепция, постулирующая взаимодействие номинативного замысла и основания метафоры (an interaction theory of metaphor). Согласно этой концепции, в той ее версии, которая принадлежит М. Блэку, метафоризация протекает как процесс, в котором взаимодействуют признаки того, что «ищет» имени, и того, что сообщает имя, выбранное для номинации (подробнее см. [Блэк 1990; Ричардс 1990; Телия 1988 а,б]).

Можно предположить, что метафоризация — это процесс такого взаимодействия указанных сущностей и операций с ними, которое приводит к получению нового знания о мире и к оязыковлению этого знания. Метафоризация сопровождается вкраплением в новый концепт знаний об уже познанном и названном объекте, отображенных в значении переосмысливаемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое, в свою очередь, «вплетается» и в картину мира, выражаемую языком.)

То, что в процессе метафоризации актуализируются одни признаки и редуцируются другие во взаимодействующих их комплексах, выделенных выше, — факт сам по себе достаточно тривиальный. Важно обратить внимание на другое: как, посредством какого допущения эти

признаки, принадлежащие разным «уровням» отображения действительности, соизмеряются субъектом метафоры и как, соответственно, ее адресат по-новому осознает ее «буквальное» значение.

И техника метафоры и суггестивность метафорического процесса во многом продолжают оставаться под покровом тайны, потому что метафора еще не исследовалась ни в онто- ни в филогенезе (исключением здесь можно считать пионерскую работу Л.Г. Голда [Galda 1984]). Все, что пишется о метафоре, является скорее ее «синхрогенезом» (по выражению Ю.Н. Караулова). Но даже и с этой точки зрения очевидно, что метафоризация начинается с «ощущения подобия» (или сходства) формирующегося типового образа реальности и некоторого в чем-то сходного с ней «конкретного» образно-ассоциативного представления о другой реальности. «Нет ничего более фундаментального для мышления и языка, чем наше ощущение подобия, писал У. Куайн [Quine 1977, 157]. Допущение о подобии, которое мы считаем основным для метафоризации и основанием ее антропометричности, является м о д у с о м е т а ф о р ы, которому можно придать статус кантовского *принципа фиктивности*, смысл которого выражается в форме «как если бы» (подробнее см. [Жоль 1984, 127 и сл.]).

Именно модус фиктивности приводит в динамическое состояние знание о мире, образно-ассоциативное представление, вызываемое этим знанием, и уже готовое значение, которые и взаимодействуют в процессе метафоризации. Этот модус дает возможность уподобления логически несопоставимых и онтологически несходных сущностей: без допущения, что *X* такой, как если бы был *Y*-ом, невозможна никакая метафора. С этого допущения и начинается то движение мысли, которое ищет подобия, выстраивая его затем в аналогию, а затем уже синтезирует новое понятие, получающее на основе метафоры форму языкового значения. Модус фиктивности и есть «сказуемое» метафоры: разгадка метафоры — это понимание того, что ее «буквальное» значение предлагается воспринимать «фиктивно». Итак, м о д у с ф и к т и в н о с т и — э т о о с н о в н о й н е р в м е т а ф о р ы как процесса и его результата, пока он осознается как продукт метафоры.

Модус фиктивности обеспечивает «перескок» с реального на гипотетическое, т.е. принимаемое в качестве допущения, отображение действительности, и поэтому он непременно условие всех метафорических процессов. В этой связи уместно напомнить, что еще Кант отмечал, что придать наглядность, сделать достоянием сферы ощущений «идеи разума» невозможно, но человек преодолевает это путем придания им символической наглядности. «Человек всегда, — пишет К.К. Жоль, — стремится абстрактное интерпретировать в терминах

чувственного опыта, соотнося трансцендентное со своим жизненным опытом посредством аналогии, сопровождая ее (при наличии критического подхода) использованием «принципа фиктивности» (als ob 'как если бы'). Особенно полон косвенными изображениями по аналогии наш обычный разговорный язык» [1984, 127] (разр. наша — В.Т.).

Без использования принципа фиктивности невозможным были бы, как представляется, те переходы «из вида в род, или из рода в вид, или по аналогии», о которых писал Аристотель [1936, 176]. А право нарушать эти логические границы дает способность человека допускать подобие гетерогенных сущностей в качестве гипотезы о некоторых как бы реальных чертах их сходства, дающих основание для выстраивания аналогии. Именно модус фиктивности придает метафоре статус модели получения гипотетико-выводного знания. Это обеспечивает и необычайную продуктивность метафоры среди других тропеических способов получения нового знания о мире в любой области — научной, обиходно-бытовой, художественной. Чтобы прояснить сказанное, приведем ряд примеров.

В период перестройки и уже в постперестроечное время в языке публицистики образовался ряд метафор, обладающих всеми признаками идиоматичности (в том числе — и воспроизводимостью с достаточной степенью продуктивности). Помимо уже названных идиом типа *уйти в окопы, выйти из окопов* и т.п., широкое распространение получили такие метафоры, как *поднять планку, ставить шлагбаум, свет в конце туннеля, за бугром, тянуть одеяло на себя, лоскутное одеяло* и под.: Но друзья всегда его прощали, и этим прощением как бы заставляли его совершенствоваться, *поднимать* свою «планку» (*Куранты*, 1991); *Ушла в кусты* прокуратура, потеряли дар речи органы юстиции, а номенклатура, пользуясь этим, *ставит* новые *шлагбаумы* на нашем пути к истине; Однако и тут, похоже, *поставлен* какой-то *шлагбаум*. Хотя известно, что шила в мешке не утаишь. Рано или поздно истина всплывет наружу (*Куранты*, 1992); Дело в том, что в нашей стране лишь ничтожная доля населения догадывается, какова нормальная жизнь среднего человека «за бугром». Поэтому, мне кажется, «за бугром» должно побывать как можно больше людей, которые никогда не видели и потому не представляют себе, как хорошо можно устроить жизнь в своем Отечестве (*Куранты*, 1992); Лигачев *тянул на себя одеяло* генесека (*Куранты*, 1992); Инстинкт выживания, народная мудрость, культура нации и наций не дадут превратиться России в *лоскутное одеяло* карликовых государств (*Куранты*, 1991). Мы привели эти примеры, чтобы показать ту смысловую естественность, с которой эти

метафоры-идиомы вписываются в контекст, привнося в него многомерную и емкую информацию.

Безусловно, всем этим метафорам «предшествовал» номинативный замысел, имеющий прагматическую информацию. Этот процесс можно модельно представить на примере идиом *за бугром* и *тянуть одеяло на себя*: Заграница, даже полуткрытая, оставалась для «совков» чем-то непознанным, чем-то вроде «терра инкогнито», *как если бы это был мир, живущий за бугром, скрывавшим от глаза жизнь тамошних людей*. Чтобы все это отобразить, кем-то когда-то был выбран образ — как если бы это была жизнь, скрытая за бугром. В силу аналогии в новое значение вошли смыслы ‘в недосыгаемой загранице’, при этом образный гештальт еще живет, что видно из контекстов, где метафора несет информацию именно о недосыгаемости, но в то же время это «за бугром», а не «за железным занавесом», т.е. в принципе доступно, хотя и трудно достижимо.

Аналогичным образом можно рассуждать и о том, как могла сформироваться метафора-идиома *тянуть одеяло на себя*: исходный замысел — стараться взять себе как можно больше из «коллективных» полномочий власти и т.п., т.е. *как если бы тянуть* (общее супружеское) *одеяло на себя*, следовательно — ‘стараться использовать какое-то общее дело в личных интересах (в данном примере — руководство партий), и то, что при этом нарушается норма поведения в общем деле, — «плохо», а тот образ, которым это стремление представлено, вызывает неодобрительное чувство-отношение’. Еще пример: при исходном номинативном замысле ‘повысить требования, предполагая возможность их выполнения’ выбор образа — *как если бы повысить планку* (спортсмена, прыгающего в высоту) фиксирует в этой метафоре признаки ‘пробуждать к достижению высоты’, следовательно — ‘повышая требования, побуждать к реализации заложенных возможностей’.

Слушающий всегда воспринимает образ в том объеме знаний, который можно назвать ситуативным фреймом, подключая к этим знаниям знания о «буквальном» прочтении образа, он создает для него новый фрейм, разгадывая метафору. Для наших примеров эту процедуру можно представить следующим образом: *за бугром* — жизнь в нашей стране не то, что жизнь за бугром, следовательно — где-то в труднодоступной для нас стране — в капиталистических странах (как известно, страны Восточной Европы не назывались «за бугром»); *тянуть одеяло на себя* — Лигачев (известно, что он был «правой рукой» Горбачева по партии) тянет на себя одеяло генсека, но поскольку известно, что речь идет не о лежании под одним одеялом, делается вывод о том, что он использует общее дело в своих личных (следовательно —

корыстных) интересах; *поднимать планку* — заставлять совершенствоваться, поднимая планку (не в спортивных состязаниях), следовательно — побуждать к реализации заложенных возможностей и т.п.

Естественно, контекст приспособабливает смыслы к несомой им информации, актуализируя или редуцируя информацию, несомой значением идиом. Без осознания принципа фиктивности мир выглядел бы так же «кошмарно», как он изображен на полотнах Босха. Ср. в этой связи выражения типа *залезть в бутылку, согнуть в бараний рог или в три погибели, крыша поехала, вешать собак* (на кого-л.), *на всех парах* — в приложении к человеку.

Таким образом, особенностью и отличительным признаком метафоры, делающим ее средством создания языковой картины мира, является принцип фиктивности, действующий в ней вкупе с антропометричностью, которая столь характерна для осознания человеком себя мерой всех вещей. Именно эти свойства позволяют совмещать в метафоре сущности разных логических порядков и онтологически гетерогенных.

Особое внимание хотелось бы обратить на обязательное наличие в процессах метафоризации некоторой важной для субъекта речи «чисто» номинативной или номинативно-прагматической интенции. Всякая речь начинается с интенции ее субъекта. Однако тот, кто создает метафору, идет на преодоление автоматизма в выборе средств из числа уже готовых. Намеренная затрата речевых усилий всегда на что-то нацелена. В случае метафоризации, особенно — идиоμοобразования, имеет место достижение какой-либо речевой задачи, которая имплицитно три целеполагающих по своему характеру компонента: мотив, цель и тактику, вместе подготавливающих иллокутивный эффект высказывания, содержащего метафору.

По этой причине основанием для классификации метафор могут служить не только коммуникативно-функциональные их свойства (см. [Арутюнова 1976]), но и типы интенций субъекта метафоры, которые приводят в действие разные механизмы метафоризации и различные аспекты антропометричности, равно как и различную судьбу в развитии метафоры модуса фиктивности. Поскольку в основе предлагаемой ниже классификации лежит мотив метафоризации как плод номинативной интенции ее творца и преобразуемый в соответствии с этим замыслом модус фиктивности, ее можно назвать **ф у н к ц и о н а л ь - н о - н о м и н а т и в н о й**. Эта классификация содержит сведения о соотношении в метафоре целеполагающего замысла ее творца и отображения в соответствии с этим замыслом действительности.

Для метафоры характерны промежуточные и переходные случаи,

образующиеся в ходе развития языка как естественно сложившейся и непрерывно функционирующей знаковой системы. И поскольку метафора — это и есть наиболее продуктивное средство приспособления языка к все время видоизменяющемуся отображению мира и миропониманию, то естественно, что здесь можно выделить только сферы доминанции той или иной из названных выше функций.

«Каждая метафора, — пишет М. Блэк, — это верхушка затопленной модели». В самом деле: в поверхностно-синтаксическом выражении метафоры дано только ее «буквальное значение», а смысловая интеракция разыгрывается на глубинно-семантическом уровне презентации метафорического процесса. Ниже мы предлагаем такую типологию метафор, которая отображает описание метафоризации и ее результатов с «верхушки», т.е. с явной их организации, а завершает более глубинными слоями этой структуризации, водоразделом между которыми служит то, что принято называть «внутренней формой».

И д е н т и ф и ц и р у ю щ а я, или индикативная, м е т а ф о р а порождает тот тип значения, который принято называть д е с к р и п т и в н ы м (конкретным, портретирующим и т.п.). Спецификой этого типа метафоры является сходство ее обозначаемого и того образа, который становится этимологической внутренней формой метафорического значения. М о д у с ф и к т и в н о с т и в и д е н т и ф и ц и р у ю щ е й м е т а ф о р е, нацеленной на «жесткую десигнацию», р е д у ц и р у е т с я: здесь подобие основано на реальном сходстве, поэтому достаточно элементарной операции сравнения (с его модусом *как*), чтобы сориентировать восприятие на отождествление и синтез основного объекта метафоры и его образно-ассоциативного комплекса и на отсылку к чертам сходства по функции, форме, консистенции и т.п.

Идентифицирующая метафора и соответственно — такое же по функции метафорическое значение в вершине сохраняет только сравнительный как-модус, хотя в его исходе лежал характерный для всех метафор модус фиктивности.

Идентифицирующая метафора действует в сфере обозначения действительности, непосредственно воспринимаемой органами чувств, и пополняет идиомами в основном тот запас лексики, который обеспечивает наименование «натуральных объектов» и артефактов (предметов, сделанных человеком), предметно релятивизированных действий или чувств, качественных и динамических их признаков: *львиный зев, хлеб-соль, дать стрекача, мурашки по коже побежали, кровь с молоком, без году недели, до нитки (промокнуть), под рукой, не за горами* и т.п.

Значение идентифицирующей метафоры не есть продукт семанти-

ческого синтеза, приводящего к появлению нового объекта, но отображение свойств уже существующей реалии. Именно к этому типу метафорической номинации и подходит название процесса, обозначенного Аристотелем как «перенос названия» (или — менее удачно, — как «перенос значения»): здесь осуществляется наречение того, что имеет место в мире как сущее и ищет вербального выражения и закрепления последнего как имени, а не создание нового объекта в мире «Идеальное», дотоле не существующего.

Функция идентификации, связанная с «жесткими десигнаторами», не совмещается с субъективно ориентированными модусами по двум причинам: этот тип значения коммуникативно приспособлен к тому, чтобы служить средством указания на объект действительности, — с одной стороны, а с другой — он обеспечивает картирование мира как «объектно» данного. С этим связаны экспрессивная нейтральность значения и синтаксические запреты на реализацию в синтаксической позиции, предназначенной для предикации, а также угасание образно-ассоциативного комплекса (или основания внутренней формы) в идентифицирующих метафорах-идиомах.

В качестве примеров идентифицирующей метафоры можно привести ботанические обозначения — *пастушья сумка*, *львиный зев*, обозначения локации — *бок о бок* (стоять), *под боком* (жить), *под рукой* (находиться), *под носом* (находиться), *горячая точка* и т.п., обозначения временных отрезков — *во мгновение ока*, *с минуты на минуту* и т.д. и т.п. Нельзя не заметить, что и в этом случае метафора «начинается» с оперирования модусом фиктивности *как если бы*, а «завершается» она выводным знанием: следовательно — совсем рядом сбоку (*бок о бок*), в очень короткой временной отрезок (*во мгновение ока*) и т.п. При этом зн а ч е н и е и д и о м ы становятся это выводное зн а н и е, полученное на основе логических импликаций, что и обуславливает несовпадение, «суммы значений» исходного сочетания слов с метафорически сформированным значением. По этой причине совершенно неправомерно искать идиоматичное значение в переосмысленных значениях слов-компонентов: причиной переосмысления сочетания является номинативный замысел (в наших примерах — потребность в обозначении новой реалии), а результатом — выводное знание, полученное на основе допущения о фиктивности подобия и следствия из этого подобия, но верифицируемое указанием на новый объект обозначения.

Этот закон — формирование идиоматичного значения как выводного знания объясняет и природу идиоматичности: слова-компоненты переосмысляемого

сочетания «отрываются» от своей области референции и переключаются на новую референтную отнесенность не за счет значения сочетания слов, а отталкиваясь от этого значения, которое, включаясь путем выводного знания в новый фрейм, не имеет со своим источником ничего общего, кроме мотивации. Но и это последняя восстанавливается не покомпонентно, а также посредством выводного знания: *бок а бок* — следовательно, как бы касаясь боками, *во мгновение ока* — следовательно, как бы за период равный одному действию «мигнуть» и т.п.

Метафора способна создавать и новые концепты в области обозначения «непредметной» действительности. Такую метафору можно считать гипотетико-когнитивной моделью, имея в виду ее основную функцию — создание новых концептов.

К о н ц е п т у а л ь н а я м е т а ф о р а приводит к формированию абстрактного значения [Опарина 1988, 66]. Изначально полный модус фиктивности и здесь создает предпосылки для установления того подобия между обозначаемыми и буквальным значением используемого имени, с которого и начинается процесс метафоризации. Этот постулат афористично сформулирован Н. Гудменом: «Не метафора приводит к подобию, а подобие приводит к метафоре» (цит. по: [Галинская 1983, 43]). Однако с этим утверждением вряд ли можно согласиться, если иметь в виду тот факт, что метафора подмечает подобие, что она всегда предполагает допущение относительно тождества применительно к таким гетерогенным объектам, как непредметные и предметные сущности, от которых производится новые концепты.

Если в идентифицирующей метафоре модус фиктивности редуцируется в ее продукте до выявляемого на образно-ассоциативном уровне сравнения (*нос корабля* — как нос человека и т.п.), то в концептуальной метафоре этот модус, сыграв свою синтезирующую роль, стремится к аннигиляции. Принцип фиктивности, лежащий в основе такой метафоры, мешает значению имени выполнять собственно номинативную функцию, поэтому живой образ в таком наименовании стирается, а значение имеет тенденцию к генерализации (см. [Арутюнова 1976]).

В качестве примеров такой концептуальной метафоры можно привести идиомы типа *приходить на ум <в голову>*, *крутится <вертится, сидит> в голове*, для которых опорным наименованием является слова мысль, идея, решение и т.п. Кроме того, к этому же типу можно отнести идиомы типа *не чета, знать себе цену, в глазах* (чьих), *в глаза* (т.е. прямо, неллицеприятно), *горькая чаша, заглянуть в* (чью-л.) *душу, идти на лад, задавать тон* и т.д. и т.п., а также *на равной ноге, не от мира сего* и т.п. Закон формирования для них тот же, что и для идентифицирующей метафоры. Но в отличие от первой, концептуальная

метафора создает новый «идеальный» объект, а вместе с ним — заполняет лакуны в номинативном инвентаре. Например, *знать себе цену* — не то же самое, что *ценить себя*, но включает в себя рефлексию личности над собственным «Я»; *не от мира сего* — не просто странный человек, но скорее — живущий более высокими ценностями, нежели «житейские».

Концептуальная метафора не экспрессивна: она относится к миру «интеллигибиллов», по выражению К. Поппера [1983, 439—492]. Но поскольку идиомы — это прежде всего прагматически ориентированные знаки, концептуальная метафора — непродуктивный (хотя и достаточно распространенный) способ наименования: образ мешает формированию абстрактного значения, заземляет его. Так, идиомы типа *отправится к праотцам*, *отойти в мир иной*, *испустить дух* и т.п. явно нагружены «идеологически» — все они обозначают христианский исход жизни, однако знание того, что *отойти в мир иной*, следовательно — умереть «кончиною мирною, христианскою», переходит в культурно-национальную коннотацию, а сама идиома обозначает «умереть» и употребляется в книжном «регистре» речи.

Идентифицирующая и концептуальная метафоры — это два базовых типа, а третьим можно считать образную метафору. На ее почве образуются оценочная и оценочно-экспрессивная метафоры.

При описании образной метафоры, следуя все тому же постулату о том, что результат метафоры — это «верхушка затопленной модели», необходимо было бы дать определение образного значения. Однако такое значение лишено таксономически определенных черт, так как оно всегда производное от контекста его окказионального употребления.

Чтобы раскрыть причину этого явления, обратимся к рассмотрению вершинной для метафоры этого типа функции — образно-эстетической. Под последней обычно понимается нацеленность на такое художественное воздействие на реципиента, которое вызывает в нем ценностное отношение к миру, определяемое в диапазоне категорий прекрасного или безобразного¹. Из этого определения вытекает, что образно-ассоциативный комплекс метафоры и ее эстетически-образный эффект не совпадают: хотя первый предстает как мотив создания второго. Всякая метафора проходит через стадию образности (о чем свидетельствует «изначальная» приложимость принципа фиктивности к любому

¹ Вполне отдавая себе отчет в том, что это рабочее определение — лишь попытка ограничить эстетическое воздействие от оценочно-интеллектуального и оценочно-экспрессивного, мы хотели бы отметить, что проблема эстетической функции языка остается наименее разработанной: это функция даже не выделена ни в

процессу метафоризации), но образно-ассоциативный комплекс, сыграв роль фильтра, может обрести статус художественного изображения мира — его инобытия, но может уйти и во внутреннюю форму языкового средства.

В первом случае образная метафора — это способ создания образа мира (обычно — в том или ином авторском мировидении), как, например, в известном стихотворении Б. Пастернака «Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, Раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, Но полностью все деревья, Как парусников кузова...», где раскачиваемые ветром сосны уподобляются внутреннему состоянию субъекта и качающимся мачтам кораблей в бухте. Подобие осознается как тождество, но в поэтическом мире, и постижение этой метафоры создает психологическое напряжение, снятие которого вызывает катарсис.

Образно-поэтическая метафора всегда диафора: в ней осознается двуплановость, через которую и «просвечивает» красота (или безобразия). Образная метафора выдает воображаемое за действительное. Она не оценивает, но рисует, поэтому такая метафора тестуально беспредельна — она должна создать инобытие мира. Именно поэтому такая метафора не членит мир, а скорее — синтезирует его. И в этом причина, того что она редко входит в номинативный инвентарь языка.

Если же образ, служащий вспомогательным средством метафоры, используется в номинативных целях, то он переходит во внутреннюю форму, становясь способом организации значения с одной стороны, а с другой — редуцируясь, выступает как образная гештальт-структура. Под последней понимается воображимый или представимый прототип, в котором редуцированы черты не вопещдые в подобие, но актуализированы — вопещдые.

Такой концепт, как образная гештальт-структура, еще не получил ни в лингвистике, ни в других науках когнитивного цикла не только общепринятого определения, но и вообще еще не освоен как инструмент концептуального аппарата этих наук. А между тем есть все основания полагать, что эта сущность осознается как таковая носителями языка, когда они используют образно мотивированные наименования — не только фразеологизмы, но и слова (типа *медведь*, *пень* — о человеке, *тащиться*, *геройствовать* и т.п.). Но в этой неосвоенности нет ничего удивительного: предметом лингвологического и концептуального

энциклопедии «Русский язык» (М., 1979), ни в «Философском энциклопедическом словаре» (М., 1983) (о содержании этой функции применительно к поэтическому языку писали Р. Якобсон, Г.Г. Шпет, Д.А. Лихачев, В.П. Григорьев, Е.А. Некрасова и др.)

анализа является в основном абстрактная лексика. В работах А. Вежицкой, где содержится попытка описания рефлексии и над образно мотивированными наименованиями, эта рефлексия также описывается через эпистемический оператор в его модальной форме «Я знаю и ты знаешь, что...» [1980].

Материал же фразеологии показывает, что в идиомах действует и проявляется, наряду с гештальт-структурой, катеризующей обозначаемые реалии в типовой образ, еще и такая гештальт-структура, которая также категоризует, но уже образ-подобие. Эта образная гештальт-структура «подгоняет» образ-подобие под экстенционал типового образа, но не сливается с ним воедино, а отдает ему часть своих признаков, необходимых для концептуализации. Она продолжает хранить память о вспомогательном прототипе метафоры — иногда «свежую», а часто — уже утратившую четкость. В доказательство этого положения, которое нуждается не столько в аргументах, сколько в экспериментальных данных, приведем данные, которые можно считать лингвистическим экспериментом, как его понимал Л.В. Щерба.

Выше уже не раз приводились идиомы с образно-мотивированным значением на военную тему: *уйти в окопы, выйти <вылезти, вылезать> из окопов, идти в атаку, держать оборону* и т.п. Если учесть, что весь период перестройки и последующий период — это время противостояния разных политических сил, а в основном — партократии и демократии, то понятно что базовая (по Лакоффу-Джонсону [1987]) метафора «война» должна была «просвечивать» через новые идиомы, посвященные теме этой политической борьбы. Это первое.

Второе, метафора еще живет, а потому ее образ радирует в текст, создавая себе поддержку и обретая тем самым текстообразующую функцию: *Из окопов сегодня вышли* не рядовые члены (подразумевается — КПСС), а функционеры. Рядовые никогда *из окопов и не вылезали*. В тридцатые, вобрав головы в плечи (т.е. стремясь избежать удара — В.Т.), они *отсиживались по закуткам*, вздрагивая при каждом шорохе за дверью (*Куранты, 1991*). Если эта националистическая паранойя не кончится, то армия, которую просто рвутся расчлениить на куски, в конце концов «выйдет из окопов» (*Куранты, 1991*), где речь идет об армии как политической силе; *Народ пошел в атаку*: дескать, если вы преднамеренно ее *из строя выведете* или, паче чаяния, пожарчик нам устройте, будем защищаться (*Куранты, 1992*); Но все дело в том, что фундамент закладывал именно союзный Центр, отлично понимая, что это — *мина замедленного действия* для развала России (*Куранты, 1992*) и т.п. В этих примерах ясно прослеживается роль образной гештальт-структуры.

Итак, идиомы образуются как образно-мотивированные номинации, однако образный гештальт в этом случае — не «конечный продукт» метафоры, а в большинстве случаев — средство для создания психологического напряжения, выход из которого — отклик на образный гештальт как на стимул для эмоционального переживания того, что обозначено идиомой: если обозначаемое подобно тому, что «изображает» или описывает как подобие образный гештальт, то это обозначаемое воспринимается и эмоционально переживается в сфере чувств-отношений (в диапазоне положительного или отрицательного спектра этих чувств).

Образная гештальт-структура может «работать» не на сферу чувств, а на оценочную квалификацию. Обычно это характерно для идентифицирующего типа метафоризации или для тех случаев, когда образная метафора «стирается» и уже не создает психологического напряжения. Иными словами, если в идентифицирующей метафоре мотив умирает, в концептуальной он имеет тенденцию к стиранию, в образной он служит средством воссоздания живого представления об обозначаемом как его инобытии, то в оценочной метафоре мотив, или образная внутренняя форма, выполняет роль катализатора оценочной реакции. Все изложенное — скорее гипотеза, чем вывод, основанный на проверке фактов, так как исследований, специально посвященных оценочной метафоре, нам неизвестно (кроме работ Е.М.Вольф [1978], [см. также [Телия 1988]).

Оценочная метафора, изначально образная, развивается в языке, как и концептуальная метафора, утрачивая образность: она должна избавиться от психологического напряжения, чтобы не отвлекать внимание реципиента на мотивирующий образ, поскольку он чаще всего бывает несущественным для подлинного основания оценки. Идиомы *знать себе цену, в глаза, за глаза, не за горами, под рукой* и т.п. обозначают класс оцениваемых объектов как «хороших» или «плохих» (больше/меньше нормы). Оценка без образа и без экспрессивности — таково конечное содержание оценочной метафоры, ср., например: *на всех парах <парусах>, золотое дно, вавилонское столпотворение, зарубить себе на носу, держаться на плаву, до костей* (промерзнуть) и т.п.

Эмотивно окрашенная метафора обладает наиболее сложным построением. Все, что характерно для архитектоники оценочной метафоры, включается и в оценочно-экспрессивную, но при этом модус фиктивности сохраняется в ней во всей своей полноте — *как если бы*. Внутренняя же форма, вызывающая оценку, и возможно,

эстетическую значимость, не имеет столь явной тенденции к аннигиляции (разве что ее стирает время и обычность образно-ассоциативного комплекса для носителей языка, как например: *бить баклуши, лезть <переть> на рожон, благим матом* и т.п.). Но к указанным модусам здесь присоединяется еще и модус эмотивности. Под эмотивностью мы, вслед за В.И.Шаховским [1987], понимаем «лингвистическое выражение эмоций» с тем существенным добавлением, что «местом» для этого в семантике значения слова является коннотация (а в тексте — подтекст). Коннотация как целое — это тот «совокупный» аспект значения, который включает в себя, наряду с оценкой, образно-ассоциативный комплекс, переходящий во внутреннюю форму, эмотивную модальность и стилистическую маркированность (подробнее о коннотации как особом аспекте значения см. [Телия 1986]).

Вершиной оценочно-экспрессивной метафоры является эмотивная модальность, но она возникает благодаря тому, что сохраняется образ, а этот последний осознается потому, что «изначальный» модус фиктивности сохраняется в этой метафоре во всей полноте формы *как если бы*. Для того, чтобы сохранить эффект психологического напряжения, вызывающий, в свою очередь, эмоциональное воздействие на реципиента, необходимо удерживать метафору в диафорическом состоянии, т.е. ее образно-ассоциативный комплекс должен осознаваться как живой, что и обеспечивается модусом *как если бы* (X был подобен Y-у (по признакам Zi...j)). Такое семантическое состояние характеризует не только процесс метафоризации, но и его продукт — эмотивно окрашенное значение идиом.

Это значение, отображая действительность и содержа образный гештальт, выражает эмоциональное отношение к обозначаемому, соотносимое с чувствами-отношениями типа презрение, пренебрежение, стремление к уничтожению кого-л., желание выразить порицание или, наоборот, — одобрение, восхищение и т.п. Реализация такой гаммы чувств-отношений, задаваемой в диапазоне эмоционально окрашенного одобрения/неодобрения, теснейшим образом связана с тем фоновым знанием, которое позволяет говорящему брать на себя или присваивать себе приоритетную роль в некоторой жизненной коллизии, считая объект чувства-отношения в чем-то неполноценным, несовершенным и т.п. Ср. типичные для текстов, содержащих эмотивно окрашенные значения слов и выражений, реплики — Ну и тряпка же ты — *с пренебрежением* сказал он; Да он не лыком шит, — *с одобрением* сказал Петя и т.п. Разгадка этих ролей в тексте возможна на основе знаний его пресуппозиций.

• В эмотивной, или оценочно-экспрессивной, метафоре, подобие так-

же преобладает над тождеством, как и в оценочной, что онтологически закономерно: основной объект метафоры — то, что есть в мире (некоторое свойство или положение дел), а вспомогательный комплекс, представленный «буквальным содержанием», — это образная гештальт-структура, т.е. совокупность ассоциативно-образных черт, вошедших в подобие и сфокусированных в метафоре. Этот комплекс может восприниматься как прототип некоторого свойства (*стреляный воробей, длинный язык* и т.п.) или ситуации (к примеру: *идти нога в ногу, каша во рту, с глазу на глаз* и т.п.). Заметим, кстати, что обычно такого рода прототип обретает статус «квазиэталона» или «квазистереотипа» благодаря тому, что обретает культурно-национальную коннотацию (о чем подробнее см. ниже).

В указанном соположении не только гетерогенных «по природе» сущностей (абстрактного и конкретного) но, к тому же, и такого их подобия, которое создается за счет свойств квазиэталона или квазистереотипа, реальное тождество не может иметь места. Именно по этой причине эмотивная метафора, как правило, не преобразуется в чисто оценочное значение даже при угасании образа, хотя и такое развитие возможно (как это имеет место в значении идиом *не чета, благим матом, под носом, взять быка за рога* и т.п.).

Выше образно-мотивированная эмотивная метафора была названа экспрессивно окрашенной. Такая терминологическая синонимия обусловлена тем, что эмотивность — это следствие образного восприятия идиомы: *X* такой, как если бы *X* был *Y*-ом, что и служит стимулом для эмоционального переживания, принадлежащего сфере субъекта восприятия (говорящего или слушающего). Однако, как общее правило, образное основание метафоры служит и категоризирующим фактором, внося в денотативный аспект значения свои коррективы (о чем уже упоминалось выше). Ср., например: *много* — о деньгах (что в норме «хорошо») и *денег куры не клюют*, т.е. чрезмерно много, как если бы их (даже) *куры не клевали* (подразумевается — пересыщенность), и это вызывает положительную эмоциональную реакцию, выражаемую в чувстве одобрения такого положения дел, где дважды выражено отношение субъекта к количеству — оценочное и эмотивное; ср. также *вешать лапшу на уши* — нагло вводить в заблуждение, и это плохо, и то, что *X* ведет себя по отношению к *Y*-у так бесцеремонно, как если бы *вешал лапшу на уши Y-у*, вызывает у говорящего/слушающего неодобрение *X*-а (но если говорящий/слушающий «на стороне» *X*-а, то пренебрежение к *Y*-у), где со всей очевидностью представлены два типа модальности — оценочная и эмотивная, слияние которых и создает эффект резонанса — «усиливается» сигнал отно-

шения субъекта к обозначаемому. Этот «суммарный» эффект мы и называем экспрессивностью (подробнее см. [Телия 1991].

Итак, идиомообразование в его типовом проявлении можно представить как такой процесс метафоризации, который синтезирует в себе выводное знание о денотате (никогда не вытекающее из значения слов-компонентов переосмысляемого сочетания слов, но из знаний о свойствах обозначаемого), ценностную его квалификацию (которая представляет собой погруженное в контекст мнения оценочное суждение о свойствах обозначаемого, т.е. также представляют собой выводное знание о ценности для субъекта этого суждения), восприятие образной гештальт-структуры — изобразительное или умозрительное, служащее стимулом для положительного или отрицательного эмоционального отношения, переживаемого в форме чувства-отношения к тому подобию, через призму которого воспринимается обозначаемое (денотат), а также задает на основе «тональности» образного подобия осознание того, в каких социально значимых условиях речи может употребляться идиома.

Процесс идиомообразования, таким образом, уже в самом номинативном цикле предопределяет знаковую организацию идиом и их знаковую функцию. В идиоме обозначаемая реалья, если идиома не обрела функцию идентификации, служит всего лишь «темой» для оценочной квалификации и эмоционального к нему отношения. А то, что типовое представление — итог категоризации двух фреймов, создает его диффузность, так как здесь важны не классообразующие признаки объекта обозначения и его четкие границы, а скорее — указание на принадлежность к специфическим членам класса. Эта специфика вносится образным основанием метафоры, подключение которого к структуре знаний об обозначаемом чаще всего приводит к увеличению «подробностей» в самом значении. Например, в приведенной выше идиоме *вешать лапшу на уши* обозначается такой обман, который сопровождается наглостью; в идиомах *бить баклуши*, *гонять собак* <ворон>, *плевать в потолок* — в каждой по-своему, показано не бездельничание, а занятие пустяками; в идиоме *палец в рот не клади* — не только ловкость и «хваткость», сколько умение использовать чью-либо оплошность в своих целях, в *стреляный воробей* обозначается не просто опытность X-а, но еще и то, что X — осторожен и хитер, что является итогом «горького опыта» и т.д.

Из этого можно сделать вывод о том, что идиомы как знаки в своем основном большинстве не приспособлены к функции обозначения объектов из мира «Действительное», поэтому их денотация диффузна, в

ней часто пересекаются признаки разных классов. В наших примерах — обман и бесцеремонность — в *вешать лапшу на уши*, безделье под видом бурной деятельности в *гонять собак* и т.п., ловкость сметливость в использовании чужих промахов — в *палец в рот не клади*, опытность, в которой превалирует осторожность, — в *стреляный воробей* и т.д. По этой причине из идиом невозможно составить текст с четким «денотативным пространством». В этом же мы усматриваем одну из главных особенностей идиомы-знака: они не называют, а квалифицируют внеязыковые объекты, поэтому обозначаемое в них категоризовано как классообразующий признак, служащий лишь «темой» для признака квалифицирующего, играющего роль «сказуемого» о свойствах объекта. Именно это «сказуемое» и фокусируется в типовом представлении об объекте — оно служит основанием оценки, его же актуализирует образная гештальт-структура, вызывая эмотивное к нему отношение.

Чтобы подтвердить сказанное достаточно еще раз вернуться к примерам. Идиома *прикусить язык* <язычок> обозначает достаточно сложную ситуацию. (1) Агэнс резко обрывает речь, но это — только тема. Она обеспечивает референцию к классу и к тому, что является следствием. Причиной или лучше — мотивом такого речевого поведения является (2) «внезапное» решение замолчать, чтобы не сказать чего-то лишнего, что может нанести ущерб самому агэнсу или каким-то лицам. И это информация и есть «сказуемое», квалифицирующее речевое поведение. Оценочное суждение (3) «и это принесет пользу агэнсу» относится ко всей амальгаме (1,2), но совершенно очевидно, что не к классеме «оборвать речь», а именно к тому, что она была прервана «внезапно», — следовательно, агэнс избежал нежелательного для него разглашения чего-то такого, что надо скрывать. Образная гештальт-структура (4) может быть, конечно, очень условно представлена как «прикусывание языка» уже готового к речевой артикуляции. И это, при знании (1,2) вызывает (5) положительную эмоциональную реакцию, выражаемую в одобрительном отношении ко всей идиоме в целом: данная идиома выбирается говорящим в том случае, если он одобрительно относится к обозначенной ситуации. Естественно, что данное образное основание, «намекающее» на (6) физиологические «подробности», блокирует употребление этой идиомы в нейтральном регистре речи, закрепляя ее за неформальными условиями общения: вряд ли уместно в официальной сфере общения или в публичном выступлении дать совет замолчать, используя данную идиому: *Прикуси(те) язык!*

Количество примеров можно было бы увеличить, но уже из приведенных выше становится очевидным, что особенность знаковой функ-

ции идиом, не способных к роли идентификации, связана прежде всего с тем, что

— идиомы не наделены классообразующей ролью: нет класса «придерживания языков», «вешания лапши на уши», «стреляных воробьев» и т.п.;

— обозначаемое идиом — квалификация классемы по какому-либо признаку, а не описание ее денотативного пространства, что обуславливает диффузность знаковой функции — указание на мир лишь для того, чтобы «приписать» признак обозначаемому;

— вследствие этого идиомы обладают, как общее правило, функцией предикации;

— приспособленность идиом к функции предикации обусловлена также наличием в их смысловой структуре оценочной и эмотивной модальности, которые «нагружают» идиому прагматически, что находит выражение в их экспрессивности;

— прагматическая функция идиом заключена в их иллокутивной силе, приводимой в действие образной гештальт-структурой: по существу они представляют собой «свертки» таких речевых актов, как одобрение, неодобрение, презрение, пренебрежение, унижение, порицание, осуждение и т.п.;

— идиомы — знаки для обиходно-бытовой наивной картины мира: в них отражен опыт народа, и они его воспроизводят, выступая в роли квазистереотипов и квазиэталонов народного миропонимания (отсюда — их неуместность за пределами наивной картины мира);

— идиомы — это своего рода микротексты, которые при включении их в состав высказывания вписываются в него по всем указанным параметрам — денотативному (референциальному), оценочному, мотивационному, эмотивному, стилистическому.

Таковы наиболее характерные особенности знаковой функции идиом, самым непосредственным образом связанные с их номинативной природой. Идиомы внутренне сложны, но вместе с тем несут объемную информацию; они внешне аномальны, но за счет этого обретают разноаспектную информационную «память»; выступая как текст в тексте, идиомы способствуют экономии языковых усилий. Чтобы убедиться в этом достаточно напомнить приведенный выше анализ идиомы *прикусить язык* и привнесение всей несомой ею информации в текст: — Что же это он против хозяина людей настраивает? — сказал Мешков смотрителю... — Ты... этого... ветрозвон! *Прикуси язык-то*, — проговорил солдат (К. Федин. *Первые радости*); Тут Иван Игнатъич заметил, что проговорился, и *закусил язык*. (А. Пушкин. *Капитанская дочка*).

Итак, особенностью идиом как знаков является прежде всего их

с и т у а т и в н о с т ь, которая вносит в текст свой «расклад» действующих сил — актантов, а также субъектов оценки и чувств-отношений (заметим, что одноименность последних как словарных помет с типами иллокутивных сил знаменательна: следует предположить их одинаковую природу). Подключаясь в ходе организации высказывания к терминалам соответствующего фрейма, структурно организующего знания о том, что сообщается в тексте, идиомы становятся либо терминалами текстового фрейма (типа *третий калач*, *золотое дно* и т.п.), в том числе — его сирконстантами (типа *без задних ног* — спать, *во мгновение ока* — сделать что-л., *у черта на куличках* — оказаться и т.п.), либо входят во фрейм как его части (*ломать голову*, *валять дурака*), привнося в него свое информационное поле (например, *третий калач* пресуппонирует прошлый опыт агенса, оценочное и эмотивное отношение; *к черту на кулички* — знание о том, что обозначаемое пространство — нереферентно; *ломать голову* — наличие проблемной ситуации и т.п.).

Именно этот признак ситуативности знаковой организации отличает идиомы от однословных оценочно-экспрессивных наименований типа *осел* (о человеке), *прохлаждаться* и т.п. В этих наименованиях, также лишенных классообразующей функции, но обладающих, как правило, оценочной модальностью и иллокутивной силой, соответствующей эмотивности, знаковая функция в принципе не отличается от той, какую выполняют идиомы. Но все идиомы ситуативны, а поэтому — полипризнаковы. В свое время Н.Д. Арутюнова писала о том, что предикатная лексика стремится к монопризнаковости. К ней же стремятся и экспрессивно окрашенные значения слов, а идиомы остаются полипризнаковыми, пока не стирается образное восприятие их «буквального значения». Можно сказать и иначе: идиомы «оснащены» подробностями, в то время как экспрессивно окрашенная лексика указывает, как правило, на один характерный признак. Ср., например, синонимический ряд [ССРЯ, 1, 1970, 45—46] (толкования значений наше. — В.Т.): *бездельничать* ‘вести праздный образ жизни, не заниматься полезным трудом’, *лентяйничать* ‘предаваться безделью, не предпринимать усилий для достижения результата в труде (говорится с пренебрежением, речевой стандарт)’, *лодырничать* — то же (говорится с пренебрежением, неформально), *лоботрясничать*, *бдлбесничать* — то же (говорится с презрением — обычно о молодежи, фамильярно), *баклушничать* ‘вести праздный образ жизни, занимаясь пустяками (говорится с пренебрежением, неформально)’ и синонимический ряд, приведенный в [СФСРЯ, 32] (толкования наши. — В.Т.): *бить баклуши* ‘бездельничать, занимаясь пустяками говорится с пренебрежением, неформально’, *валять*

дурака 'бездельничать, дурачиться, отлынивать от работы (говорится с пренебрежением, неформально)', *лежать на печи* <на печке> 'ничего не делать, предаваясь лени (говорится с пренебрежением, неформально)', *сидеть сложа руки* 'отлынивать от дела (говорится с неодобрением, речевой стандарт)', *плевать* <поплевывать> *в потолок* 'бездельничать, бессмысленно тратить время (говорится с пренебрежением, фамильярно)', *считать ворон* <галок> 'бездельничать, бесполезно растрачивая время и силы (говорится с пренебрежением, неформально)'; *считать* <ловить> *мух* 'бездельничать, праздно и бессмысленно проводя время (говорится с пренебрежением, неформально)'; *собак гонять* 'бездельничать, бессмысленно тратить энергию по пустякам (говорится с пренебрежением, неформально)'; *груши околачивать* 'бездельничать, заниматься чем-то, не требующим физических затрат (говорится с пренебрежением, неформально)'.

Из приведенных примеров видно, насколько беден оттенками лексический ряд синонимов, и как они тонко дифференцированы во фразеологизмах: здесь не столько важна классема «бездельничать», сколько то, как характеризуется и оценивается это праздное времяпрепровождение, что достигается за счет ситуативности самого образного основания идиом, а эмотивность самым непосредственным образом связана с эти образом — чувства-отношения неодобрения и пренебрежения относятся не к денотации, а к тому, как изображается откровенное безделье и соответственно — каким предстает тот, кто бездельник.

Все изложенное выше позволяет еще раз сделать вывод о том, что идиомы — не избыточные средства языка, а та его лексико-грамматическая периферия, которая с точки зрения прагматической нагруженности выступает как наиболее яркая и активная: в дисбалансе регулярности и нерегулярности победу в языке одерживает принцип языковой экономии «прагматических усилий», ибо в диалектическом единстве формы и содержания ведущим является все же содержание, т.е. способность знака обеспечивать информацию о мире — как внешнем для человека, так и внутреннем для него.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОМИНАТИВНО-ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИДИОМ И ОСОБЕННОСТИ ДЕНОТАТИВНОГО АСПЕКТА ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Как уже отмечалось выше, мы исходим из гипотезы о том, что между обозначаемыми языком сущностями из мира «Действительное» и их концептуальными «образами» в мире «Идеальное» должен иметь мес-

то изоморфизм, т.е. сущностные свойства внеязыковых реалий должны иметь свое модельное отображение в существенных признаках языковых наименований. Если бы в языке не соблюдалось такое изоморфное соответствие, то его единицы не могли бы выполнять знаковую функцию, а именно — вызывать через типовой образ референтную соотношенность, как проективное (по Витгенштейну) отношение знака к миру.

Доводами против высказанной гипотезы может служить только то, что мир по-разному членится и обозначается в разных языках. Однако это в значительной мере обусловлено сложившимся в данном языке его категориально-грамматическим строем. Безусловно, каждый язык по-своему отображает мир, но все же отображает его как изоморфный с точки зрения средств данного языка. Так, даже такой сложный случай, как эргатив, немыслимый для европейского «стандарта» мышления, может быть, более изоморфен миру, нежели номинативные конструкции, обозначающие «причину» (или, если угодно — подлинный агенс): грузинское «кацма мокла дзагли» — букв. человеком убило собаку означает, что собака убита, и это сделал человек: в эргативном строе акцент переносится на результат, а в языках номинативного строя — на агенса. Но в глубинной структуре это начальное событие изоморфно внеязыковой действительности. Поэтому независимо от строя языка, где возможно ожидать и расхождений в типовых образах, концептуальное содержание «поправляет дело».

В основу предлагаемой ниже схемы положена коммуникативно-функциональная классификация лексических значений, предложенная Н.Д.Арутюновой [1976]. Однако автор этой классификации исходил из способности слов выполнять ту или иную роль в составе высказывания, мы же предлагаем онтологизированную версию: эта способность заложена в самой знаковой природе фразеологизмов-идиом в процессах номинации. В этих процессах и формируется значение как информация, обеспечивающая взаимоотношение категоризации объектов в виде типового образа, его концептуального содержания, вбирающего в себя знания об этом объекте в «наивной» картине мира, которую мы предпочитаем квалифицировать как отражение обыденного знания о мире, включающего культурно-национальную специфику этого отражения, и референта как актуализируемого в ходе организации высказывания о мире типового представления и соответствующих ему структур знания — тех или иных концептуальных фреймов. Иными словами, мы исходим из способности идиом указывать на мир за счет отношения референции, актуализирующего типовое

представление и сопутствующее ему знание о его свойствах и диспозициональных связях. При этом предполагается, что роль в составе высказывания предопределяется способностью идиом выполнять в нем ту или иную функцию (которая в немалой степени может быть «смещена» за счет поверхностно-грамматических, т.е. собственно кодовых средств).

Нельзя не заметить, что предлагаемое основание классификации ближе к концепции В.Г.Гака, который считал, что значения слов как частичных знаков должны обладать способностью вписаться в номинативный аспект высказывания, которое выступает, по его мнению, как полный знак (см. подробнее [Гак 1967]).

Различие этих подходов проявляется и в том, в частности, что Н.Д.Арутюнова противопоставляет денотативно ориентированное значение (т.е. предметно ориентированную семантику, описывающую пространственно воспринимаемые внеязыковые объекты), и значения сигнификативно ориентированные (т.е. семантику, описывающую «непредметные» сущности) [Арутюнова 1976 и др. работы автора]. Это разведение значений соответствует в традиционных лингвистических штудиях разграничению конкретной и абстрактной лексики, а в лингвистических школах противопоставлению экстенциональных и интенциональных семантик (см. [Никитин 1983]). Мы же считаем, что в значениях есть макрокомпонент, соответствующий типовому (категориальному) представлению, развернутому на мир — к референту, и макрокомпоненты, обеспечивающие знание об объекте и соотносимые с миром «Идеальное», в том числе — знание о ценностных нормах бытия и практической (прагматической) ориентации в нем — как рациональной, так и связанной со сферой эмоционального реагирования.

Таким образом, в противопоставлении, которое было сформулировано А.А. Потемной как дихотомия «ближайшего» и «дальнейшего» значений и которое с современной точки зрения может быть квалифицировано как соотношение референтного определенного значения и концепта лексического значения, мы усматриваем пропуск одного необходимого звена, а именно — типового образа. Именно этот последний мы и называем денотатом, полагая что это облигаторный компонент любой номинации (кроме собственных имен и аффективов междометного типа). А то, что принято называть с и г н и ф и к т о м, — это вся информация о свойствах денотата, соотносимая с концептуальным содержанием, закрепленным за данным именем. Естественно, что третьим неизменным компонентом значения является категориально-грамматический. Тем самым выдвигается гипотеза о том, что сигнификат не может существовать без денотата, поскольку в любом типе номинации участву-

ет категоризация действительности, позволяющая языку (а точнее — его носителям) хранить в своей памяти не индивиды, а типовые представления о них, что подтверждается экспериментально психологами (хотя пока что на примерах зрительно и чувственно воспринимаемых объектов (см., например [Rosch 1978; Фрумкина 1988]).

В подтверждение выдвинутой т р и н а р н о й гипотезы значения достаточно привести ряд примеров. Так, слово *дружба* принадлежит к непредметным сущностям, а значение такого рода слов определяют в тех школах, которые используют термин «понятие», как предметно-логическое содержание, а в лингвологических — как абстрактное и потому — нереферентное. Но вряд ли возможно (при любом подходе) отрицать наличие у носителей языка типового представления о дружбе как о таком симметричном межличностном отношении, которое характеризуется знанием жизни друг друга в личностной сфере, эмоциональной расположенностью, умением одинаково понимать происходящее, готовностью прийти на помощь, частыми контактами (обычно — очными). Поправки на детскую дружбу, на дружбу ситуативную (*школьная, фронтовая* и т.п. *дружба*) определяются наряду с типовым образом концептом имени, задающим условия референции. Аналогичным образом может быть аргументировано наличие денотата и у таких абстрактных имен, как закон, совесть, правда, любовь и т.п.

Итак, в предлагаемой ниже классификации основанием служит денотативный аспект значения, а точнее (с точки зрения когнитивной парадигмы) — его категоризирующий макрокомпонент, соотносимый с типовым представлением и обеспечивающий модельную изоморфность значения тому, на что это значение способно указывать. Иными словами данная классификация имеет и д е о г р а ф и ч е с к у ю, или тематическую, ориентацию. Принципы такой классификации разрабатывались нами на базе функционально-параметрической модели значения в соавторстве с Д.О. Добровольским, М.Л. Ковшовой, Е.А. Рысевой, И.Г. Носенко и др. для целей создания Машинного фонда русских идиом (подробнее см. [Телия 1988; 1990; 1991; Добровольский 1988; 1990, а также [Макет словарной статьи... 1991]). При этом классификация строилась «снизу вверх» — от значения идиом к их полевой принадлежности: дескриптор → родовой дескриптор → имя поля. Это обусловлено тем, что дедукутивный подход — «сверху вниз» мог создать неадекватную реальному положению дел картину: идиомы, как уже отмечалось выше, это знаки со структурой микротекста, где номинативной интенции соответствует не обозначение мира как «конечная цель» номинативного процесса (к чему приспособлена нейтральная лексика), но, как во всяком тексте, включение и эмоционально-оценочно-

го отношения субъекта к обозначаемому. В идиомах само объективное (а точнее — объективированное) обозначаемое — только киль парусника, а образное содержание — наполняемые ветром эмоции паруса, поставленные на мачтах ценностной ориентации.

В какой мере сама идея поля приемлема для классификации языковых знаков? Как известно, эта идея неотступно преследует умы лингвистов, то вспыхивая, то затухая. Небезынтересно заметить в этой связи, что ее «вспышки» всегда связаны с обращением к проблеме соотношения мира и его языковой картины (или образа). Ниже мы приводим краткий обзор проблемы, изложенный в [Ермаков 1991], поскольку считаем этот обзор достаточно полным, а главное — отвечающим и нашим воззрениям.

Впервые идея поля была высказана Ипсеном в 1924 г.: «Отдельные слова никогда не стоят в языке обособленно, они объединены в смысловые группы (Bedeutungsgruppe).., в которых их предметно-смысловое содержание (gegenständlicher Sinngehalt) связано с другими смысловыми содержаниями [Ipsen 1924, 225] (цит. по:[Ермаков, 1991, 16].

В 1931 г. описание поля ума дал Й. Трир, что послужило основанием для всех полевых методик. Трир исходил из гумбольдтианской идеи о том, что «сумма всех слов — язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 1984, 304]. Трир полагал, что существует непрерывный мир выраженных в языке смыслов. Л.Вейсгербер впоследствии назвал это мир «промежуточным» (Zwischenwelt), который без остатка делится на смысловые области (Sinnbezirke), или понятийные комплексы (Begriffskomplexe), которым соответствуют словесные поля (Wortfeld, Wortzeichenfelder): «Словесное поле придается в качестве знаков более или менее закрытому понятийному комплексу, чье внутреннее деление описывает (darstellt) расчлененную структуру знакового поля, в виде которого оно и дано для членов языковой общности» [Тир 1931, 1] (цит. по: Ермаков 1991, 16). Трир до конца жизни приписывал полю онтологический статус, полагая, что вне поля слова лишены какого-либо значения и т.п. Л.Вейсгербер ввел понятия однослойного и многослойного полей в зависимости от выделяемых в них типов отношений и основного слова поля (в современной терминологии — «доминанты» [Караулов 1972, 59]. Но исходные позиции его концепции были практически теми же, что у Трира, и поэтому критика Трира относится и к нему.

В настоящее время констатируют, что, если отказаться от свойства непрерывности (Lückenlosigkeit), присутствия в сознании всего поля (Bewußtheit des Gesamtfeldes), «идеалистической» концепции значения (Inhaltskonstitution), иерархического порядка сверху донизу, то мысль

о парадигматической организации лексики бесспорна [Ермаков 1991, 17].

Имеется значительное количество полевых исследований: для самых различных уровней языка, включая грамматику А. Маторе, П. Гиро, Г. Мюллера, у нас — В. Адмони, А. Бондарко. «Принципиальное значение здесь имело то, от чего идти в построении поля — от лексики — снизу — вверх или от априорной логической схемы членения лексики — т.е. сверху — вниз» [Караулов 1976, 60].

Наиболее серьезное исследование семантического поля как категории в последние годы принадлежит Ю.Н. Караулову. В основе его лежит четыре типа оппозиций (нулевая, привативная, эквиполентная и дизъюнктивная, сведенных к различным типам синонимии, гипонимии и антонимии [1972, 61]. Автор предложил схему восхождения от минимальных семантических единиц до идеографической модели всей лексики: компонент толкования лексемы (семантический множитель); значение; слово; имя поля; множество имен полей, т.е. верхний уровень словаря [1976; 1972].

Главное достоинство этого исследования — увязывание понятие поля с более широким понятием картины мира: «Структура идеографического словаря фактически представляет собой совокупность семантических полей языка, составляет, особенно в своей инвариантной части, один из компонентов «картины мира», а именно — статический ее компонент... Основными элементами, составляющими «языковую» модель мира, являются семантические поля» [1976, 259, 271].

Мы полагаем, что понятие «семантическое поле» имеет и онтологическое основание: естественная логика языка заключена прежде всего в том, что она оперирует с естественной же для носителей языка таксономией, отражающей обиходно-бытовое сознание. И в этом ее сила: говорящие на данном языке категоризируют мир «Действительное» в мире «Идеальное» так, как это подсказывает практическая ориентация в мире. Экологический опыт народа может сместить, расширить или сузить те или иные языковлаемые фрагменты мира, но при всей бифукации такого рода мир распределяется на размытые множества, объединяющие в чем-то подобное по типовым представлениям. Поэтому в тематической классификации таксонами являются денотативные комплексы, отображающие внеязыковые объекты. Именно денотативный «блок» значения как его категоризирующее основание обеспечивает модельную изоморфность (в языковом сознании) тому, на что оно способно указывать.

В мире «Действительное» языковое сознание достаточно четко разводит объекты, характеризующиеся чувственно воспринимаемыми свой-

ствами, существующими в пространственных координатах, таких, как форма, размер, вес, цвет, консистенция — с одной стороны, а с другой — объекты, восприятие которых связано с осознанием их отвлеченности от свойств предметов или вещей. В свое время Аристотель разграничивал первые сущности (как *огонь*, например) и вторые сущности (*тепло*) [1936]. Дж. Милль, как известно, предложил назвать третий вид сущностей (типа *теплота*) коннотациями. Помимо сущностей, принято выделять и отношения. Отвлеченные и реляционные объекты воспринимаются как существующие во временных координатах (подробнее см. [Арутюнова 1976; Степанов 1981]). К ним относятся: количественные свойства, состояния, отношения, процессы, которые в самом общем виде принадлежат трем сферам мира «Действительное» — существующему (или гипотетическому, возможному) положению дел в этом мире, сфере человеческой психики и миру интеллигибиллов. Для всех этих объектов существенны такие параметры-классификаторы, как явление, событие (существующее в форме акционального действия, случая или факта), отношение, а также их признаки — динамические или статические (кваликативные).

Безусловно, эта параметризация не претендует на исчерпывающий характер, тем более, что мир континуален, а человеческое сознание воспринимает и отображает его дискретно. Отсюда — наличие в событийно-признаковой сфере таких имен, которые включают в себя и элементы идентификации (относительные прилагательные или их «следы» в качественных, типа *отцовский*, *красный* и т.п., физические акции, реляционный каркас которых включает в себя предметно ориентированные семы, типа *бежать*, *строить* и т.п.). Эти имена тяготеют к зоне «идентификации — с одной стороны, а с другой — как бы постоянное «раздвоение» обозначений человека — и как «общего» для него имени, и как имен, данных по его функции или отношению к другим лицам (типа *высокий человек*, *певец*, *брат* и т.п.). Однако наличие размытого пространства в классификации только подтверждает сейчас уже общепринятое мнение о том, что языковая таксономия оперирует размытыми множествами, что отвечает природе языка как естественно сложившейся и развивающейся во многом по своим собственным законам знаковой системы.

Наиболее четко выделяется тот тип значений идиом, который способен указывать на «натуральные объекты». Выше уже неоднократно приводились примеры такого рода наименований: *львиный зев*, *пастушья сумка*, *анютины глазки* и т.п. Именно к таким наименованиям подходит определение их значений как «твердых десигнаторов» (по Крипке). Помимо растительного и животного мира (наименования ко-

того в обиходно-бытовом языке крайне непродуктивны и бытуют по преимуществу в диалектах и в охотничье-профессиональных жаргонах), к и д е н т и ф и ц и р у ю щ и м по своим значениям наименованиям относятся и названия болезней (типа *антонов огонь*, *грудная жаба* и под.).

Функция этих номинаций — описать объект в его категориально-признаковых «терминах». Как уже отмечалось выше, образное основание в таких значениях выходит из игры, так как оно отвлекает от собственно идентификации, а часто — просто и мешает идентификации. По этой причине образное основание здесь — только способ выделить «бросающийся в глаза признак», который имеет тенденцию к переходу в эпитимон.

Столь же непродуктивны идиомы и в обозначении «вещей» — п р е д м е т о в, являющихся продуктом деятельности человека (артефактов). К такого рода наименованиям можно отнести идиомы типа *желтый дом*, *черное золото* (нефть) и т.п. Поскольку артефакты нагружены функционально, то и значения, указывающие на них, всегда имеют функциональную сему (типа предназначенный, служащий для...). Образная же номинация фиксирует, как общее правило, не функциональную предназначенность, а признак, положенный в основу наименования (обычно — случайный, как в *желтый дом* — по окраске стен больницы для душевнобольных).

Таким образом, массив значений таких идиом, которые обозначают предметные сущности, крайне беден. И это вполне закономерно: идиомы как полипризнаковые ситуативные знаки *sui generis* интерпретирующие через образное основание объекты из мира «Действительное», не приспособлены к жесткой десигнации — способности обладать «прямой» референцией.

Непродуктивно идиообразование и в сфере обозначения ф у н к ц и о н а л ь н ы х и м е н (типа устар. *запленных дел мастер* или заимствования *серый кардинал*, *белые воротнички*, *первая скрипка*), поскольку они также ориентированы на типовое представление, содержащее в себе информацию о предназначении объекта (лица или вещи) или их отношении к другим объектам. Ср.: В прессе, особенно большевистского уклона, вас называют *серым кардиналом*. С одной стороны, вы не выборное лицо, с другой — название поста у вас очень звучное..., а влияние на государственные дела, видимо, существенное (*Куранты*, 1992); ... документ, который я принес с собой, оказался, по словам чиновника, «филькиной грамотой» (*Аргументы и факты*, 1992).

Идиомы с р е л я ц и о н н ы м о с н о в а н и е м (типа *родная кровь*, *седьмая вода на киселе*, *свой брат* и под.) только по «теме»

относятся к данной сфере, а по знаковой функции — к предикации признака: — Смелей, папа. Он тебя любит. — Любит?... Но... за что? — Не знаю, папа... *Родная кровь* (А. Вампилов, *Старший сын*); Все к тетке — и проезжая шоферня, и *свой брат* колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уже протоптали (Ф. Абрамов, *Пелагея*).

Идиомы, обозначающие в р е м я, также непродуктивны, при этом все они скорее квалифицируют меру или интенсивность протекания времени, нежели его «объективное» течение (см. [Ермаков 1991]). Время, запечатленное в идиомах, — это часто соматически измеренные реакции (*во мгновение ока, и глазом не моргнул* и т.п.) или вневременные ситуации (типа *когда рак на горе свиснет, без году неделя* и т.д.), или ситуации эмпирически «измеренные» (*битый час, задним числом*), или же «времена», осмысленные на фоне мифологических или религиозных текстов (*во время оно, от Адама* и т.п.). Идиомы не измеряют время, но характеризуют его (ср. Она накрыла на стол *за несколько минут* и Она *во мгновение ока* накрыла на стол). По этому времени нельзя «сверить часы».

Обозначение идиомами м е р ы аналогично обозначению времени: здесь в фокусе оказывается не исчисление, но его квалификация на основе образного основания. Так, *с головы до ног <пят>, с хвостиком, полон рот* (забот, хлопот) — это «соматическая» мера; *за один присест, дальше ехать некуда, кот заплакал, хоть пруд пруди* и под. — ситуативная мера; собственно мерных по образному основанию идиом (типа *сердинка на половинку <середина на половину>*) немного. Все эти идиомы ориентированы на собственно антропометрическое измерение.

Непродуктивны идиомы, обозначающие м е с т о или м е с т о - р а с п о л о ж е н и е, которое должно быть идентифицировано по пространственным координатам, типа *горячая точка, белый свет, черная дыра* или *под носом, на край света, не за горами, в двух шагах* и под. Следует заметить, что идиомы, называющие месторасположение, образуют идеографический массив, насчитывающий около сорока единиц, и все они обозначают его относительно субъекта речи (ср. описание однословных пространственных наречий в [Яковлева 1994]), где выделены два класса — абсолютные и относительные оценки пространственной координации: *В горячей точке* Таджикистана — Душанбе после выходных дней наступило относительное затишье (Вечерняя Москва, 1992); — Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь *по белому свету*, как ... Он не подберет подходящего слова — как кто (В. Шукшин, *Космос...*); — За вами идти? Да *на край света*. Пинайте

меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю (*М. Булгаков, Собачье сердце*).

Следует заранее отметить, что в идиомах с пространственным значением типа *у черта на рогах* <*на куличках*>, *куда Макар телят не гонял* и под. типовое представление о пространственных координатах имеет диффузное значение, указывающее как на чрезмерную отдаленность, так и на неизвестность пространственных координат, что служит поводом для оценки, а образная гештальт-структура стимулирует неодобрительное отношение к такого рода локации. По этой причине пространственные наречия такого типа не идентифицируют, а квалифицируют локацию, обретая свойства оценочно-экспрессивного значения, предикцирующего признак, а не идентифицирующего месторасположение (см. ниже).

Мы уже упоминали о том, что идиомы не приспособлены служить общими именами, равно как и классификаторами по той простой причине, что образная мотивация, даже если она не стерлось, все же участвует в процессе номинации наградить денотат такими подробностями, которые по существу размывают четкое категориальное основание типового представления.

По другой причине идиомы достаточно редко называют физические действия и действия в пространстве: именно эти акции используются как основания метафоризации.

Даже при обозначении идиомами предметно ориентированных признаков, эти последние также являются только темой для квалификации. Так, значение идиомы *проливать кровь* — только пресуппонирует физическое воздействие, но несет информацию о его результате, не описывая самого действия; *свить гнездо* — ‘устроить прибежище’ тоже не описывает способа действия. То же самое можно сказать об идиомах *спускать на тормозах*, *заварить кашу* и т.п. Не описывают перемещения, а только указывают на его направление идиомы типа *повернуть оглобли*, *сматывать удочки* и т.п. Образ, лежащий в основе идиообразования, не только передает часть признаков в денотат, но и доминирует в нем. И наоборот, идиомы продуктивны в обозначении способов квалификации действия или перемещения (движения). Но эти квалификаторы (по терминологии Д.О. Добровольского [1990]), если они характеризуют физические признаки процесса или его актанта, также можно отнести к сфере, промежуточной между собственно идентифицирующими знаками и знаками, ориентированными на предикацию отвлеченного признака.

Например, *работать физически* или *делать что-л. можно до потери пульса*, *до седьмого* <*до кровавого*> *пота*, *бежать* — *высуня язык*, *на*

всех парах, сломя голову, как угорелый и под., где содержится указание на физические усилия (в данных примерах — их предел), писать — как курица лапой (т.е. нечетко, некрасиво), прочитывать — от корки до корки, перемещаться — галопом по Европам, ног под собой не чуя и т.п.

Однако большинство наречий, по своему буквальному значению как бы описывающих физические акции или перемещения квалифицируют признаки поведения (*кровь из носу, с легкой руки, не мытьем, так катаньем, в первых рядах, в хвосте, окольным путем, на лету, на ходу* и т.п.). В их значении доминируют интенсификация признака, а не описание способа (кроме идиом типа *в первых рядах, в хвосте*, характеризующих активность или пассивность агенса события, а не квалификацию какого-либо его признака).

Именно эта особенность идиомообразования — интерпретация действия или перемещения на основе образа создает условия для квалификации практически любого действия или перемещения как поведения, т.е. целеполагающей акции межличностного характера. Например, к сфере поведения относятся такие идиомы, как *носить на руках* 'вести себя по отношению к кому-л., заботливо, опекая от излишних хлопот', *брать на горло* 'вести себя так, чтобы заставить действовать кого-л. в своих интересах', *закрутить гайки* 'вести себя так, чтобы предельно ограничить свободу кого-л.', *перекладывать на чужие плечи* 'вести себя так, чтобы ответственность за дела нес кто-л. другой', *укорачивать руки* 'вести себя так, чтобы лишит кого-л. инициативы' и под. Во всех приведенных выше примерах в качестве «темы» выступают акции поведенческого типа, о чем свидетельствует классема 'вести себя', а в качестве «сказуемого» — проявление заботы (в *носить на руках*), насильственное принуждение (в *брать за горло*), «силовое» лишение свободы действий (в *закручивать гайки*), снятие с себя ответственности (в *перекладывать на чужие плечи*), лишение инициативы (в *укорачивать руки*).

Нельзя не заметить, что в денотативном аспекте значения этих идиом классема поведения детализируется, размывается за счет пересечения с признаками, относящимися к сферам социальной деятельности — опеки или воли агенса, направленной на ограничение действий пациенса. Это пересечение и создает ту д и ф ф у з н о с т ь з н а ч е н и я, которая характерна для денотативного его аспекта и которая является показателем ситуативности значения идиом. В самом деле, идиома *закручивать гайки*, к примеру, включается в два фрейма: активное результативное физическое действие (на что указывает «буквальное» значение), агенсом которого является лицо (как если бы кто-то закручивал гайки) — терминал того «буквального» фрейма, и сило-

вое лишение свободы действий другого типа (или лиц), которое является терминалом этого ситуативного фрейма, который «скрыт» за образной гештальт-структурой. Очевидно, что номинативный замысел здесь соответствует второму фрейму, а первый является метафорическим фильтром, пропускающим в типовой образ смысла 'прилагать усилия для достижения такого результата, чтобы объект, на который направлены эти усилия, не действовал самопроизвольно'. Взаимодействие этих двух фреймов и приводит к появлению нового смысла — более богатого, чем номинативный замысел, за счет добавок, внесенных «буквальным фреймом». Отсюда — невозможность для данной идиомы вступать в «свои собственные», соответствующие «буквальному» прочтению, связи типа *закрутить гайки за пять минут; *закрутить одну гайку и т.п. — с одной стороны, а с другой — появление таких агентов, как администрация, правительство и т.п., несовместимых с этим буквальным прочтением: *Администрация стремится закрутить гайки* и т.п.

Смена класса агента (агентов) с «физического лица» на лицо или социальную группу лиц также свидетельствует о диффузности значения. Ядро сферы поведения образуют такие идиомы, где классификаторы 'вести себя <держаться>' обогащаются за счет признаков, характеризующих поступки агента. Так, *подливать масла в огонь* — это 'вести себя так, чтобы «накалить» сложившуюся ситуацию' (как общее правило — конфликтную, хотя и не обязательно). Иными словами это — «подстрекательское» поведение, классификатором которого, в свою очередь, является событие, в котором агент активно, воздействует на кого-л. (или на ситуацию, в которой этот пациент является агентом). Ср. также идиомы *задирать нос, идти против течения, лезть на рожон, отбивать хлеб, плясать по чужую дудку* и т.п., которые обозначают поведенческие акции, «сказуемым» к которым выступают признаки! привнесенные в типовое представление события из образного основания: для *задирать нос* — это 'вести себя важно, заносчиво' (где пересекаются фреймы, поведение и характеристика лица), для *плясать под чужую дудку* — 'вести себя несамостоятельно, подчиняясь чьей-то воле' (где пересекаются фреймы поведения, и опять же свойства личности), для *лезть на рожон* — 'вести себя слишком смело, не сообразуясь с обстоятельствами' (где пересекаются фреймы поведения, риска и свойства лица — его недалёковидности). Отсюда — возможность отнести эту идиом к полю поведения и к полю свойств личности, так как в тексте может актуализироваться не следствие, а причина недалёковидности, как, например, в тексте А. Галича: Эй, горожане, прячьте жен, *Не лезьте сдуру на рожон!*

Тем самым, хотя поведение образует идеографическое поле, уже в зоне собственно событийной, далекой от предметной, образное основание работает на конкретизацию поведения, создавая бифуркацию значения. Можно утверждать, что среди идиом нет таких значений, которые описывали бы только межличностные отношения без их квалификации по способу (характеру, стилю и т.п.) поведения (ср., например, ожидание коварного поведения от того, кого называют *змея подколотная*, хитрого поведения от *стреляного воробья*, мудрого — от *тертого калача* и т.д.).

Небезынтересно отметить, что в сфере поведения идиомы как бы самодостаточны, поэтому в этой области мало наречий, способных характеризовать глаголы поведения. Впрочем, не исключено, что это связано и с тем, что, как уже отмечалось выше, «собственных» глаголов в этой сфере крайне мало (она пополняется за счет словообразования типа *лодырничать*, *подхалимничать* и под. и продуктивно за счет метафорического переосмысления основы: *попугайничать*, *подлизываться*, *лицедействовать* и т.п. (см. подробнее [Сандомирская 1991]). К этим наречиям можно отнести: (пристать) *как банный лист* вести себя, поступать *с оглядкой*, *с дальним прицелом* и т.п.

Значения этих и наречных идиом также бифуркационно, поскольку оно ситуативно распространяет фрейм поведения: пристать *как банный лист* — (вести себя) ‘назойливо и надоедливо’, держаться за что-либо *мертвой хваткой* — (вести себя так, чтобы) ‘стремиться не упустить власть над кем-либо (обладание чем-либо)’ и т.п.

К событийным же именам поведенческого типа можно отнести идиомы со значением, указывающим на какое-либо агентивное действие, в котором проявляются свойства характера, — психологические установки и т.п. Так, например, достаточно, многочисленную группу составляют идиомы, характеризующие в о л е в ы е а к ц и и (или наоборот), типа *брать быка за рога*, *брать в свои руки*, *бросить на чашу весов*, *ни мычать ни телиться*, *тянуть резину*, *спускать на тормозах* и под. В этой группе денотативный аспект значения также диффузен. Например: *брать за рога* — ‘вести себя решительно, проявляя напор и волю в достижении цели’; *бросать на чашу весов* — ‘вести себя решительно, используя все имеющиеся средства и возможности к достижению цели’ и под.

Периферию поля поведения образуют идиомы, обозначающие о б м а н (или, наоборот, — стремление установить правду) типа: *водить за нос*, *пускать пыль в глаза*, *вывести на чистую воду* и т.п. В этих идиомах классемой является ‘вводить в заблуждение’ (или наоборот — ‘выводить из заблуждения’), что предполагает наличие определенных

целей в межличностных отношениях. Так, *обвести вокруг пальца* — ‘вводить в заблуждение, прибегая к неосведомленности и простодушности пациента’, *пускать пыль в глаза* — ‘вводить в заблуждение, прибегая к эффектным приемам, чтобы скрыть реальное положение дел’ и т.п.

Ближе к центру поведенческих акций, «расположены» идиомы обозначающие *наказание*. Их денотативный аспект содержит пересечение этой классемы с активной физической деятельностью, типа: *намылить шею*, — ‘предпринимать физические и волевые усилия с целью наказания пациента’, *обломать рога* — ‘предпринимать крутые меры или решительные поступки с целью наказания пациента’, *стереть в порошок* — ‘предпринимать усилия для устранения пациента в качестве противостоящей силы с целью наказать пациента’ и т.п. В этой группе денотативный аспект значения также обнаруживает бифуркацию, связанную с ситуативным характером обозначаемого (ср. глаголы наказания типа *отругать, расправиться, покарать*, где к классеме добавляются «видовые» признаки: соответственно — ‘выразить в словесной форме недовольство поведением кого-л.’, ‘лишить возможности вести борьбу какой-то формой пресечения действий’, ‘строго наказать за содеянное’).

Таким образом, основная масса акциональных значений идиом, т.е. значений, указывающих на агентивное действие или воздействие, посвящена интерпретации деятельности, поведению, в том числе — наказанию и обману. При этом обман пересекается и с полем *речевых действий*, таких: например, как *заговаривать зубы, вешать лапшу на уши* (интерпретация речевого обмана) и т.п.

Основной массив этого поля — идиомы, которые описывают не само речевое действие (типа еле *ворочать языком, каша во рту, язык заплетается* и т.п.), а его интерпретации: *распускать язык, придержать язык, держать язык за зубами, язык без костей* и т.п. Например: *распускать язык* — ‘говорить лишнее, не сдерживая себя’, как правило, в грубой или неприемлемой для собеседника форме, где классема ‘говорить’ характеризуется способом поведения говорящего — ‘не сдерживая себя’, а также его пренебрежением к социальным условиям речи. Иными словами, здесь также имеет место бифуркация денотативного аспекта значения ср.: Матросы в отсутствие офицера *распустили языки* — все разом выражали свое недовольство; Ты что *язык-то распустила* — ни стыда ни совести нет, ведь вокруг чужие люди и т.п. (подробнее см. [Телия 1994]).

Среди идиом, обозначающих речевую деятельность, достаточно много таких, которые интерпретируют сам речевой акт: *молоть языком,*

чесать языком <языками>, болтать языком, нести ахинею <чушь, околесицу> и т.п. Нельзя не заметить, что в этой группе идиом сама категоризация основана на метонимическом фрейме (по Лакоффу, 1981), что придает им, в отличие от метафорических фреймов (типа *заговаривать зубы*), очень высокую степень мотивированности, а вместе с тем — и малую бифуркацию, из чего можно сделать вывод, что бифуркация типового представления связана, как общее правило, с метафорой (ср. в этой связи идиомы, обозначающие пространство, типа *под носом* и *у черта на рогах*).

Способность идиом интерпретировать речевые акты обусловлена тем, что образное основание не только передает в денотативный аспект способности «исполнения» речи, но еще и выступает в виде образного гештальта, который, собственно говоря, и стимулирует выражение отношения говорящего/слушающего к содержанию или способу речи ее агенса (который, в свою очередь, может преследовать ту или иную перлокутивную задачу, используя ту или иную иллокутивную силу). Так возникает «двойная прагматика» — прагматика самого речевого акта и прагматика его интерпретации (подробнее см. [Дорошенко 1985]). Обе эти прагматики могут быть отображены в идиоме. Например, можно представить себе такой диалог: — Ты бы *придержал язык за зубами!* — А что я сказал лишнего или оскорбительного (презрительного, пренебрежительного и т.п.)?

К событийным по категоризирующей классеме можно отнести идиомы, образующие поле деятельности и обозначающие такие его фрагменты, как опека, содействие, помощь, типа *держат под крылышком* кого-л., *тянут за уши* кого-л., *взваливать на свои плечи* что-л. и т.п. И в этих идиомах метафорический фрейм оставляет свой след в денотации: *держат под крылышком* — ‘излишне опекать, ограждать от неприятностей’, *тянут за уши* — ‘помогать, прилагая усилия, чтобы кто-л. достиг какой-то цели и т.д.’ и т.п.

Собственно с о б ы т и й н ы е з н а ч е н и я, такие, как *дым столбом*, *пыль коромыслом*, *сыр-бор разгорелся* и т.п. (соответственно ‘беспорядок, полная неразбериха, связанная с гульбой и т.п.’, ‘конфликт, связанный с какой-то спорной ситуацией’), крайне редки для идиом: последние, как уже отмечалось, не классифицируют, а квалифицируют, поэтому идиомы этого типа лишь отсылают к событийному прочтению имени, но не указывают на его конкретное содержание. Ср. также: *пуд соли съест*, *тюрьма плачет* по ком-л. *охота на ведьм* и т.п.

К значительному по своему составу идеографическому полю относятся идиомы, обозначающие ч у в с т в а, где можно выделить три

«группы» чувства-отношения, чувства-состояния и собственно эмоциональные состояния (аффективы).

Применительно к этим идиомам закон бифуркации денотативного аспекта значения остается в силе. Так, *чувства-отношения*, обозначаемые идиомами типа *портить кровь кому-л.*, *души не чаять* в ком-л., *наступить на любимую мозоль кому-л.*, *встречать в штыхы* кого-/что-л., *как с писаной торбой* (носиться) с кем-/чем-л.), *махнуть рукой* на кого-/что-л., *до лампочки* кто-/что-л., *гори синим пламенем* что-л. и т.п. содержат классему 'испытывать чувство к кому-/чему-л.', и уточняющие детали, принадлежащие метафорическому фрейму: *души не чаять* — 'испытывать чувство безрассудной и безграничной любви к кому-л.' и т.п.

Следует обратить внимание и на то, что палитра чувств-отношений, обозначаемых идиомами, крайне бедна. Но на это есть своя причина: для идиом важно не указать на сам характер чувства — его положительный/отрицательный спектр, активность/пассивность, долговременность/кратковременность, а описать еще и состояние души. Так, например, *наступить на любимую мозоль* — не только вызвать недовольство, но еще и раздражение, боль — как если бы кто-л. наступил на любимую мозоль кому-л. (ср. аналогичные по такого рода детализации идиомы: *затрагивать <задевать> за живое, хоть трава не расти* — 'испытывать чувство безразличия, отстраненности от происходящего', *до лампочки* — «наплевательское» безразличие и т.д.)

Чувства-состояния образуют очень разнообразную и обширную группу, их классемой является 'испытывать чувство-состояние', которое конкретизируется за счет метафорического фрейма или же — фрейма, имеющего символическое содержание: *быть на седьмом небе* — 'испытывать чувство неземного блаженства', *кусать себе локти* — 'испытывать чувство безвыходного раздражения', *сидит в печенках* (что/кто-л.), — 'испытывать чувство болезненного раздражения, недовольства' и т.п. Нельзя не заметить, что в денотативном аспекте, наряду с классемой, содержится привнесенные метафорическим фреймом «добавки». Таким образом, и в этой группе имеет место бифуркация.

Следует обратить особое внимание на денотативный аспект тех идиом, в которых метафорический фрейм либо включает символы (а точнее — квазисимволы) *сердце* и *душа*: *скрепя сердце*, *сердце рвется на части, с тяжелым* или же *легким сердцем <душой>*, *легко на сердце <на душе>*, *сердце <душа> болит* и т.п. В этих идиомах компонент *сердце* служит как бы адресом сферы чувств, а само чувство-состояние описывается тем фреймом, в котором *сердце* является этим «адресом»:

сердце рвется на части — ‘предельное болезненно тяжелое отрицательно-эмоциональное состояние’, *стало легко на сердце* — ‘наступило эмоциональное облегчение, радостное состояние’ и т.п.

Создается впечатление, что в сфере обозначение чувств-состояний идиомы выполняют функцию указания на признак в большей степени, чем на само чувство. Так, во всех идиомах, включающих компоненты *сердце* или *душа*, имеет место как бы общая «адресация» к сфере психики, локативами для которой в русской языковой картине мира как раз и являются эти наименования. Итак, бифуркация и здесь явно выражена в семантическом представлении идиом.

Что касается эмоциональных состояний — аффектов, то они составляют наиболее многочисленную группу, семантически плохо структурированную (что вообще характерно для аффективов, как справедливо считает В.И. Шаховский [1987]). Например, такие идиомы, как *Бог (Боже) ты мой(!)*, *Черт <дьявол, шут> меня возьми(!)* могут обозначать (безотносительно к различию их лексико-грамматического состава) как удивление, так и раздражение, а также восторг или восхищение и т.д. и т.п. Ср., например, выражение раздражения: — Думаешь, тепло? *Черта с два. Уже не топят...* Мы загнемся (*А. Вампилов, Старший сын*); выражение разочарования: *Нынче думала, сена навалило — заведу коровушку. Черта с два заведешь!* (*Ф. Абрамов, Вокруг да около*).

Следующую тематическую группу образуют идиомы, указывающие на интеллектуальные акции или состояния типа: *ловить <схватывать> на лету, голова <котелок> варит, набираться ума-разума*. Среди этих идиом большинство имеет аналитическое значение, сформировавшееся на основе метонимических обозначений *ум* → *голова* → *мозги* → *шарики*. Как раз такого типа идиомы создают промежуточную по своей структурно-семантической организации сферу: они иногда полностью (как в случаях типа *иметь хорошую голову, светлый ум, ясные мозги* и т.п.), а иногда с большей «долей» идиоматичности (как в случаях, вроде *голова <котелок> варит, голова садовая, пустая голова* и т.п.) могут включены и в класс фразеологических сочетаний слов. Осознание метонимичности указанных выше компонентов приближает их статус к номинативно опорным наименованиям (ср., например: *пришло на ум <в голову>* или *выскочить из ума <из головы>*), где ум выступает в значении ‘мысль’, на фоне которых другие компоненты воспринимаются как связанные значения (подробнее см. [Ковшова 1991]).

Такого рода аналитизм, тем не менее, как бы устраняет бифуркацию значения (ср. также идиомы типа *молоть языком* и под.), поскольку

здесь опорное наименование достаточно четко указывает на классему, а связанное с ним значение — на качественный или динамический признак, как общее правило — моносемный. Но и сами сочетания вряд ли можно считать «чистыми» идиомами.

Довольно малочисленную идеографическую группу образуют идиомы с классемой 'о т н о ш е н и е', типа *не чета, два сапога пара, знать цену* (кто, кому) и т.п. Малочисленность группы обусловлена, как представляется тем, что отношение, как наиболее абстрактная категория, не описывающая термины отношения, а лишь релятивизирующая их, не «предрасположено» к метафоризации (ср. межсобытийные предикаты типа *вызывать*, описанные в [Дюндик 1979], как общее правило, десемантизируются: *Дождь вызвал наводнение*). Однако даже в указанных выше идиомах метафорический фрейм оставляет свой заметный след. Так, *не чета* — это сопоставление по равнозначности: Ельцин *не чета* Хасбулатову: президент был избран всем народом, а Хасбулатов — только съездом (*Куранты, 1993*). По парности, и притом равнозначной, сопоставляются термины отношения в идиоме *два сапога пара*, что, в частности, блокирует высказывания типа: *Хороший муж и плохая жена — *два сапога пара* и т.п.

Идиомы этого типа образуют самый отвлеченный среди других идиом тип значения. Но даже при этом метафорический фрейм и здесь создает бифуркацию: *не чета* — это всегда непарность, а не просто несоответствие, отсюда запреты типа: **Врач не чета учителю* (если речь идет не о конкретно референтном употреблении); *два сапога пара* — это одинаковость по каким-то признакам, отсюда — симметричность терминов отношения по этому основанию: — Ну и я такой же горемыка! — отозвался Грязнов. — Выходит, *два сапога пара*. Гляди, и обрел я родную душу! (*Е. Федоров, Каменный пояс*).

Многочисленную тематическую группу образуют идиомы, обозначающие с в о й с т в а л и ц а, квалифицируемые по физическим параметрам (размер, вес, консистенция и т.п.), но никогда не в чистом виде, а с примесью, наследованной от метафорического фрейма, типа *коломенская верста, косая сажень в плечах, кровь с молоком* и т.п. И в этой группе бифуркация денотативного аспекта значения очевидна: *кровь с молоком* — не просто 'такой, кто внешне выглядит здоровым', но еще и 'привлекательный на вид'. Пожалуй, наиболее ярким примером бифуркации может служить идиома *от горшка два вершка*, которая во всех без исключения словарях описывается через классему размера — 'очень мал ростом'. Подлинное этимологическое основание метафорического фрейма уже забыто, а именно — в метафору вошло уподобление того, как отбирали в гвардию: кто подходил под горшок, укреплен-

ный на специальной, измеряющей рост доске, — того стригли «под горшок» и брали в гвардию, а кому недоставало роста до горшка — тот считался мал для этой службы [ОЭСРФ]. Однако квазиэталон *вершок* продолжает «работать» на метафорическое прочтение: идиома обозначает того, кто еще мал, но не обязательно по росту, но скорее — по возрасту. Но вместе с тем в идиоме присутствуют и смыслы проявляющий активность не по возрасту или опыту, о чем свидетельствует типовая для этой идиомы синтаксическая конструкция: *От горшка два вершка, а ...* (стремится сделать что-то, подает советы и т.п.). Следовательно, эта идиома имеет значение 'такой, который мал по росту и возрасту, неопытен, но проявляет активность', что, кстати, может служить примером сильной бифуркации. Напомним, что выше идиомы были определены как микротексты, в данном примере все условия этого имеют место: посылка + свойство → выводное знание и т.д. (т.е. оценка, эмотивность, стилистическая маркированность).

Приведенные примеры показывают, что идиомы, обозначающие свойства лица, пройдя через метафорический фрейм, «обречены» на бифуркацию денотативного аспекта значения. В данной работе не описывается значение идеографически выделенных групп идиом (такое описание предпринято в [СОВРЯ]), но небезынтересно все же проследить эту бифуркацию на типовых примерах разных тематических групп.

Помимо физических параметров, идиомы описывают и свойства характера (далее при толковании используются словарные статьи, написанные Е.А. Рысевой в [СОВРЯ]). Это обширная группа. При этом в описании этих свойств как бы заложена в потенции способность/неспособность к деятельности или к тому или иному «стилю поведения». Так, идиома *не трусливого [не робкого] десятка* прогнозирует достаточную смелость, идиома *ни рыба ни мясо* — неопределенность, «безликость» характера, *пороха не выдумает* — посредственность, неспособность к творчеству, *стреляный воробей* — это опытный, хитрый и изворотливый человек, *тертый калач* — бывалый и опытный и испытывавший многое человек и т.д. и т.п.

Заранее следует отметить, что эти добавки, соотносимые с метафорическим фреймом, как бы обязывают к оценке. И при этом ценность определяется во многих случаях эмпатией говорящего (о чем подробнее см. ниже). Бифуркация денотативного аспекта только способствует такой эмпатии. Ср. жесткую, абсолютную оценку, характерную для идиомы *не трусливого <робкого> десятка*, поскольку эта идиома содержит в себе компонент, одноименный с классемой (*не трусливый* — 'смелый'), и флуктуирующую, а тем самым — относительную оценку в идиомах типа *стреляный воробей* и т.п.

Что касается качественных свойств личности, выражаемых в функции обстоятельства, то они через глагол подключаются к именам предикатного типа. Например: *как назойливая муха*, где содержится и характеристика действия, и характеристика лица — назойливость; *как сонная муха* и т.п.; И вот я сидел, *как сыч*, в лодке и ждал (Ф. Абрамов, *Деревянные кони*); Живу один *как перст* — никому не нужен и т.п.

И наконец, последнее из выделяемых ними в первом приближении идеографических полей, — это характеристика лица по социальному положению — по бедности или богатству, по высокой/низкой иерархической ценности: *гол, как сокол, голь перекатная* (где видна близость к классеме), ср., однако — *ни кола ни двора*, где налицо бифуркация денотативного аспекта — ‘совсем не имеет имущества или не имеет собственного имущества’: Посадил он того продавца на десять лет за излишек и взятку по совокупности... Садился — жена у него оставалась, интересная баба. А вернулся — *ни кола ни двора*. И ни одной близкой души (А. Вампилов, *Прощание в июне*); Уверенно смотрит в будущее «ветеран» фермерского движения Валентин Дмитриев. За один лишь год он сумел «сбить» крепкое хозяйство. А у Михаила Куимова пока *ни кола ни двора*. Только трактор да десять гектаров земли. Не густо. (Куранты, 1992). Ср. также *важная птица* ‘значительный по социальному положению человек’, *шишка на ровном месте* ‘назначительный по социальному положению человек, выдающий себя за более значительное лицо’, *мелкая сошка* ‘совсем незначительный по социальному положению человек’: — Сколько здесь цветов — надо же... Хозяин дачи — важный человек? — Да, он — *важная птица* (А. Вампилов, *Прощание в июне*); Афонька теперь *не велика шишка*, не партийный секретарь, еще весной сняли (Ф. Абрамов, *Пелагея*); Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме, расправляясь с *мелкой сошкой* сочли ненужным (О. Волков, *Погружение во тьму*); В заметке «Как в греческом зале» я также упомянула фамилию директора Дома приемов Киреева. А спустя некоторое время убедилась, что тот был лишь *мелкой сошкой* в большой игре (Куранты, 1992).

Проблема выделения идеографических полей идиом оказывается, таким образом, затруднена бифуркацией денотативного аспекта значения, в котором могут пересекаться категориальный и метафорический фреймы, принадлежащие, как общее правило, к разным тематическим основаниям (как в *от горшка два вершка*). Категориальный фрейм может включаться в ту структуру знания, которая соотносится с метафорическим фреймом (*быть под каблуком* — ‘быть в полном подчинении

из-за безволия' и т.п.), наконец, категориальный фрейм включает в себя фрейм метафорический, — и это наиболее характерное отношение, создающее родо-видовые основания классификации (*тертый калач* — 'опытный, бывалый, испытавший многое').

Исследование всего корпуса идиом с целью описать формы категоризации денотативного аспекта — очередная задача фразеологии. Только на базе таких данных возможно более последовательно описать идеографическое пространство идиом. Однако можно с уверенностью сказать, что четких границ между полями не существует по той простой причине, что каждая идиома формировалась как знак не для функции обозначения, а для квалификации обозначаемого за счет метафорического (метонимического, символического и т.п.) фрейма. Это «сказуемое» идиом могло оказаться более действенным, нежели категориальное «подлежащее» (ср., например: *ждать у моря погоды*, где ожидание не отменяет надежды, как рукой сняло 'сразу прошло', но в пресуппозиции могут быть такие состояния, как боль, отрицательное или положительное эмоциональное состояние, что обязывает рассматривать эту монопризнаковую идиому как характеристику и физического состояния, и чувств).

Итак, анализ дескриптивного аспекта значения идиом с учетом их тематической ориентации показывает, что специфика этого аспекта значения (за редким исключением) заключается в такой его диффузности, которая является бифуркацией, т.е. способности указывать на разные с идеографической точки зрения элементы или фрагменты действительности, которые, совмещаясь в одном информационном блоке (т.е. синтезируя гетерогенное), обуславливают в той или иной мере «размытое» указание значением идиом на мир «Действительное». Возможность актуализации в тексте того или иного категориального «поля» обеспечивается тем, что значение — «самонастраивающаяся система» (если использовать термин синергетики). И эта система варьирует в зависимости от пресуппозиций речи/текста, от тональности сообщения и т.п. С этим, кстати, самым непосредственным образом связана категория вариантности идиом: для тождества необходимо сохранение типового представления в его динамическом взаимодействии с концептом идиомы. Именно с бифуркацией значения идиом связана их непродуктивность в позициях идентификации, физических акций, меры и, наоборот, продуктивность в тех сферах, где предцируются свойства, состояния, процессы (события), интерпретируемые через свойства лица. Можно считать, что идиомы — знаки антропометрические, то есть метафорический фрейм как часть значения в них всегда «соразмерен» свойствами человека.

ср. Антропометрические

Итак, когнитивные аспекты рассмотрения специфики денотативного блока значения идиом позволяют сделать несколько выводов, имеющих, как думается, нетривиальный характер:

— Значение идиом указывает на обозначаемое из мира «*Действительно*» благодаря соотнесению ассоциируемого объекта в мире «*Идеальное*» с именем типового представления и с концептом имени, что и обеспечивает условия референции идиом.

— Значение идиом является тем видом языковой компетенции, который связан с обиходно-бытовым знанием о мире.

— В значении идиом взаимодействуют по крайней мере две структуры знания — знания категоризирующие и знания «сценарные» (ситуативные); первые «упаковываются» в классифицирующий фрейм, а вторые — в ситуативный.

— Между обозначаемыми объектами из мира «*Действительное*» и указывающими на них значениями, принадлежащими языковой компетенции в мире «*Идеальное*», существует такой изоморфизм, что модельное отображение в языковом сознании сущностных свойств обозначаемых соответствует типовому о них представлению в сознании.

— Идиомы, являясь продуктом особого рода вторичной номинации, в процессах которой взаимодействуют две системы признаков — номинативный замысел (со всеми его интенциями), нацеленный, как общее правило, на категоризацию и квалификацию обозначаемого, и метафорическое средство его воплощения, фокусирующее в номинативном замысле признаки, которые соответствуют цели этого замысла, и вносящие свои специфические признаки.

— Взаимодействие двух этих систем, каждая из которых соотносится с разными типами знаний о мире, создает бифуркацию в значении идиом — пересечение в нем свойств разных классов, выделяемых в мире «*Действительное*», что обуславливает идеографическую диффузность этого значения — его категориально-тематическую «размытость».

— Специфика значения идиом проявляется и в их идеографической классификации: идиомы не описывают мир, а квалифицируют те или иные признаки обозначаемого, которое по этой причине выступает в значении в виде категориальной «темы», а «сказуемое» о ней принадлежит другому классу обозначаемых, знание о свойствах которого «задано» в метафорическом (реже — метонимическом или символически маркированном) основании.

— Основной массив идиом «сосредоточен» на характеристике свойств лица, на событиях, связанных с акциональными проявлениями этих свойств, на акциях поведенческого типа, на социальных

диспозициях лица, на ментальных состояниях и на чувствах; обозначение объектов, нуждающихся в четкой идентификации (предметы, вещи), лиц по роду их профессиональных занятий или обозначение через отношение к другим лицам (имена функциональные и реляционные), а также собственно физических состояний или акций крайне нехарактерно для идиом, хотя продуктивно обозначение качественных и количественных признаков физических акций и состояний, которые не идентифицируют, а квалифицируют их.

— Идиомы — знаки антропоцентрические по своей идеографической ориентации и антропометрические — по основаниям квалификации.

— Специфика денотативного содержания значения идиом показывает, что характер их знаковой функции не исчерпывается этим содержанием.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ХАРАКТЕР И КОГНИТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ АСПЕКТОВ В ЗНАЧЕНИИ ИДИОМ

Соотношение объективных и субъективных факторов в значении языковых единиц — одна из наиболее актуальных проблем современного языкознания, тем более — семантики языковых единиц. Эта проблема имеет два плана: гносеологический и прагматический. Эти планы не пересекаются, а рассматривают два разных вида деятельности субъекта — деятельность познавательную и деятельность, характеризующую способы выражения субъектам своего отношения к миру, а применительно к языку — к обозначаемой действительности как рационального, погруженного в контекст мнения (рационально-оценочная деятельность), так и эмоционального, «снятого», в форме чувств-отношений, т.е. погруженного в сферу психических переживаний (эмоционально-оценочная деятельность).

Рассмотрению соотношения объективных и субъективных факторов в гносеологическом плане была посвящена работа Г.В. Колпанского [1975]. В этой книге содержится прекрасный обзор литературы и достаточно четко расставлены акценты, касающиеся второго плана. В частности, из постулатов о том, что язык является индивидуально-общественной сущностью, что язык вербализует мысль и сопутствующие ей переживания, адресованные кому-то и с какой-то целью, что субъект речи не свободен от правил языковой компетенции, следует, что именно в языке должны быть заложены «социально гарантированные»

средства самовыражения субъекта или воздействия на адресата. Этот последний вывод касается уже второго плана, а именно — роли «субъекта прагматического содержания и форм его деятельности, в отличие от субъекта гносеологического», отвечающего за соответствие языкового содержания объективной действительности или по крайней мере — объективного знания о ней.

Тот факт, что в номинативном составе языка кумулируется все то, что может быть высказано в актах коммуникации, не может вызвать сомнения: возможность получить одинаковые результаты как при лексикоцентрическом подходе к слову, так и при коммуникативно-синтаксическом говорит сама за себя. Ю.Н. Караулов писал о том, что «слово имеет невероятно сложное строение: оно обладает определенной семантической структурой, осложнено социальными и эмоционально-экспрессивными компонентами значения, содержит начатки знания и формирует определенное понятие о мире, потенциально заряжено образностью, членится на значимые части, включает правила формально-грамматической изменяемости, отражает фонетические закономерности составляющих его звуков, в нужный момент обнаруживает скрытые свои синтаксические связи» [1989, 26]. Но за социальными и эмоционально-экспрессивными компонентами значения «скрыты» коннотации, имеющие своим содержанием отношения говорящего/слушающего к обозначаемому, «начатки знания» в большей мере, чем это обычно предполагалось, не только формируют понятие о мире, но еще и непосредственным образом связаны с тем фоновым знанием, которое и создает неаддитивность сложения смыслов при сочетании слов в высказывании, «заряженность образностью» — не только потенция, но и реальность, если слово обладает образно мотивированной внутренней формой. И все это тем более характерно для идиом.

Пока неизвестно, сколько признаков-параметров необходимо выделить для того, чтобы все признаки нейтрального слова могли составить его лексикографическую анкету, исчерпывающую всю информацию, несомую словом — как содержательную, так и кодовую. Но нам известно, что для введения в память ЭВМ фразеологизмов-идиом в фразеографическую анкету необходимо ввести по крайней мере сто двадцать признаков, чтобы иметь информацию, адекватную для реализации идиом в речи (подробнее см. [Фразеография в Машинном фонде 1990; Макет словарной статьи 1991]).

Такое богатство признаков может поставить в тупик: реально ли это, как с этим справляются говорящие? Это вопросы вопросов лингвистики, на которые она не сможет ответить без данных таких наук,

как физиология, психология и др. Но все эти признаки были выявлены из реальных идиомоупотреблений в текстах, в которых идиомы выступают как «микротексты», вписываясь в дискурс как по «вертикали» (участвуя в развитии тех или иных «тем»), так и по «горизонтالي», обеспечивая связность текста. Мы уже высказывали предположение о том, что эти признаки каким-то образом «самонастраиваются» на взаимодействие, образуя, если угодно «пучки, хотя мы предпочитаем говорить о блоках как чем-то более монолитном, чем простая совокупность.

Именно потому, что идиомы — это своего рода микротексты, они гораздо сложнее любого слова (за исключением слов типа *сумасшедший* или других по сути несколькословных наименований) — в идиомах гораздо объемнее само информационное поле за счет взаимодействия денотативной и тропической «баз» и несколькословности, обеспечивающей ситуативность. Следует предположить, что и изоморфизм между смысловой структурой идиом и высказывания более высокого уровня, чем между словом и высказыванием (о чем уже упоминалось выше в связи с выделением в значении денотативном аспекте идиом «темы» и «сказуемого» о ней; ср. также идиомы-предложения типа *Курь не клюют* (денег), *тюрьма плачет по ком* и т.п.

Можно предположить, что такие субъективные модусы, как оценки — рациональная или эмоциональная, также «втягиваются» в значение идиом, как и в значение слов с той разницей, что в идиомах эти модусы «подпитаны» ситуативностью. Приведем несколько примеров для сравнения (факты такого рода исследовались в основном для установления глубинного тождества при поверхностном различии способов выражения «заданного смысла»).

Высказывание *Плохо, что он ест слишком много* равнозначно высказыванию *Некто — обжора*: и в том и в другом случае отрицательная рациональная оценка присутствует, хотя и в разных формах — в виде модальности типа *de dicto* или *de re*. В высказываниях типа *К сожалению (жаль), что некто ест слишком много* в вершину смысла высказывания перемещается эмоциональное отношение, не устраняющее рациональной оценки, но лишь вводящей ее еще и в сферу чувств-отношений. Этот же смысл «свернут» до номинативного исполнения в высказывании: *Некто — чревоугодник* (продолжением здесь может быть: ... — с неодобрением сказал кто-то). Здесь тоже видна равнозначность этих высказываний при различии позиций субъективно-эмоционального модуса. О том, что здесь «вершина» связана со сферой чувств-отношений, свидетельствует то, что высказывания типа *Плохо, что он чревоугодник* явно нейтрализует эмотивную окраску, но, что

самое главное, — эти высказывания нормативно «неудобны». Ср. также: *Плохо, что он пьет чрезмерно много* и *Он — бездонная бочка*, — с пренебрежением сказал кто-то, ср. **Плохо, что он — бездонная бочка*.

Примеры подобного рода можно без труда увеличить, но и приведенных достаточно, как представляется, для того, чтобы более точно высказать гипотезу о том, что лексикон стремится в силу своей кумулятивной функции вобрать в значение все, что может быть оценено в форме *de dicto*, преобразовав это в форму модальности *de re* (о корреспонденции этих модусов см. [Павиленис 1983, 166—183], а лингвистическую их равнозначность в высказываниях и оценочных наименованиях показала Е.М. Вольф [1985]). В этой тенденции лексикона к освоению оценочных модусов субъекта в форме особых компонентов значения мы усматриваем одно из проявлений принципа акномии и речевых усилий. Именно благодаря этому принципу и выделяется в языке сам класс оценочных значений (см. [Вольф 1978; 1985; Арутюнова 1988]).

Лексикон как бы узуализирует оценочные значения, исходя из неписанных норм бытия, образующих ценностную картину мира. Можно сколько угодно рассуждать по поводу того, является ли мир благом или нужно насильем изменять что-то и где-то, но нормой является положительное оценочное значение имени *благо*. Аналогичным образом, можно считать, что кто-то танцует хорошо, и встретить возражение за или против, даже при относительности оценки аргументация будет исходить из самого танца как жанра. Поэтому рациональная оценка всегда относится к «типовому образу» — она ориентирована на бытие и его ценностные нормы: от рациональности деятельности в мире зависит и практическая ориентация человека в нем, а следовательно — рациональная оценка относится к осмыслению мира, поэтому она и погружена в контекст мнения.

Эмоциональная оценка в номинативных средствах языка всегда «подпитывается» образностью (независимо от ее характера — изобразительного, умозрительного или звукового) или абсурдом, «небывальщиной», создающими психологическое напряжение. И это тоже факт, — и факт весьма «упрямый»: все слова и фразеологизмы, имеющие в словаре пометы типа *неодобр.*, *презр.*, *пренебр.* и т.п., — продукт вторичной номинации. А это значит, что они прошли образную стадию, сохранив ее (как, например, *чревоугодник*, *пустая бочка*, *осел*, *лошадь* — о человеке, *ни бельмеса* (не смыслит), *выйти из окопов*

и т.п.) или же утратив (как в случаях типа *коломенская верста, турусы на колесах* и т.п.).

Следует заметить, что словари, подобно грамматикам, стремятся описать сущностные свойства единиц лексикона, и указанные пометы маркируют свойства такого рода. Другое дело, что сами пометы — наследие еще греко-римской традиции и поэтому, что вполне естественно, нуждаются в более глубокой интерпретации их содержания, чем простое указание на экспрессивно-стилистическую значимость сопровождаемых ими слов или фразеологизмов. Однако их традиционность (независимо от того, какой их состав принят в той или иной лексикографической традиции) — лишнее доказательство того, что эмотивность значения издавна «следовала» за образностью.

Факты такого рода свидетельствуют о том, что образ, лежащий в основе переосмысления, вызывал психологическое напряжение. Нельзя в этой связи не напомнить о том, что метонимические отношения придают полисемии регулярный, повторяемый результат (подробнее см. [Апресян 1974]). Метафорические отношения между номинативным замыслом и обозначаемым имени, используемым для его воплощения, не придают полисемии регулярности — скорее это может быть определено как «капризы» языка, его «причуды». И тем не менее метафора продуктивна. «Польза» образной метафоры, в ее способности создавать психологическое напряжение на фоне которого и «вклиниваются» в значение номинативных единиц чувства-отношения говорящего к обозначаемому.

Эти факты позволяют высказать еще одну гипотезу: э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н о е о т н о ш е н и е «снятое» и выражаемое в языковых знаках в виде чувств-отношений, сопряжено с восприятием образного основания (которое в нашей концепции соответствует образной гештальт-структуре), а содержание этого отношения непосредственно связано с интерпретацией самого образа, который «гарантирует» узуальность этой интерпретации. Так, сказав о ком-то, что он — *от горшка два вершка*, нельзя «пережить» ничего, кроме пренебрежения (или — иронии): *Мальчишка — от горшка два вершка, а уже курит; Моя внучка — от горшка два вершка, а уже знает, что такое ваучер* и т.п.

И еще одно важное замечание: удивительным образом все используемые словарями термины-пометы, относящиеся к спектру эмоциональных оценок, пересекаются с названиями тех речевых актов — в классификации Остина [1986], которые так или иначе сопряжены с эмоциональным включением в структуру речевого акта. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что словарные по-

меты указанного типа и типы речевых актов по крайней мере соотносятся с психологической сферой и, по всей видимости, являются «свертками» иллокутивных сил. Это наша третья гипотеза, как думается, — похожая на истину и вместе с тем весьма нетривиальная, но в то же время никем, кроме нас еще не высказанная (подробнее о возможности интерпретации словарных помет типа *презрительно*, *пренебрежительно* и т.п. см. [Телия 1986; 1991], см. также [Графова 1991]).

Последовательность предложенных гипотез — вовсе не означает онтологическое их «взаиморасположение». Этому скорее всего соответствует нелинейное и симультанное взаимодействие всех трех типов информации — денотативно-оценочной, ассоциативно-образной и эмоциональной, как раз и приводящее к большим следствиям из малых причин. Предложенная последовательность выстроена от наиболее изученной к настоящему времени проблемы оценки — к наименее изученным: к роли образного гештальта как «эмоциогенного» стимула и к содержанию чувства-отношения как фактора субъекта (говорящего или слушающего).

Оценочный аспект значения идиом

Выше уже приводился краткий обзор точек зрения на проблему оценки. Кроме того эта проблема рассматривалась и в плане соотношения рациональной и эмоциональной оценки. В настоящее время как будто не существует противоречий в том, что рациональная оценка погружена в контекст мнения [Wright 1963; Vendler 1967; Арутюнова 1988], так как оценивание — это суждение о ценности (подробнее об этом см. выше).

Оценивание того, что имеет место, случается или происходит в мире, — неотъемлемый атрибут деятельности человека. Даже такие, казалось бы, «безразличные», не зависящие от мнения человека сущности, как «натуральные объекты» (кошка, лес и т.п.) или явления природы (дождь, ветер и т.п.), поскольку они «даны» человеку так же, как мир, в котором он живет, с неизбежностью втягиваются в ценностную его ориентацию, коль скоро они могут быть оценены как полезные или вредные, опасные или безопасные в зависимости от тех или иных проявлений, вторгшихся в деятельность человека. Следует предположить, что в подавляющем большинстве значений идиом должна присутствовать оценка, поскольку само идиомообразование, как общее правило, сопровождается квалификацией обозначаемого, а точнее — денотативного его аспекта. Всякая квалификация — это уже оценивание. Из этого следует, что в составе идиом

можно выделить два класса — идиомы, не приспособленные к оценке, и идиомы, выражающие оценку.

К идиомам безразлично-оценочным относятся все те, номинативная функция которых заключена в идентификации свойств обозначаемого. Можно только повторить примеры этих идиом: *львиный зев, бок о бок* (стоять), *семя и осямо, во время оно* и т.д. и т.п. В значении этих идиом нет суждения о ценности обозначаемого, поскольку само обозначаемое не квалифицирует, а описывает объекты из мира «Действительное». Это, конечно же не означает, что обозначаемые таких идиом не могут стать предметом оценивания (поскольку не оцениваются только темы таких «теоретических», по А.А. Ивину [1970], предложений, как *Земля вращается вокруг солнца*), но для этого они должны быть включены в высказывание с модусом оценки типа *de dicto*: *Плохо, что это львиный зев* (предполагается, что «лучше» было бы другое растение); *Плохо, что лошади стояли бок о бок* (предполагается, что эта ситуация чем-то плоха для говорящего); *Хорошо, что пистолет лежит у тебя в головах* (предполагается возможность его быстрого применения) и т.п.

К идиомам с фиксированной в значении рациональной оценкой принадлежат те, которые указывают на какой-нибудь квалификативный признак денотата (свойства типового образа). Например, идиома *коломенская верста* — это «человек, примерно высокого роста, и это «плохо» (норма здесь «растянута» в диапазоне — высокий/средний/низкого роста). Безусловно, и эта фиксированная оценка может изменить свой знак на противоположный при текстовой аргументации того, что быть намного выше нормы — хорошо для какого-либо положения дел (например: *Хорошо этой коломенской версте — все видно из-за забора*; следует заметить, что препозиция *de dicto* при чисто оценочном суждении в этом случае нормативно неудобна, как уже отмечалось выше: *Хорошо, что он коломенская верста, ему все видно из-за забора* и т.п.).

Главное, на что нам хотелось бы обратить внимание — это «адресация» оценочного суждения именно денотату, или его типовому образу: оценивание — это формирование мнения, а «ум с сердцем не в ладу». Все, что погружено в контекст мнения, это знание, а не переживание. Когда говорят: *Концерт доставил удовольствие*, то описывают это состояние, а не переживают его (переживание было во время концерта), когда говорят, что кого-то *преследует страх* или *берет зло*, то это только описание состояния, а не само переживание. Иными словами, сколько ни произносить «счастье, счастье» — счастливым от этого не станешь.

Рациональная оценка может относиться к типовому образу обозначаемого в целом или к одному из его свойств. Например, *сесть в лужу* — это «плохо» в целом, *дрожать над [каждой] копейкой* — «плохо» то, что «дрожать над каждой» (ср. *знать цену деньгам* — «хорошо»), а *глаза на лоб лезут* — «плохо» то, что это состояние сильного и неожиданного испуга, *воротить нос* — «плохо» не то, что некто демонстрирует нежелание вступать в контакт с кем-то, а то, что некто чрезмерно «возвышает» себя и т.п. Ср. также *олух царя небесного*, где, наоборот, классема 'глупый' несет на себе груз негативной оценки, а признак 'безобидно', квалифицирующий эту классему, смягчает отрицательную оценку, что предопределяет возможность ироничного употребления этой идиомы в высказываниях о себе (*Эх, я — олух царя небесного*, ср. неординарность высказываний типа *Эх, я — медный лоб*, поскольку здесь, помимо глупости, выделен еще и признак тупой агрессивности, что может быть признано очень самокритичным человеком).

Необходимы самые тщательные исследования роли оценки в значении идиом, поскольку отношение к типовому образу в целом или к его «частям» находит отражение и в употреблении идиом, примеры чего приводились выше. Таких исследований пока не проводилось, хотя декларативные заявления об оценочном статусе большинства идиом стали уже «общим местом» без изучения, однако, всех коммуникативных условий употребления идиом и выявления реестра тех частнооценочных значений, которые характерны для идиом. Представляется, что можно выявить универсальные импликации, такие, например, что, коль скоро идиомы редко обозначают артефакты для них нехарактерна утилитарная оценка и т.п.

Особый интерес представляет и оценочный аспект значения физических акций: идиомы, как уже упоминалось выше, непродуктивны в этой сфере обозначения объектов из мира «Действительное», но этот дефицит восполняется идиомами, обозначающими динамические признаки действия, процесса, состояния, типа *без задних ног* (спать), *без просыпа* (пить), *до седьмого пота* (работать), *высуня язык* (бежать) и т.д. и т.п. Очевидно, что, помимо интенсифицирующего признака, эти идиомы содержат и квалификативный: *без задних ног* — 'очень крепко' и «отключившись», *работать до седьмого <кровавого> пота* — 'много и изнурительно' (ср. *работать не покладая рук* — 'много и постоянно'), но *работать денно и ночью* — только 'чрезмерно много' (чистая интенсификация), а *работать ни шатко ни валко ни на сторону* — только качественная характеристика 'не усердно' и т.п.

Изучение соотношения качественной и количественной оценки в значении идиом позволит, как представляется, во многом прояснить и

эмотивность таких идиом, как *до лампочки*, где денотативный аспект оценивается по абсолютности, полноте проявления этого чувства-состояния (оценка по количеству), а также по «выключенности» субъекта оценки из ценностных ориентиров: *Мне до лампочки* вся эта политика, все, что происходит и т.п. (реч.), ср. также: — Вы думаете, там собак ради собак заводят? Ничего подобного!... До собак им как до лампочки, а сами довольны — прогуливаются, кислородом дышат! (С. Баруздин, *Я люблю нашу улицу*); — Может, полагаешь, я на твои косы зарюсь? Да мне они до лампочки. Тьфу! (Б. Полевой, *На диком берегу*); ... в этом лучшем из миров Мне все до лампочки, Мне все равно, мне все давно до лампочки! (А. Галич, *Больничная цыганочка*).

Нагруженность идиом качественными признаками, включающими денотативный аспект в метафорический фрейм, через который к нему и подключаются эти подробности, объясняет тот факт, что среди идиом малопродуктивны чистые интенсификаторы. Даже такие идиомы, как *во все горло* (кричать, орать), помимо интенсификации, содержат добавочную квалификацию, в частности — ‘громко’, ср.: — Пойду песню запою со зла, *во все горло*, что только духу есть!; Хохоча *во все горло*, возвращались в порт моряки и т.п.

Чистые интенсификаторы — скорее исключение для идиом, чем правило. К ним можно отнести безобразные или ставшие безобразными, но эталонизированные идиомы типа *во сто крат*, *ни капли*, *ни копейки*, *до точки* (дойти), *до черта* (работы и т.п.), *до смерти* (нужен, хочется, устать и т.п.).

Идиомы могут иметь в своем значении и не фиксированную оценку, т.е. менять ее в зависимости от эмпатии говорящего/слушающего. Такая флукутирующая оценка свойственна не только идиомам, но и словам типа *глупый*, *хитрый* и т.п., но не экспрессивно окрашенным наименованиям типа *осел*, *медведь*, *ползти*, *попугайничать* и т.п., так как в этом номинативном слое оценка, как общее правило, фиксирована, чему способствует содержание метафорического фрейма: *осел* — это упрямо-глупый — и вряд ли упрямая глупость может в нормативно-ценностной картине мира обрести положительную оценку. И это свойство, кстати говоря, отличает экспрессивно окрашенные словесные знаки от идиом.

Среди идиом с флукутирующей оценкой большое место занимают те из них, которые обозначают поведение. Это последнее, будучи межличностным отношением, может быть оценено говорящим, с позиций того или иного актанта — агенса или пациенса: если говорящий на стороне агенса, он «эмпатирует» той оценке, которая принадлежит агенсу, если же на стороне пациенса (бенефицианта), то его оценка совпадает

ет с ценностной позицией пациенса, Например, для идиомы *замазать рот* характерны следующие актанты: *X* (лицо) *замазал рот Y-у* (лицу) *Z-ом* (подкупом, лестью и т.п.). Если эмпатия говорящего/слушающего относится к *X-у*, то оценка — положительная (и это «хорошо»), если же к *Y-у*, то — отрицательно оценивается *X* (агенс). Ср.: Преступники были довольны, что им удалось *замазать рот* свидетелям, но *Свидетелям замазали рот* крупной взяткой.

Ф и к с и р о в а н н а я отрицательная оценка характерна для идиом типа (оказаться) *в ежовых рукавицах, не давать шагу ступить, выматывать всю душу, сесть на шею, отбивать хлеб, перебежать дорогу, как банный лист* и т.п. Столь же фиксированная положительная оценка присуща немногочисленным идиомам типа *идти в гору, давать жизни* и т.п., а амбивалентную — как положительную, так и отрицательную оценку, зависящую от эмпатии говорящего/слушающего, могут иметь идиомы *грести деньги лопатой, держать в ежовых рукавицах, плыть против течения, подливать масла в огонь* и т.п. Так, в последней идиоме денотативный аспект указывает на усиление (словами, делами и т.п.) некоторой «накаленной» ситуации, и если говорящий/слушающий на стороне пациенса этой ситуации, то идиома получает отрицательную оценку, а если — против, то — положительную, ср.: Замечание, которое он сделал председателю, только *подлило масла в огонь* (т.е. еще больше осложнило конфликтную ситуацию) и Ее очарованье *подлило масла в огонь* — и я окончательно влюбился (т.е. ее очарование усилило любовь) и т.п.

Флуктуация оценки присуща и идиомам, обозначающим обманные поступки (речь, поведение и т.п.), типа *обвести вокруг пальца, пускать пыль в глаза, вешать лапшу на уши* и др. Ср. явное хвастовство в высказываниях о себе: Я здорово *обвел вокруг пальца* этого простака; Мы уже научились *пускать пыль в глаза* нашим преподавателям и Меня ловко *обвели вокруг пальца* эти мошенники; Он любил *пустить пыль в глаза* рассказами о своих успехах и т.п.

Идиомы с флуктуирующей оценкой характерны для обозначения свойств лица. Например, идиома *стреляный воробей* может иметь как положительную, так и отрицательную оценку: если говорящий/слушающий на стороне *X-а* (носителя признака), то его опыт и изворотливость оцениваются положительно, если против — то отрицательно: Ему мы можем доверить любое дело — он *стреляный воробей* и Ему нельзя полностью доверять — он *стреляный воробей* (ср. также *тертый калач, не промах, губа не дура, гольми руками не возьмешь* и т.п.). Хотя, безусловно, в этой идеографической области также есть фиксированные оценки: *змея подколотная, шишка на ровном месте* и др. — только

«плохо», а *кровь с молоком, косая сажень в плечах* — только «хорошо» и т.п., так как метафорический фрейм оснащает денотацию либо отрицательно либо же положительно оцениваемыми признаками (*змея подколодная* ‘коварный и опасный человек’, а *косая сажень в плечах* ‘сильный с красивой фигурой человек’).

Из приведенных выше примеров видно, что оценка в идиомах может быть основана на любом компоненте ситуации, в метафорическом фрейме которой «прочитывается» ее денотативное значение. И если в глаголах поведения типа *замазать рот* оценка связана с эмпатией говорящего/слушающего к мотиву поступка (оцениваемым положительно или отрицательно), то в *лезть на рожон* — со способом достижения цели (который оценивается как безрассудный), а в идиоме *подливать масла в огонь* — с самой ситуацией и т.п.

Итак, рациональная оценка в идиомах относится к денотативному аспекту значения — к тому, что обозначено как объективное в мире «Действительное». Сама же оценка принадлежит субъекту, т.е. исключительно миру «Идеальное» и зависит от ценностной картины мира, нормы которой, однако, объективированы социальной практикой лингвокультурной общности. Поэтому в норме суждение о ценности, а только нормативные, узуальные оценки (а не индивидуально-субъективные) входят в значение, — это объективно-субъективное по содержанию и по «исполнению» отношение говорящего/слушающего к ценности обозначаемого.

Когнитивное содержание рациональной оценки — это мнение субъекта оценки о положительной или отрицательной (негативной) ценности обозначаемого в целом или какого-либо его свойства, основанное на знании неписаных, но узуальных норм ценностной картины мира, которая основана на обиходно-бытовом образе мира, сложившемся в данном языковом коллективе и на его жизненной философии. Очевидно, что индивидуальное, социально-групповое и т.п. видение мира создает свою ценностную картину. Так, для одних религия может представляться «опиумом для народа», а для других — духовной пищей и нравственным канонам.

Воспринятая из аксиологии в современных лингвистических исследованиях запись оценочного суждения в форме модальной рамки: «говорящий считает, что объект (или свойства) является «хорошим/плохим» (больше нормы/меньше нормы) в определенном аспекте и по некоторому основанию» может быть интерпретирована и как когнитивный оператор, указывающий на тот тип знаний о мире, которым оперирует носитель языка и которое является содержанием оценочной когнитивной процедуры. Приведенное выше описание —

это декларативная форма записи оценочного суждения, процедурная же его форма (которой пользуется А. Вежбицка) имеет вид: «Я считаю и ты считай, что» и далее — суждение о ценности. И она в полной мере, как представляется, отражает динамическое состояние реальных актов коммуникации, в которых употребляются и идиомы.

Поскольку сами глаголы *считать* <полагать> являются по своему содержанию миропорождающими, оценка принадлежит «порожденной» сознанием ценностной картине мира субъекта, в которую он включает себя как агенса, оценивающего мир «Действительное», что позволяет считать оценку объективно-субъективной коннотацией значения.

Мотивационно-образный компонент значения идиом

В свое время И. Левенберг писала, что если мы узнаем, как сделана метафора, мы узнаем, как она делается [Lœvenberg 1975]. В настоящее время предложено много теорий метафоры (см. подробнее Метафора в языке и тексте [1988]; Теория метафоры [1990]), но, по всей видимости, узнать, как она делается, все же так и не удалось. Хотя ясны, по крайней мере, два механизма метафоры. (1) Метафора — это интеракция двух систем признаков, в результате которой порождается новый информационный объект (о чем уже упоминалось выше), участвующий в номинативно-семиотическом процессе: «Означивание действительности происходит прежде всего через понятия и повторяющиеся стереотипные представления. Выделение повторяющихся элементов представлений само по себе, вне знаковой системы невозможно», — писал В.В. Мартынов [1974, 18]. С этим утверждением нельзя не согласиться, тем более, что выше, в связи с описанием денотативного аспекта значения, мы уже оперировали понятием типового представления как той «схемы», которая и составляет, с нашей точки зрения, денотативный аспект значения, динамически работающий «в одной связке» с концептом имени и его референтом. (2) Метафора создает психологическое напряжение, а это значит она вызывает эмоциональное восприятие, «снятое» в форме чувств-переживаний (см. выше). Это означает, что метафора играет роль эмоциогенного стимула, который в процессе семиозиса «теряет» свой собственно эмоциональный «заряд», постольку поскольку семиозис — это всегда процесс социологизированный, но сохраняет в «памяти чувств» пережитое: образ не забывается — он как рассказ о том, что было с ним связано, воскрешается в памяти и заставляет пережить его заново, хотя и не с такой эмоционально-реактивной силой, как «в первом восприятии» (см. [Смирнов 1987, 187]).

Для того, чтобы пояснить эту нашу мысль, достаточно сравнить образный строй поэтов-имажинистов (например, Есенина) и образный строй Б. Пастернака: первый апеллирует к наглядно-чувственному восприятию, а Б. Пастернак — к «вдумыванию» в образ, который строится не «изобразительно», а за счет ассоциативных свойств словесного ряда. Так, наиболее характерным для есенинской поэзии является преобладание зрительного восприятия над ассоциативно-вербальным, как, например, в следующих отрывках. «Мы вросли в эту землю ногами крови» или «Имба-старушка жует дверями мякиш тишины», а Пастернаковский прием «когда предмет сечет предмет» просматривается в «Я клавишей стаю кормил с руки» или «Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет...» и в приеме аллюзии: «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь и в них твоих измен горящую струю» (где страдания неразделенной любви просматриваются через смысл *пить горькую чашу*) и т.п. Но независимо от приема живая метафора всегда создает психологическое напряжение, и ее назначение в художественном творчестве — вызвать катарсис, а при использовании языка как средства общения — прагматически воздействовать на адресата.

Указанные выше две функции метафоры — *в е р б а л и з у ю щ у ю* и *э м о ц и о г е н н у ю* редко разводят, хотя логики предпочитают говорить о том, что метафора «творит новое» (что идет еще от Аристотеля), а психологи — о том, что метафора «возбуждает», заставляет переживать. Применительно к языковым знакам проблема осложняется еще и тем, что понятие «внутренней формы» как бы «перекрывает» это различие, относя образное основание к способу организации значения, хотя осознание того, что внутренняя форма — далеко не гомогенное понятие, было присуще — и в очень большой степени — еще А.А. Потебне.

Для исследования значения идиом эта проблема особенно актуальна: вопрос здесь состоит не в том, играет ли образное основание (как общее правило — метафорическое, а точнее — синтезирующее через метафору все другие тропеические способы означивания) существенную роль в значении, а в том, какие роли играет образное основание в формировании денотативного аспекта значения, т.е. в означивании объектов из мира «Действительное», и играет ли оно какие-то роли еще. На первый вопрос ответ дан в описании денотативного аспекта значения, а для ответа на второй вопрос необходимо сделать ряд предварительных замечаний.

Прежде всего следует, как представляется, уточнить соотношение

понятий «внутренняя форма» и типовое представление — с одной стороны, а с другой — внутренняя форма и ассоциативно-образное ее восприятие, поскольку типовое представление и ассоциативно-образное восприятие метафоры, лежащей в основе как того, так и другого, — совершенно разные сущности. Первое онтологизируется через прототип как опору когнитивной обработки концепта на основе знания о свойствах типового представления. Второе — на основе восприятия, сопряженного с органами чувств — зрительным, вкусовым, перцептивным и т.п. впечатлением, в том числе — не непосредственным, а либо на основе «памяти тела» (на чем основаны сенсуалистические концепции восприятия), либо «памяти образной». Давая определение образной памяти в ее онтогенезе, известный советский психолог П.П. Блонский писал: образная память — это когда «ребенок напоминает что-либо ассоциированное с личным стимулом» (цит. по: [Смирнов 1987, 186—187]); (разр. наша — *В.Т.*). При этом автор делает очень важное для нас замечание: «Более раннее (чем вербальное — *В.Т.*) появление образной памяти не означает ее последующего исчезновения и замены словесной памятью. Однако образная память продолжает оставаться более низким уровнем памяти по сравнению с вербальной. Яркие образы присущи скорее детскому возрасту, а не зрелому. Вместе с тем репродуцированные образы лишь в очень исключительных случаях персеверировать, чаще всего они трансформируются, сильно видоизменяясь» [Там же, 187]. К сожалению, во что они трансформируются и как видоизменяются, общая психология не дает ответа, если речь идет об ассоциативно-образном значении слова.

Позволим себе сформулировать ряд постулатов, основанных на «следах» этих образных ассоциаций в значении слова:

— Наличие ж и в о г о, т.е. не перешедшего в этимон, образного основания (любого качества — изобразительного, звукового и т.п.) в номинативных единицах языка сопровождается (за крайне редким исключением) эмотивностью, а в конечном счете — экспрессивной окраской. Следовательно, образ как-то связан со сферой эмоциональной, обнаруживающей себя в чувствах-отношениях, связанных именно с образным основанием.

— Это образное основание не может быть «полным» и четким, поскольку образ уже редуцирован в метафоре. Например, называя человека *ослом*, говорящий фокусирует, а слушающий воспринимает не натуральный объект в целом, а скорее его упрямую позу, но не уши, копыта и т.п.; аналогичным образом, называя человека *стреляным воробьем*, говорящий «видит» не воробья в целом, а скорее — его насто-

роженность и «увертливость»; сообщая, что некто *выносит сор из избы*, говорящий, равно как и слушающий, не «видит» ни избы как таковой, ни то, как выносят сор, ни тем более — самого сора, а скорее всего (по крайней мере на уровне интроспекции) только самый общий план — вынесение чего-то «грязного» и т.п. Следовательно, образное восприятие всегда редуцировано.

Редукция образа, однако, происходит не за счет его преобразования в признаки (что имеет место при формировании типового представления), а за счет «усечения» каких-то несущественных для данного значения деталей, как, например, в картинах П. Пикассо. Следовательно, редукция образа не изменяет его природы, но «высвечивает» его часть.

— Редуцированный образ — это образная гештальт-структура, т.е. сущность, отличающаяся от типового представления именно тем, что это не стереотип, а некая «вещность» (если образ конкретен) — визуальная или звуковая и т.п. или же умозрительно представимая сущность (если образ абстрактен).

— Образная гештальт-структура «работает» в режиме подоби я, вводимого модусом фиктивности *как если бы*, которое асимметрично (разглашать домашние тайны → как если бы *выносить сор из избы*, но *выносить сор из избы* → *как если бы разглашать домашние тайны). Образная гештальт-структура актуализирует только те черты, которые являются «образом образа» лежащего в основе типового представления (об образной внутренней форме как образе образа говорил еще А.А. Потебня [1894]).

Для того, чтобы разграничить во внутренней форме то, что соответствует типовому представлению, и образную гештальт-структуру, необходимо отрешиться от линейного мышления, расставляющего что-то после чего-то: на самом деле в идиомообразовании (как и в других образно-мотивированных процессах номинации) образ привлекается и с целью извлечения из подобия новых смыслов (т.е. для формирования типового представления), и с собственно прагматическими целями — для того или иного воздействия на слушающего. Соответственно — и в грамматике слушающего воспринимается сразу и образная гештальт-структура и типовой образ: и то и другое «наводится» текстом. Ср. следующее высказывание Т.А. ван Дейка: «...прагматическое понимание аналогично пониманию смысла высказывания (vs. прагматическая интенция аналогична в своем вербализующем цикле интенции номинативной — *В.Т.*), когда предыдущий дискурс и знание смыслового контекста играют важную роль в интерпретации каждого последующего предложения. Параллельно понятию пресуппозиции вполне можно

вести понятие прагматического предусловия (pragmatic precondition), определяемое как «необходимое свойство речевой ситуации» [1989, 21]. Однако и то и другое следует трактовать как условие когерентности текста. Равным образом, и в идиомах типовой образ и образная гештальт-структура соположены не как одно после другого, а как и то и другое, каждое из которых — «открытая среда»: типовое представление открыто для взаимодействия с концептом и референтом, а гештальт-структура — для психоэмоционального переживания, и при этом еще и для взаимодействия с другими образными гештальт-структурами в ходе организации текста.

Итак, внутренняя форма для нас — это и форма организации значения в соответствии с образом-мотивом, и образная гештальт-структура, которая не может порвать с этой формой, поскольку она через нее явлена в буквальном прочтении. Типовое представление развернуто на мир «Действительное», принадлежа миру «Идеальное», а образная гештальт-структура — воображение в мире «Идеальное» того, что принадлежит реальности из мира «Действительное». Несмотря на некоторую схоластичность данных утверждений, они нетривиальны в главном: в значении идиом (как и других образно-мотивированных наименований) имеет место два «представителя» мира «Действительное» — типовое представление, выступающее в роли денотата, и образная гештальт-структура, играющая роль квазиденотата. Эти две вершины распределяют «сферы влияния»: типовое представление (или категориально оснащенный прототипический образ) описывает мир, а образная гештальт-структура напоминает о нем в воображении. При этом говорящий осуществляет это напоминание в модусе фиктивности как *если бы*, а слушающий, догадываясь о фиктивности, воображает редуцированно образ как гештальт-структуру. Во всяком случае глаголы *представлять*, *воображать* в их первичном значении имеют не миропорождающее значение, а значение мировоспроизводящее.

И наконец, как аргументацию в пользу того, что типовое представление не исчерпывает всего, что связано с образной мотивацией идиом, можно привести признание А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского, которым принадлежит попытка чисто концептуального анализа значения идиом, в том, что оперирование теми фреймами знаний, которые ассоциированы с прототипическим образом, не «является панацеей от всех сложностей» [1990, 34]: они не раскрывают ни эмотивных, ни стилистических секретов идиом.

Во избежание «перекоса» при анализе ассоциативно-образного аспекта значения идиом в сторону метафоры, сразу же необходимо

отметить, что образная гештальт-структура — не обязательно «картинка». В идиомах часто в тропеическое основание включены символы или эталоны, которые в данном случае точнее было бы назвать *квази-символами* и *квазиэталонами*, поскольку они, будучи включенными в ситуацию, описываемую буквальным значением, играют как бы две роли — и реальное обозначаемое, и имя, «замещающее» реальность. Например, в идиомах типа *братъ в руки, держать в руках, быть, находиться в чьих-либо руках*, если речь идет о человеке, его жизни или судьбе, слово-компонент *рука* выступает как квазисимвол власти (над кем-л.): Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в *руках* разбойников (*А. Пушкин, Капитанская дочка*); Теперь он хочет жениться, и вся судьба этого в высшей степени приличного брака в ее *руках* (*Ф. Достоевский, Идиот*) и т.п. Это символьное прочтение компонента *рука* восходит к тексту Библии, где говорится о том, что жизнь людей и их судьбы находятся в руке Божией, т.е. в Его власти.

Фразеологам еще предстоит исследовать по крайней мере два пути обретения символической или эталонной функции у слов-компонентов. Первый путь — это вхождение символа или эталона в метафору, как в приведенных выше примерах, Ср. аналогичную роль компонента *сердце* в составе идиом *как нож в сердце, от всего сердца, положить руку на сердце* и т.п. Ср. также роль компонентов *копейка* и *вершок*, которые воспринимаются как квазиэталон минимальной суммы и минимальной величины в идиомах *дрожать <трястись> над каждой копеейкой, ни копейки за душой* и т.п. или *от горшка два вершка*. Когда говорится о том, что нет *ни копейки* на жизнь, сообщается не об отсутствии именно копейки, а минимальной необходимой суммы, хотя слово *копейка* ассоциируется с формой именно этой денежной единицы, а если говорится, что кто-то *ни на вершок* не подрос, то имеется в виду «ни на малость не подрос», но эта малость ассоциируется с определенным расстоянием (измеряемым жестом полусогнутых и разведенных большого и указательного пальцев).

О том, что в символе важна форма (что верно, по-видимому, и для эталона), «графический образ», писала Н.Д. Арутюнова. По ее мнению, образ может «подняться» до символа [1988, 126—129]. И этот процесс имеет место в идиомах типа *держатъ в руках* (судьбы мира), *братъ в руки, быть в руках* и т.п. Но символ или эталон могут входить в образ-метафору, где они, благодаря осознанию их формы, обретают и зрительные (пространственно-воспринимаемые) контуры, как это характерно для идиом типа *дрожать <трястись> над каждой копеейкой, от горшка два вершка* и т.п. Ср., например, вхождение слова *копейка* в образ, где копейка сохраняет свою «вечность», актуализируясь в

контексте слова *деньги*: Некогда отец его, Лука Силантьич, богобоязненный мужик, собирал по зернышку, по кусочку. Деньги носил на шее, обувался в лаптишки, *трясся над каждой копейкой* (А. Неверов, *Новый дом*) и полную утрату этой «вещности», но сохранение эталонности в контексте скудости как таковой: Деды наши не были скопидомы и не *тряслись над каждой копейкой* (Салтыков-Щедрин, *Дневник провинциала в Петербурге*).

Второй путь — это обретение свойства квазисимвола или квазиэталона в составе образа, лежащего в основе идиомы. Так, в высказываниях типа: Все было *в руках* народа: арсеналы, казармы, дворцы, хлебные склады, магазины (Ю. Олеша, *Три толстяка*); — Сергей Павлыч, — продолжал Рудин... Нам приятно думать, что наша тайна *в ваших руках* (Тургенев, *Рудин*) и т.п. идиомы имеют значение ‘в чем-либо владении, распоряжении’, где *в руках* выступает в роли квазисимвола власти, но материальной или «информационной». Ср. также возможность интерпретировать как квазисимвол слово-компонент *душа* как «вместилище» чувств, переживаний и т.п. в *душа нарасташку*, *душа ушла в пятки*, *душа не принимает* и др.: — Я лихой малый, *душа нарасташку*: рубаха, пьяница, а благородный человек. (А. Островский, *На бойком месте*); Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... так всего и боимся: щелкнет где, стукнет — у нас и *душа в пятки* (Мамин-Сибиряк, *В худых душах*). Как квазиэталоны воспринимаются слова-компоненты идиом типа *под носом*, *под рукой*, *ни на шаг*, *в двух шагах* (от станции метро) и т.п. (см. также [Черданцева 1990]).

Нужны специальные исследования, чтобы показать, чем отличается собственно образная гештальт-структура от символа или эталона и отличается ли вообще: не исключено, что они и есть вербализованные образные гештальт-структуры, награжденные символьной функцией. Не случайно же к существенным признакам символа относят то, что символ — это вещь, награжденная смыслом. Тогда и имя символа — это имя вещи, награжденной функцией символа и его смыслом, а значение имени описывает «вещь» как символ. Ср. также: «В какой-то мере символ всегда должен быть отображением того, что им символизируется» [Смирнов 1987, 37].

Итак, образная гештальт-структура «проецируется» в порождении и восприятии идиомы как квазиденотат, роль которого состоит не в описании мира «Действительное», а в напоминании о нем в воображении с целью вызвать эмоциогенную реакцию. Принадлежит ли образная гештальт-структура сфере мышления или сфере воображения? Думается, что она принадлежит и тому и другому: напоминание об объекте из мира «Действительное», осуществляемое буквальным прочтением

идиомы, связано с памятью, а не с перцепцией. Однако зачем это напоминание? Ответ можно дать только один: чтобы «разбудить» (или возбудить) в воображении эмоциональную сферу сознания, в которой и переживается образный гештальт. Приведем в этой связи довольно странную цитату из книги Л.С. Выготского «Психология чувств»: «Школа Мейнонга и других исследователей с достаточной глубиной показала, что воображение и фантазия должны рассматриваться как функции, обслуживающие нашу эмоциональную сферу, и что даже тогда, когда они обнаруживают внешнее сходство с мыслительными процессами, в корне этого мышления всегда лежит эмоция. Генрих Майер намечил важнейшие особенности этого эмоционального мышления, установив, что основная тенденция в фактах эмоционального мышления существенно иная, чем в мышлении дискурсивном. Здесь отодвинут на задний план, оттеснен и не опознан познавательный процесс... Деятельность воображения представляет собой разряд аффектов, подобно тому, как чувства разрешаются в выразительных движениях» [1968, 69]. (разр. наша — В.Т.). Это высказывание подтверждает наше предположение, что образный гештальт «возбуждает» сферу эмоций, а не описывает мир: он принадлежит субъекту воображения, а не субъекту отображения.

Но и в этой сфере есть место для знаний об образной гештальт-структуре, и невозможно представить себе эмоциональный отклик, если экстенционал образа неизвестен или мало знаком. Так, образ «тощего» человека в русском менталите скорее всего связан с жердью, ср., однако образы, вызываемые в японском языке, — «топий, как скелет комара», во вьетнамском — «топий, как высохшая цикада», в туркменском — «топий, как лестница», в английском — «топий, как бенберийский сыр» и т.п. (примеры заимствованы из [Шмелева 1988, 120—121]). Очевидно, что для русского мировидения, а следовательно — и миропонимания эти эталоны остаются невообразимыми (или, по крайней мере, — парадоксальными). Еще ряд примеров: эталоном здоровья в русском языковом сознании является бык (*здоров, как бык*), а лошадь — эталон работоспособности, в английском же языке эталон здоровья — лошадь (*as strong as a horse*), неуклюжести — не медведь, как в русском, а ценок (*as clumsy as a puppy*) и т.п. Очевидно, что вообразить, тем более — редуцировать до «броского» возможно лишь то, что знакомо по опыту (или «знанию по знакомству»). Тем самым *вообразить* — это знать и умственно «нарисовать», а *представить* — это знать и умственно воссоздать некоторое «положение дел» (собственно герменевтическая деятельность субъекта представления).

Сказанное выше позволяет рассматривать осознание образного гештальта как процедуру, содержанием которой является значение операторов *вообразить* и *представить* себе (в указанном выше смысле), а в модельном отображении: *вообразить/представить себе как если бы имеет место то, что соответствует буквальному прочтению, редуцированному до гештальт-структуры*. Именно эти операторы более уместны, как представляется, чем оператор «я знаю и ты знаешь, что...», используемые и в этом случае А. Вежбицкой.

«Вводя» в сознание образные гештальт-структуры, указанные выше операторы мотивируют и возбуждают «переживание», сопряженное с психологическим напряжением, создаваемым «наложением» образной гештальт-структуры на типовое представление (в его взаимодействии с концептом имени и референтом, а также со стилистической уместностью/неуместностью значения идиом). Но прежде, чем обратиться к этим «последствиям», необходимо показать на примерах, как воздействует на значение в целом и на его употребление в тексте образная гештальт-структура.

Поскольку все познается в сравнении, уместно сопоставить идиомы, в которых образное основание целиком поглощено при идиоμοобразовании типовым представлением, а это значит — трансформировалось в признаки, категоризирующие объект, либо же, отдав свои признаки в типовое представление, воспринимается еще и в режиме «вообрази/представь себе».

Для сравнения можно взять идиомы типа *бок о бок*, *плечом к плечу*, *под рукой* в двух значениях — пространственном (I) и межличностном (II).

Например (I) *бок о бок* кто/что с кем, сочетается с глаголами местоположения (*стоять, располагаться* и т.п.) и перемещения (*идти, ехать* и т.п.) и имеет значение «лицо или предмет X и Y находятся совсем рядом в пространственной ориентации близко и сбоку друг от друга (как бы касаясь боками)»: Лошади стояли *бок о бок*; Будем держаться *бок о бок*, не отходя друг от друга (В. Можжев). (II) *бок о бок* кто с кем сочетается с глаголами, действия (*работать, сражаться* и т.п.) и имеет значение «лицо или коллектив X и Y взаимодействуют в общем для них положении вещей как одно функциональное целое, объединяя усилия для достижения цели (как бы касаясь бок о бок и поддерживая друг друга)»: Наши батальоны сражались *бок о бок*, поддерживая друг друга огнем; И только тут...выплыл передо мной образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею *бок о бок* (А. Солженицын).

Ср. также: (I) *под рукой* что у кого (*быть, находиться* и подобные глаголы местоположения) в значении «предмет Y находится на близком

и доступном расстоянии от лица X (как бы под рукой — в удобном для пользования месте): Нужные книги у меня всегда *под рукой* и (II) *под рукой* кто у кого (*быть, иметь* и т.п. глаголы со значением обладания) — ‘лицо или коллектив Y находится в непосредственном распоряжении у лица или коллектива X (как бы под рукой — в доступной для воздействия сфере)’: Он всегда имел *под рукой* несколько человек, готовых полнить его поручение; Он утром собрал всех, кто был *под рукой*, и трижды водил их в атаку (*К. Симонов*). Аналогичным образом различаются (I) и (II) у идиом *плечом к плечу, рука об руку* и т.п.

Очевидно, что в основе денотативного аспекта значения (способности значения указывать на класс обозначаемых фрагментов действительности) в (I) лежит указание на близость предметов и/или лиц в пространственной ориентации. В качестве аналогии, дающей право на перенос имени, выраженного сочетанием слов, здесь избран перцептивно воспринимаемый эмпирический образ. Так, *в бок о бок* (I) совмещаются по закону метафоры в процессе интеракции в одно категоризирующее номинативное основание смыслы ‘близко’ и ‘сбоку друг от друга’ и образное основание ‘касаясь друг друга боками’. В значение не вошел смысл ‘непосредственное касание’, характерный для эмпирического образа, так как он оказался излишне конкретным для номинативного замысла, но может актуализироваться в зависимости от референции высказывания. Ср. Мы, обнявшись стояли *бок о бок* и Мы ехали *бок о бок* — в последнем случае смысл «непосредственное касание» не выражен. Категориальная близость номинативного замысла и эмпирического образа, лежащего в основе номинации (в данном случае — их пространственная ориентация), не создает условий для психологического напряжения, так как *бок о бок* — и есть ‘совсем рядом’, а сама идиома выполняет идентифицирующую функцию. Однако даже при таких условиях в идиоме *бок о бок* осознается ее соотнесенность с эмпирическим образом. В границах этого соотнесения и формируется образный гештальт как редуцированный эмпирический образ, полностью «сбалансированный» с типовым представлением и с данным значением. То, что этот образный гештальт, выделенный для анализируемого примера в скобки (как бы касаясь боками), осознается, видно из того, что он работает не только на семантику идиомы (на ее денотацию), но и на ее синтагматику (на комбинаторные свойства). Идиома *бок о бок* (I) может сочетаться только с теми словами, обозначаемые которых в наивной картине мира, свойственной русскому обиходно-бытовому сознанию, мыслятся как имеющие «бок». Например: Дом стоял *бок о бок* с сараем, но *Дом стоял *бок о бок* с лесом (у леса есть *край*, а не *бок*), ср. широкую сочетаемость наречия *сбоку*: Дом стоял *сбоку* от леса.

Анализ следующего примера *бок о бок* (II) показывает, что образная гештальт-структура воздействует на оценочную, эмотивную и стилистическую структуру значения. В *бок о бок* (II) денотативный аспект значения формируется во взаимодействии двух фреймов, участвующих в категоризации обозначаемого: номинативное основание задано категорией «межличностные отношения», а образное — «пространственная ориентация — близко, рядом». Воздействие эмпирического образа на денотацию прослеживается в изменении класса актантов — X и Y здесь только люди, действующие как одно функциональное целое для достижения общей цели. Образный гештальт ассоциируется с подобием, выделенным в скобках: X и Y взаимодействуют (как бы касаясь бок о бок и поддерживая друг друга). Как и в (I), образный гештальт действует и в синтагматическом развертывании значения: именно он блокирует высказывания типа *Супруги, враждуя, прожили *бок о бок* всю жизнь, которое может прочитываться только как (I), а Супруги прожили *бок о бок* всю жизнь — как (II).

Если (I) безразлично к оценке, то (II) имплицитно подразумевает положительный рационально-оценочный модус, который связан с денотативным аспектом значения: «X и Y взаимодействуют в общем для них положении вещей, объединяя усилия для достижения общей цели, и говорящий считает, что это «хорошо»».

Значение идиомы *бок о бок* (II) явно отличается от (I) экспрессивной окраской, так как, помимо рациональной оценки, в (II) выражается и эмоциональная оценка — позитивное чувство-отношение одобрения, переживаемое субъектом речи, использующем идиому и тем самым воздействующим на адресата. Так, высказывание Мы трудились *бок о бок* может быть продолжено: И это здорово <доставляет удовлетворение> и т.п. Положительная эмоциональная оценка связана здесь не с денотацией, а с образным гештальтом, который как бы вспыхивает в сознании, служа стимулом для эмоционального переживания. Его роль состоит исключительно в актуализации чувственно-психической сферы, естественно — в той мере, в какой редуцированный образ способен ее возбуждать. Например, в *вешать лапшу на уши* перцептивное восприятие в силу необычности самого буквального прочтения подробнее, а с тем самым — и ярче, действеннее, чем в *бок о бок* (II). Столь же эмоциогенен и образный гештальт в идиоме *турусы на колесах*: в языковом сознании *турусы* воспринимается в настоящее время не как *тура*, т.е. башня, которую на колесах подкатывали к стенам крепости для ее штурма [ОЭСРФ], что относится к области специального знания — этимологии, а как нечто «непонятное» на колесах, а тем самым — как какая-то «небывальщина», и это создает психологическое напряжение.

Подобное восприятие характерно и для звуко­символизма: в идиомах типа *тары-бары-растабары*, как уже отмечалось выше, нет изобразительной гештальт-структуры, однако звуковая ассоциация, создает представление о пустопорожних разговорах, а их бессодержательность соответствует бессодержательности буквального прочтения идиомы. Конечно же, нужны специальные экспериментальные исследования, устанавливающие рефлексии языкового сознания на такого рода образные гештальты, но используя интроспекцию, можно сказать, что именно отсутствие «картинки» при общем понимании того, о чем идет речь, заставляет ассоциировать звуки с той или иной ситуацией.

И, наконец, только «умственным взором» можно представить себе, что *отправиться к праотцам, отдать Богу душу* — это перейти в мир иной, в отличие от *протянуть ноги*, что связано с «изобразительным» рядом (ср. также *откинуть копыта* и т.п.).

Приведенные выше примеры показывают, как разнообразны могут быть образные основания идиом — начиная от изобразительных, связанных с тропеическими приемами самого идио­мообразования, с символическим восприятием компонентов, и кончая звуко­символизмом и т.п. Все эти приемы могут взаимодействовать друг с другом, создавая сложные переплетения в мотивации эмоциональных реакций и переживаемого на их основе чувства. Ниже в самом общем виде приводятся все типы мотивации, так или иначе создающие ассоциативно-образное восприятие идиом.

Но прежде необходимо отметить, что образная гештальт-структура может быть «простой», элементарной, т.е. состоящей из одного «вещного» представления, или сложной, включающей в себя коктейль из тропов и других ассоциируемых с образным гештальтом приемов. П о л и м о т и в а ц и о н н о с т ь образной гештальт-структуры — скорее норма, чем исключение: думается, что здесь действует не только психологическая поддержка, но и поддержка кодовая (апеллирующая к языковой компетенции носителя языка).

На то, что в образном основании идиомы могут переплетаться разные тропы, внимание уже обращалось, и неоднократно (см., например, [Гаврин 1974; Мелерович 1979] и др.). Более того, предпринимается попытка описать в виде словаря окказионально-авторское употребление фразеологизмов, привносящее свои тропеические «добавки» в модификации фразеологизмов и тем самым усложняющее ее «исходное» образное основание [Мелерович 1980]. Ясно одно: идиомы — это всегда метафоры, но в метафору вовлекаются и другие тропы, а также гипербола и литота и т.п.

Например, в таком, казалось бы «простом» тропе, лежащем в осно-

ве идиомы *выходить из окопов*, «совмещены» метафора и метонимия (по компоненту *окопы*), в *давать сто очков вперед*, метафора основана на метонимии — «ход» в игре в кости, в которую включена гипербола *сто очков*. Образная мотивация может быть связана не с эмпирической датой, а с некоторым ее суррогатом — аллогизмом («небывальщиной»), что видно из следующих примеров: *согнуть в бараний рог*, *шапками закидать*, *полетел от Машки вверх тормашки* (ср. также ноологию: *вешать лапшу на уши*, *накрыться медным тазом* и т.п.). Как считает Е.А. Рысева, есть все основания полагать, что само «свойство идиоматичности существенным образом связано с механизмом тропеизации» [Рысева, Рукопись]. В этой же работе приводятся такие примера «тропа в тропе»: *вправлять мозги (по мозги)*; взаимодействие тропов с символами — *нести крест (по крест)*, *путеводная звезда (по звезда)*, с квазисимволами — *держат в руках (по рука)*, *разбить сердце (по сердце)* и т.п., с квазиэталоном — *семь пядей во лбу*, *косая сажень в плечах*, комбинация тропов с гиперболой и литотой — *яблоку негде упасть, от земли не видать*, с олицетворением — *волосы встали дыбом*, *краска бросилась в лицо* и т.п. Возможна и комбинация тропов с грамматическими метафорами: *с умом*, где *ум* выступает как «творительный инструментальный», обретая свойство орудия и т.п. [Ковшова 1991].

Особую актуальность в связи с исследованием образной гештальт-структуры представляет параметризация всех типов «сигналов», которые она возбуждает в воображении vs. сознании. Именно такая параметризация, созданная для Машинного фонда идиом, лежит в основе ввода в память ЭВМ мотивационного «пакета» информации, где предлагается следующий «набор» параметров [Макет словарной статьи 1991].

— EXFORM — мотивация звуковой формой идиомы, например, как в *олух царя небесного*, *теньти-бренти*, *ни бельмеса* и т.п.

— MORFORM — морфологическая мотивация: *шевелить мозгами*, где благодаря творительному инструментальному обозначается орудийная роль натурального объекта — *мозга*, то же — *с умом* (делать что-л.) и т.п.

— SYNTFORM — наличие синтаксической поддержки образной гештальт-структуры, как, например, в *рылом не вышел* на фоне *умом, ростом* и т.п. *не вышел*, ср. также инверсию в *голова садовая*, *гусь лапчатый*, вносящую представление об интенсивности свойств и т.д.

— IMAGE-I — осознание образа как «вещного» или событийного, например, как в *пугало огородное*, *пойти в атаку, до кровавого пота* и т.п., что дает основание для использования оператора *вообрази*.

— IMAGE-II — осознание образа «внутренним взором», умозри-

тельно представимого, типа *задавать тон, семь пятниц на неделе, не чета, без задней мысли* и т.п.

— IMAGE I/II — комбинация этих типов образов, как, например, в *дрожать <трястись> над каждой копейкой*, где квазиэталон *копейка* не входит в модус фиктивности *как если бы*, поскольку воспринимается не как «вещь», а на основе знания о функции копейки; *больное место*, где компонент *место* не вообразим, хотя *больное место* — это какая-то болячка; *первая ласточка* и т.п.

Наличие подобного рода «коктейлей» из конкретных, изобразительных компонентов и компонентов, представимых умозрительно, потребовало введения и особых параметров для символов или квазисимволов, а также эталонов и квазиэталонов. Совершенно очевидно, что заполнение этих зон мотивации дает представление о том, насколько в идиомах используются «наивные» представления о символе, мере и т.п., что, в свою очередь, позволяет расписывать культурно-национальную специфику того, как мыслится власть (ср. *взять в руки, держать в руках, иметь руку* и т.п.) и т.п., как мыслится «много» или «мало» (*тьма-тьмуца, с гулькин нос*) и т.п.

Безусловно, огромную роль в мотивации играет и культурно-историческая память, «записываемая» в этимологическую зону, хотя, не зная подробностей, носители языка все же помнят о *Мамаевом побоище*, о том, что идиома *как Батый прошел* означает полное опустошение и т.д. и т.п.

Компьютерная обработка всех типов мотивации обязывает выявить все мотивационные сигналы, а кроме того — дает возможность не только оперировать большими массивами данных, но точнее представлять себе, за счет какого именно сигнала усложняется или упрощается образный гештальт. Например, вопреки ожиданию, идиома *одного поля ягода* не создает психологического напряжения, поскольку *одного поля* — «одинаковы» погащает конкретный образ ягоды, а сама гештальт-структура образа скорее умозрительна, нежели — «вообразительна», а *два сапога пара* — создает, так как эта идиома выступает как термин отношения, сопоставляющий лиц, воображаемых в модусе фиктивности *как если бы* это — *пара сапог* (что, естественно — вызывает пренебрежение, поскольку люди — не сапоги) и т.п.

Образная гештальт-структура — это, конечно же, изначально — случайное подобие. Однако и в этой случайности должна просматриваться какая-то закономерность. Мы усматриваем ее в том, что из множества повседневно творимых носителями языка метафор, закрепляются и узуализируются как идиомы далеко не все, а те, которые понятны по своей аналогии, следовательно — сам образ культурно-нацио-

нально созвучен обиходно-бытовому мировидению, поэтому он может отображать и миропонимание. Так, например, из множества повседневных для нашего времени ходячих метафор, таких, например, как *сесть на иглу* (у которой уже намечается два значения: 'стать наркоманом' и 'стать «пользователем» какого-либо «допингового» кредита'), *накачивать мускулы*, *раскачивать лодку*, наряду с *за бугор*, *залезть на дерево*, *оказаться в обозе* и т.д., только у второй и третьей есть, как представляется, шансы остаться в языке.

Этот прогноз можно сделать на основании того, что *сесть на иглу* — метафора, пришедшая из жаргона наркоманов и описывающая конкретную процедуру, смысл и содержание которой известно далеко не всем носителям языка; *за бугор* — станет скорее всего историзмом, *залезть на дерево* (ср. *залезть на стенку*) слишком многофункциональна по смыслу, а главное — не очень характерное, и в то же время не парадоксальное действие, а *оказаться в обозе* — «военная метафора» с архаичным для нашего времени образом обоза, что лишает его жизненных сил. Приведем примеры: Анкара *сидит* на западной кредитной *игле* (*Куранты*, 1992); Говорят, что *накачивает мускулы* «правая» (или «левая») национал-коммунистическая оппозиция (*Куранты*, 1992); Обилие фракций и их противоречащие друг другу предложения только *раскачивают лодку* реформ (*Куранты*, 1992); Еще год такой разорительной для народа политики, и мы *залезем на дерево* (*Правда*, 1992); Если партия все более будет отставать от происходящих в стране процессов и вместо авангарда, которым себя провозгласила, *окажется в обозе*, то перед многими социально активными членами... неизбежно встанет вопрос о выходе из партии (*Куранты*, 1990).

Образная гештальт-структура — это та пуповина, которая связывает значение идиом с культурно-национальными коннотациями — интерпретацией образа в категориях культуры, дающими доступ к миропониманию народа — носителя языка (см. ниже).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

— Образная гештальт-структура — это редуцированный образ, существующий в языковом сознании наряду с типовым представлением как образом прототипическим.

— Роль образной гештальт-структуры проявляется лишь косвенно — через ее эмоциогенность, а также культурные и стилистические коннотации — их наличие и есть косвенное свидетельство присутствия в языковом сознании этой сущности.

— Образная гештальт-структура есть своего рода квазиденотат, соотносимый не с обозначаемым идиомы, а с его подобием.

— Возможно разграничить по крайней мере три типа образных гештальт-структур, характерных для идиом: «изобразительную», перцептивно воспринимаемую, умозрительную (основанную на знании по знакомству) и композицию того и другого, т.е. своего рода коллаж, в котором часть образа конкретна («изобразительна»), а другая — абстрактна, но вместе они соединяют то, что можно *вообразить* и то, что можно только *представить себе* на основе знания, источником которого могут быть тексты, символы, эталоны и т.п.

— Образные гештальт-структуры воспринимаются как эмоциогенные стимулы, если они воздействуют на психоэмоциональную сферу, в противном случае они только поддерживают идиоматичность.

Эмотивный компонент значения идиом и его иллюкутивная сила

Эмоционально-оценочное отношение субъекта речи (говорящего) имплицативно связано с образной гештальт-структурой, в какой бы форме она ни была явлена — в «изобразительной», умозрительной или звукосимволической (вместе с другими типами мотивации). Чтобы убедиться в этом, достаточно привести ряд примеров для сравнения: *глупый* — только рациональная оценка, *осел* — рациональная и эмоциональная, *олух царя небесного* — рациональная и эмоциональная, ср. соответственно, *бездельничать* и *бить баклуши*, *плевать в потолок*, *гонять ворон*; *сплетничать* и *перемывать косточки*; *наказать* и *намылить шею*; *обманывать* и *пудрить мозги*, *вешать лапшу на уши*; *раздражать* и *сидеть в печенках* и т.п., Примеры показывают, что разница в той информации, которую несет необразное слово и идиома очевидна: слово обладает рациональной оценкой, погруженной в контекст мнения, а идиомы (равно как и образно мотивированные слова), помимо этой оценки, выражают и то чувство, которое испытывает говорящий к обозначаемому, «демонстрируя», это чувство самым выбором идиомы: Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющемуся смеху девчонок — то-то *перемывают сейчас ему косточки* (Ф. Абрамов, *Безотцовщина*) (не просто говорят о нем, сплетничают и т.п., но говорят с пренебрежением, выискивая все «мелочи» в его поступках и т.п.); В некоторых районах еще в прошлом году давали до сорока процентов надбавки — правда, в газетах за это не хвалили... Ну и что! Ну и тебе *намылят голову* (Ф. Абрамов, *Вокруг да около*) (не просто не похвалят или осудят а устроят взбучку, выразят бурное недовольство и т.п.); Эти новые дома с заколоченными окошками *в печенках сидят* у каждого председателя колхоза. Хозяевами их являются... правдами и неправдами удравшие в свое время из колхоза (Ф. Абрамов, *Вокруг да около*) (не только раздражают, приводят в уныние и т.п., но постоянно

и надоедливо раздражают, что вызывает неодобрение); Если Конституционный суд сочтет указы президента недействительными... то они потеряют силу и некогда правящая партия сможет, возродившись из пепла, снова «пудрить мозги» миллионам россиян (*Куранты*, 1992) (с презрением будет продолжать обманывать, считая россиян глупцами и т.п.). Примеры подобного рода можно было бы продолжить, но и из приведенных видно, что идиомы привносят с собой в текст чувство-отношение, дополняющее рациональную оценку. Выше мы назвали этот «добавочный» эмоционально-оценочный модус *э м о т и в н о с т ь ю* и показали различие в природе рационального оценивания и эмоционального отношения: первое соотносит с ценностной картиной мира, а второе — с психоэмоциональным «состоянием души».

В лингвистике достаточно подробно исследована рациональная оценка и только поставлены задачи изучения оценки эмотивной (см. [Телия 1986; 1991; Шаховский 1987; Графова 1991; Графова, Шахнарович 1991; Маслова 1991; Лукьянова 1991], ср. также [Лукьянова 1986], где эти оценки еще не разведены). Причина небрежения к эмотивности как к фактору субъекта кроется, как представляется, в том, что рациональная оценка и аппарат ее описания были непосредственно заимствованы лингвистикой из аксиологии — логики оценки (Г.Ф. Вригт, З. Вендлер, А.А. Ивин, которые являются пионерами лингвологической теории оценки, — логики). Логика же, не занималась (и сейчас не занимается) тем, что принято относить к экспрессивным средствам языка. И это понятно: скорее всего эти последние «производятся» при доминации не левого полушария, отвечающего за логичность умозаключений, а правого — «художественного», а художественное как стимул для эмоционального реагирования исследуется в психологии.

Действительно, в тестах на экспликацию экспрессивно окрашенного значения, как слов, так и идиом в поясняющей состоянии субъекта речи реплике обычно появляются такие предикаты, которые обозначают либо чувства-состояния, либо чувства-отношения, либо и то и другое в указанной последовательности (на что обратила внимание Т.А. Графова [1991]). Например: Ну и тряпка же ты, с раздражением и пренебрежением сказал X, где первый предикат обозначает чувство-состояние (актуальное для данной ситуации), а второй — чувство-отношение. Аналогичным образом эксплицируются и идиомы, например: Он пудрит всем мозги, — с раздражением (или возмущением) и неодобрением сказал X; Он намылил ему шею, — с удовлетворением (или радостью) и одобрением (с недовольством и осуждением) сказал X; Сидя на лавочке, они перемывают косточки своим соседям — с раздражением (или возмущением) и осуждением сказал X; Он — врач без году

неделя, — с недовольством и пренебрежением сказал X; Она — голь перекатная, ни кола ни двора, — с раздражением и презрением — сказал X и т.п.

На то, что эмоциональная оценка в тексте часто сопровождается описанием эмоционального состояния субъекта речи или интерпретатора, обращала внимание и Н.А. Лукьянова [1986]. В одной из более поздних работ автор пишет: «... обобщенные словарные пометы *одобр.*, *неодобр.*, *пренебр.*, *презр.*, *уничиж.* эксплицируют даже не столько эмоции, сколько оценки, т.е. мнения, суждения, отзывы говорящих о свойствах, качествах объектов, а соответствующие им эмоции/чувства (точнее блоки, спектры эмоций/чувств) скрыты в оценках и «разворачиваются», актуализируются в конкретных высказываниях» [1991, 168]. Мы уже отмечали, что в этой концепции рациональная и эмоциональная (эмотивная) оценка не разграничиваются, но по закону «гони природу в дверь — она влетит в окно» Н.А. Лукьяновой приходится разграничивать разные сигналы в том, что она считает оценкой: «... в универсальной словарной помете *одобр.* фиксируется представление говорящих о положительной оценке реальных явлений (мы бы сказали — о положительной рациональной оценке — *В.Т.*), связанной с похвалой, с признанием предмета речи (реального объекта, явления, поступка, поведения, качества свойства, действия, ситуации, факта и т.п.) хорошим, правильным, удовлетворяющим некоторой средней социальной (коллективной или индивидуальной) норме, а эмоция (мы бы сказали — чувство. — *В.Т.*), выступающая аппаратом оценки, способом ее невербального выражения, оказывается как бы «поглощенной» оценкой, скрытой в ней, «свернутой в почку», которая в конкретных высказываниях «разворачивается», «раскрывается» в большей или меньшей степени» (с нашей точки зрения чувство-отношение, составляющее содержание эмотивности, «насыщается» эмоционально за счет актуализации в тексте психологического состояния «действующих лиц» — *В.Т.*). И далее (с чем нельзя не согласиться полностью): «...характер эмоциональной оценки экспрессивных лексических единиц зависит от содержания высказывания в целом, в частности от той эмоции, которой «окрашено» конкретное, данное высказывание как часть некоторого построенного (письменного) или непосредственное (устного) текста» [1991, 168, 170].

Для пояснения сказанного приведем пример автора: А, доброе утро, доброе утро, дорогая, — сказал он очень *по-доброму*... Вот какая она у меня, — *похвалился он, — лед и пламень!* — А что это у нее с ногай? — поинтересовался Мячин. — Да *сумасшедшая же, дура!* — выругался Нейман *нежно и восторженно*... (Ю. Домбровский, *Факультет ненуж-*

ных вещей). В этом отрывке наименования *сумасшедшая* и *дура* обретают положительную эмоциональную окраску (которая может быть эксплицирована как «с нежностью и восторгом сказал X»), а тем самым выражают чувство-отношение одобрения вместо узуально закрепленного за ними чувства-отношения неодобрения (для слова *сумасшедший*) и пренебрежения (для — *дура*). Что не означает, однако, что у каждого из этих слов есть рационально-оценочная модальность (в тексте — «хорошо», в узусе — «плохо»), а также возможный спектр собственно эмоциональных реакций, выражаемых в форме чувств-состояний типа досада, раздражение, гнев, ярость и т.п. для *сумасшедшая* и *дура* в узусе, нежность, восторг и т.п. — в тексте (при условии мотивации этого спектра чувств-состояний).

Итак, эмотивность может рассматриваться с точки зрения узуса употребления (конвенциональности) и употребления окказионального. Но такого рода варьирование присуще всем прагматически ориентированным, т.е. основанным на факторе субъекта, значениям. Безусловно, возможности окказионального эмотивного употребления не бесконтрольны. Например, вряд ли уместно говорить о том, что *перемывать косточки* вызывает восторг, восхищение и говорится с одобрением, что тот, о ком говорят *голь перекатная*, вызывает нежность и одобрение, а работа *до седьмого пота* — ярость и пренебрежение и т.п. «Программирование» эмотивного варьирования нуждается в самом тщательном исследовании с учетом текстовых пресуппозиций. И это — неотложная задача, поскольку в словарях активного типа необходимо предусмотреть все возможности употребления экспрессивно окрашенной лексики и фразеологизмов.

Возвращаясь к примерам, эксплицирующим осознание эмотивности фразеологизмов (типа *Эх ты, голова садовая*, — с досадой и пренебрежением сказал X), еще раз отметим, что чувство-состояние — это как бы след эмоциональной реакции: оно кратковременно, активно и может зависеть от расклада ситуации, а чувство-отношение — это как бы «продуманное» эмоциональное отношение. Так, если раздражение, ярость (*Чтоб тебя черт подрал!*), гнев (*Опять ты, негодяй, весь день в потолок плевал!*), радость (*Ну и дали ему там прикурить!*) целиком ситуативны, т.е. зависят от контекста, то чувства-отношения — социологизированы.

Так, *презрение* — это «чувство-отношение, объектом которого выступает «этическое лицо» (реже — группа лиц или социальный коллектив). Это устойчивое, интенсивное эмоционально-оценочное отношение отрицательного спектра, возникающее только в связи со значимыми для субъекта людьми или событиями и вызываемое либо

нарушением объектом оценки основных морально-этических норм субъекта (и общества) в сфере межличностных или социальных отношений, либо осознанием субъектом своего превосходства над объектом в силу принадлежности последнего к менее престижному социуму, нежели тот, членом которого он сам является» [Графова 1991, 68] (разр. наша — В.Т.). Именно такого рода нарушение объектом морально-этических норм субъекта или осознание своего социально-престижного превосходства над объектом и создает тот «перепад», который вызывает эмоциональное состояние. В самом деле, раздражение, радость, гнев и т.п. могут сопутствовать многим ситуациям — приезду, подарку, погоде и т.д. и т.п., но презираем мы только в том случае, если субъект воспринимает себя как носителя морально-нравственных норм, а объект нарушает эти нормы или же если субъект — представитель «элитарного социума», а объект — социально нереспектабелен (по иерархии, расе, идеологическим убеждениям и т.п.): *X — Иуда; X за тридцать серебряников готов пойти на любое; X — мужик (хамское отродье); X — черномазый (кацап); X — контра, христопродавец* и т.п. Следовательно, эмоциональное состояние сопутствует этому перепаду, но вызвано образным гештальтом. Ср.: *Я презираю его, поэтому он вызывает у меня раздражение <гнев, ярость>, но *Я раздражен <во гневе, в ярости>, поэтому он вызывает у меня презрение.* Эта импликатура — «презрение ← эмоциональное чувство-состояние, но не наоборот», говорит о том, что структура указанного выше соотношения субъекта и объекта образует прагматическое предусловие» (по Т.А. ван Дейку) выбора образа, без которого невозможно вызвать соответствующее эмоциональное состояние.

Необходимо заметить также, что «презираемое» — это всегда лицо, со стороны которого имеет место нарушение этических норм, либо лицо, которое «ниже» по социальной иерархии, по расовому признаку, либо идеологический противник, исповедующий «низменные» истины и т.п. Именно лицо как объект презрения и вызывает тот или иной «накал страстей».

В этой связи уместно подчеркнуть, что речь идет не о лексических значениях слов типа *презрение, пренебрежение, неодобрение* и т.п., которые в обиходно-бытовом употреблении могут выступать как синонимы, а о концептуально-терминологическом содержании этих слов, используемых как пометы в словарях. В последних, кстати, слово-помета часто ставится в соответствии с «обычным» значением слова, а не с его терминологическим содержанием. Так, например, в ФСРЯ идиома *олух царя* небесного вообще не имеет никакой эмотивной пометы, а

в ШФСРЯ — имеет помету *презр.* при толковании «Очень несообразительный, недалекий человек; тупица» [231], но вряд ли можно презирать тупиц (равно как глупых, тугодумов и т.п.): здесь выражается высокомерное отношение, мотивированное не социальными статусами, а нарушением «эталонного» качества (ума) того, о ком идет речь. Ср. также устойчивое выражение *презирать опасность*, где, с нашей точки зрения, речь идет о пренебрежении к тому, что опасно, т.е. сама опасность квалифицируется как то, чем можно пренебречь и т.д. и т.п.

Для чувства-отношения *п р е н е б р е ж е н и я* характерен иной расклад факторов, вызывающих его: такое чувство возникает в тех случаях, когда субъект отношения воспринимает себя как некий «эталон», образец, знаток и т.п. (некто вроде эксперта), а объект «недостойн» его интереса, внимания, не имеет для него существенного значения или значимости. При этом объектом отношения в данном случае может быть как лицо (*хвостун, баба* — о мужчине, *недотепа, невежа* и т.п.), так и поступки лица, его свойства (*Мели, Емеля, твоя неделя, дрожать над каждой копейкой, заводить шуры-муры; голый король, не все дома, крыша поехала* и т.п.), а также — артефакты (что для идиом нехарактерно, ср., однако: *тряпье, гроши, домишко* и т.п.).

Это несоответствие «настоящего», «подлинного» по своим качествам, достоинствам и т.п., и того, что недотягивает до такого эталона или стереотипа (которые складываются в обиходно-бытовой ценностной картине мира) и вызывает чувство-отношение пренебрежения. И это отношение может сопровождать эмоциональная реакция, но всегда более слабая по интенсивности чувства-состояния, чем та, которая характерна для презрения: в этих случаях дело не доходит до гнева, ярости, бурного негодования. Например: Он всю жизнь *дрожит над каждой копейкой*, — с недовольством и пренебрежением сказал X; У него *крыша поехала* — со злорадством и пренебрежением сказал X и т.п. Скорее всего в этих случаях можно говорить об общем негативном эмоциональном фоне, который может быть «разбужен» только образом — подобием (ср. *Здесь неопратно* и *Здесь авгиевы конюшни*).

Чувство-отношение, называемое *у н и ч и ж е н и е м*, — это опять же результат дисбаланса, между субъектом, который, считая себя «суперменом» (чаще всего — физическим), усматривает в объекте (лице или артефакте) «отклонение от нормы», «униженное» состояние объекта. Ср.: *неуклюжая* и *корова на льду, высокий* и *каланча пожарная, смотреть тупо-непонимающе* и *как баран на новые ворота* и т.п., ср. также *очень худая* и Она с крихтеньем стала взбираться обратно на печь и... отозвалась оттуда о себе: — Ох, свежий человек поглядел бы: и правду баба-яга, *ни кожи ни рожи!* (*В. Распутин. Прощание с*

Матерой); *сильно напиться* и Не успел человек заявиться — он рюмки выпрашивать. Ты гнала бы его... Он ведь шары нальет — *море по колено* (Ф. Абрамов. *Две зимы и три лета*).

Указать человеку на его несоответствие некоторому «нормальному» качеству (чаще всего — физическому, реже интеллектуальному или социальному) или положению дел (обычно — незнанию или несоблюдению норм поведения) — значит унизить его и тем самым оскорбить. Не случайно же, чтобы унизить кого-л. прибегают и к бранной лексике (инвективам). А сама помета бран. часто выступает в комбинации *бранно-уничиж.*

Чувства-отношения осуждения или порицания возникают на том фоне, когда субъект отношения берет на себя роль судьи за какие-либо проступки объекта отношения, «преступившего закон» общезнания (при этом порицают только тех, кто не ведает, что творит — детей, больных и т.п.): *лежать на боку, сидеть сложа руки, лезть <переть> на рожон, вставлять палки в колеса, замазать рот кому-л.* и т.п. (в основном это сфера нарушения норм поведения).

Еще более «размытым» по своему основанию является *неодобрение*: субъект этого отношения воспринимает поступки, поведение, свойство объекта — лица, его акций и т.п. как «недолжные», полагая, что ему известно, как должно быть, чтобы мир не утратил своего обычного порядка вещей. Субъект такого отношения — это своего рода «блюститель» приличий, соразмерности в деяниях и т.п., а также — комфорта, удобства и т.д.: *хоть кол на голове теши, тянуть воз, отбиться от рук, биться как рыба об лед* и т.д.: Беда с этим парнем. И работенкой-то, кажись, не неволим, а совсем *от рук отбился*. Одно слово — безотцовщина (Ф. Абрамов, *Безотцовщина*); Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова: — *Бьешься, бьешься как рыба об лед...* Обидно! (М. Булгаков, *Театральный роман*); *Ельцин стреляет холостыми* (Моск. комсомолец, 1992).

Такой широкий диапазон чувства-отношения неодобрения, его «немаркированность» по тому основанию, которое характеризует субъекта, а также объекта отношения, связана и с «вялостью» чувств-состояний, которые сопутствуют неодобрению. Так, в приведенных выше примерах *от рук отбился* — говорится с сожалением и неодобрением, *биться как рыба об лед* — с жалостью (к себе) и неодобрением, *стреляет холостыми* — с неудовлетворением и неодобрением и т.п.

Итак, выше мы привели экстенционалы таких чувств-отношений, как неодобрение, презрение, пренебрежение, уничижение и осуждение/порицание, т.е. представили их как «отношение души», которое возникает при «перепаде» должного и несоответствия ему. И при этом

в качестве «исполнителя канона» выступает субъект отношения, а «нарушителя» — объект. Описываемое указанными предикатами чувство-отношение само по себе эмоциональной реакции не вызывает, но, будучи выраженным в речи в форме перформатива представляет собой «вердикт», «приговор» достоинствам, свойствам или качествам объекта.

Как уже отмечалось выше практически все из названных нами предикатов попали в список тех глаголов, которые э к с п л и ц и р у ю т и л л о к у т и в н у ю с и л у в ы с к а з ы в а н и я у Дж. Остина [1986]. Определяя их как в е р д и к т и в ы, Дж. Остин писал, что «вердиктивы выделяются по признаку вынесения приговора присяжными, арбитром или рефери, что и заключено в их названии. Но вердикт вовсе не обязан быть окончательным, он может представлять собой, например, оценку, мнение или одобрение. В сущности мы здесь сталкиваемся с решением относительно чего-то — факта или оценки, вынести которое с полной уверенностью бывает по разным причинам затруднительно» [Указ. соч., 119].

В списке Остина даны по преимуществу юридические термины, но он же замечает: «Другие примеры можно найти в высказываниях, связанных с одобрением или неодобрением, или вообще оценкой качеств человека, типа «Я называл бы его прилежным» [Указ. соч., 120]. С таким же успехом можно сказать: *Я назвал бы его предателем, ср.: Он — Иуда; Я назвал бы его проходимцем, ср. Он — стреляный воробей <не промах>; Я назвал бы его скрягой, ср. Он дрожит <трясется> над каждой копейкой; Я назвал бы его лодырем, ср. Он бьет баклуши/гоняет ворон/плюет в потолок* и т.п. Думается, что аналогия очевидна.

И еще одно очень важное для нас высказывание: «В жизни человека часто бывают ситуации, когда он испытывает какую-либо «эмоцию», или желание, или определенным образом относится к чему-то... данную эмоцию или желание можно, конечно, испытывать реально; но поскольку другим людям нелегко распознать наши чувства или желания, то мы обычно и с п ы т ы в а е м п о т р е б н о с т ь с о о б щ и т ь о к р у ж а ю щ и м о б и х н а л и ч и и» (разр. наша — В.Т.), и далее приведены примеры, в которых имеют место и прямые соответствия указанных выше чувств-отношений: «Я порицаю», «Я одобряю», «Я осуждаю» [Указ. соч., 73]. Дж. Остин замечает, что первые два высказывания относятся к перформативным высказываниям, а третье — к «перформативам уже не чистым, а наполовину описательным высказываниям. Наиболее сильным тестом, выявляющим иллокутивную силу, т.е. использование слова, равнозначно совершению поступка (акции), является, с нашей точки зрения, вставка наречия *умышленно*, которое

сигнализирует об ответственности за содеянное (см. [Указ. соч., 74]): *Я умышленно выразил свое презрение; Я умышленно выразил пренебрежение; Я умышленно выразил уничтожение* и т.д., но **Я умышленно раздражаюсь/негодую/радуюсь* и т.п.

Таким образом, сообщение о переживаемом чувстве-отношении — это, пожалуй, единственный способ эксплицировать его как «поступок души». И поскольку презрение, пренебрежение и т.п. — не вердикты суда, а «приговоры души», эксплицируемые в речи чувства-отношения можно назвать э м о т и в а м и (не порывая традиции с их семантическим статусом), определяя их как э м о ц и о г е н н ы е п е р ф о р м а т и в ы (*Я презираю тебя/унижаю/одобряю* и т.п.).

Вернемся еще раз к диалогу с Дж. Остиным. «Сказать: «Плевать» — значит плевать (в соответствующих обстоятельствах), но если слово «плевать» не произнесено, то акт пренебрежения не осуществлен» [Указ. соч., 75] (в оригинале приводится пример с английского *snar* ‘щелкать’ (пальцами) — *В.Т.*). Аналогичным образом: Сказать: *Он — олух царя небесного*, значит сказать *Он глуп*, что «плохо», но то, что он такой, как если бы был олухом царя небесного, вызывает у меня пренебрежение, о чем я и предумышленно сообщаю; *Я — олух царя небесного* — все то же, но только «невсерьез» (о себе с пренебрежением в норме не говорят), т.е. с оттенком иронии.

Итак, мы полагаем, что для того, чтобы выразить неодобрение, презрение, пренебрежение или одобрение как иллокутивную силу можно прибегнуть к прямому вердиктиву: типа *Я презираю тебя; Я одобряю тебя* или же к эмотиву: *Ты — Иуда <хриstopродавец>: нагрел руки на чужой беде* и т.п. Уместно напомнить, что экспрессивы у Серля, к которым он относит речевые акты, способные «выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно положения вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания», типа *благодарю, поздравляю, извиняюсь* и т.п., не имеют ничего общего с той иллокутивной силой, которую мы соотносим с эмотивами [Серль 1986, 183—184].

То, что эмотивы пока что не описаны в теории речевых актов, можно объяснить многими причинами, но главная из них — пренебрежение к образно-мотивированным средствам языка, в особенности — к идиомам. Вторая причина кроется, как представляется, в том, что глаголы типа *презирать, одобрять, порицать* и т.п., описывающие в неперформативном употреблении чувства-отношения (ср. также англ. *approval* — одобрение, *contemptuous* — презрение, пренебрежение, *deregatory* — уничижительно, *offensive* — оскорбительно и т.п., употребляю-

щиеся в словарях как соответствующие пометы) в перформативном употреблении еще не описаны.

Третья причина кроется в самом метаязыке описания: в декларативной форме толкования, характерной для словарей, дается как бы «инфинитивное» описание. Например, для идиомы *дрожать <трястись> над каждой копейкой* декларативной будет такая форма: *X* чрезмерно скуп, и говорящий считает, что это «плохо», и то, что *X* ведет себя, как если бы дрожал над каждой копейкой, вызывает у говорящего презрение (речевой стандарт). Мы предлагаем модификацию *п р о ц е д у р н о й* записи толкования, разработанную А. Вежбицкой (см. выше): Я знаю, что *X* — чрезмерно скуп, я считаю, что это «плохо», я говорю тебе: вообрази, что *X* ведет себя так, как если бы дрожал над каждой копейкой, и этим я предумышленно даю тебе понять, что я презираю *X-а* за это и хочу, чтобы ты испытал то же чувство. Несмотря на неуклюжесть этой записи, она в явной форме показывает перформативность идиомы, поскольку выбор образа «говорит» слушающему о том, что говорящий умышленно употребил ее — в соответствии с теми или иными прагматическими предусловиями. Содержание предиката *испытай чувство-отношение P* соответствует этой когнитивной процедуре.

В режиме слушающего эту запись можно представить следующим образом: Ты говоришь мне, что *X* дрожит над каждой копейкой, следовательно — *X* чрезмерно скуп, что «плохо», и ты предумышленно даешь мне понять этим образным подобием, что презираешь *X-а*, следовательно — хочешь, чтобы и я презирал его. Из этой записи, кстати говоря, хорошо видна несимметричность речевой деятельности адресанта и адресата: первый, используя идиому, знает, о чем идет речь, а второй должен понять, о чем идет речь.

То, что идиомы придают высказыванию ту или иную иллокутивную силу, обуславливает ограничения в употреблении их в речи, обращенной к «Ты» и к «Я»: сказать *Ты дрожишь над каждой копейкой* можно, но это уже «невежливо» — в игру вступают нормы общения, в частности — максимы Грайса [Spice 1975]; сказать *Я дрожу над каждой копейкой* также можно, но это уже скорее жалоба, чем презрение, так как вряд ли «Его» презирает себя.

Но во многих случаях запреты имеют характер императива: *Он пьет мою кровь* — говорится, чтобы высказать неодобрение; сказать *Ты пьешь мою кровь* — значит осудить собеседника, обвиняя его; сказать *Я пью твою кровь* невозможно, так как это значило бы сказать 'Я предумышленно не одобряю себя', что приводит к «коммуникативному самоубийству». Ср. также запреты типа: **Я — медный лоб/темная*

лошадка/перемываю кому-л. косточки/роюсь в чуждом белье и т.п., что означало бы 'Я предумышленно отношусь к себе с пренебрежением/презрением', но такого «нравственного самоубийства» обычный человек не совершает.

Следует заметить также лабильность эмотивов, связанную с «Я-Ты-Он-грамматиками» (по Бенвенисту [1974]), т.е. с таким описанием грамматики языка, в котором учитываются особенности высказываний. В «Я-грамматике» (1) кореферентны говорящий и субъект высказывания, выраженный местоимением *я* в роли подлежащего или дополнением, выраженным косвенными формами этого личного местоимения — *мне, меня* и т.п.: *Я — тушица/олух царя небесного; Я не страшусь ничего/Меня ничто не страшит* и *Мне море по колено* и т.п. В «Ты-грамматике» (2) высказывание строится в режиме диалога, где субъект-адресат выражается местоимением *ты* или косвенным падежом этого местоимения: *Ты — бездельник* и *Ты бьешь баклуши; Ты живешь как у Христа за пазухой* и *Тебе живется как у Христа за пазухой* и т.д. В «Он-грамматике» речь идет о «третьем лице», которое выражается в именительном или косвенных падежах местоимения *он*: *Он — лишний в этом деле* и *Он — пятое колесо в телеге; Он имеет обыкновение болтать лишнее* и *У него длинный язык* и т.д.

Если следовать этой грамматике, то своего рода «эмотивным номинативом», т.е. исходным по эмотивному содержанию употреблением, можно считать отнесенность к третьему лицу, поскольку это употребление не затрагивает непосредственных эмоциональных оценок общающихся в режиме диалога сторон. И не случайно в словарях, где есть эти пометы, они согласованы только с «Он-подлежащим». И это вполне естественно с позиций житейской философии: неприятные вещи говорят обычно «за глаза», а вещи приятные, сказанные в отсутствии кого-либо воспринимаются как истинная правда (а не лесть или хвастовство). В «Ты»-употреблении диалог идет «с открытым забралом, но говорить приятное — почему-то считается лестью, а неприятное — грубостью (и того и другого стараются избежать), поэтому усиленное образностью восприятие эмотивности идиом оборачивается либо тем, либо другим:⁷ *Ты — кровь с молоком* (одобрение с оттенком лести); *Ты — пугало огородное* (уничтожение с оттенком бранного выражения); *Ты держишь нос по ветру* (явное осуждение, в номинативе — неодобрение); *Ты стоишь перед кем-л. на задних лапках* (в эмотивном «номинативе» — неодобрение, а здесь — уничтожение); *Ты чужими руками жар загребает* (в «номинативе» — неодобрение, а здесь — осуждение) и т.п.

В «Я»-употреблении все, что в «номинативе» дано в негативной

гамме чувств-отношений, оборачивается хвастовством, жалобой или иронией: *Я — кровь с молоком* (ирон.); *Я держу нос по ветру* (хвастовство); *Я бьюсь как рыба об лед* (жалоба) и т.д. Безусловно, случаи абсолютного запрета в «Я»-употреблении связаны с коммуникативным самоубийством или с саморазоблачением: **Я пускаю кому-л. пыль в глаза/поджимаю хвост/пляшу под чужую дудку* и т.п. Но в этих случаях основанием для запрета является все значение идиомы, а не только ее иллюкутивная сила.

Исследовать закономерности реального употребления идиом в указанных выше «режимах» — задача, еще не решенная во фразеологии. Более того, она даже не ставилась, поскольку не было почвы для ее постановки.

Таким образом, мы выдвинули гипотезу о том, что идиомы с образно воспринимаемыми («изобразительно», умозрительно или звуко-символически) гештальтом, обладают иллюкутивной силой, «свернутой» в них в виде чувства-отношения указанного спектра (неодобрение, одобрение, презрение, пренебрежение и т.п.). Эта гипотеза подтверждается следующими фактами:

— Высказывания, содержащие идиомы, обладают иллюкутивной силой, свойственной перформативному употреблению предикатов типа презирать, одобрять и т.п.

— Значение речевых актов, конституируемых идиомами, — это выражение эмотивности, где употребление идиомы равнозначно речевому поступку.

— Эмотивность — это содержание субъективной модальности, выражающей чувство-отношение говорящего к обозначаемому, стимулированное образной гештальт-структурой.

— Употребить идиому в речи — значит предумышленно совершить речевой поступок, ибо образная гештальт-структура несет в себе приговор за счет уподобления, а приговор оглашается с целью оповестить об этом слушающих и вызвать у них то или иное чувство-отношение к тому или иному факту, чтобы изменить мнение или поведение адресата.

ЧАСТЬ III

КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЕДИНИЦ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯЗЫКА*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ КАК СПОСОБ ВОПЛОЩЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Культурная коннотация — это в самом общем виде интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры. Применительно к единицам фразеологического состава языка как знакам вторичной номинации, характерной чертой которых является образно-ситуативная мотивированность, которая напрямую связана с мировидением народа — носителя языка, средостением культурной коннотации, ее основным нервом является это образное основание.

Нам уже доводилось писать о том, что фразеологизмы возникают в национальных языках на основе такого образного представления действительности, которое, отображает обиходно-эмпирический, исторический или духовный опыт языкового коллектива, который безусловно связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и речевой деятельности — это всегда субъект национальной культуры [Телия 1981, 13]. В этой связи уместно привести мнение Н.А. Бердяева о том, что каждый отдельный человек входит в человечество как национальный человек. Он писал: «Национальный человек больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть родовые черты человека вообще и еще есть черты индивидуально-национальные» [1990, 96] (разрядка наша — В.Т.). Поэтому, по мнению Бердяева, и культура всегда конкретно-человеческая, т.е. национальная.

По общепризнанному мнению, фразеологический состав языка представляет собой «наиболее самобытное его явление» [Ройзензон 1977,

* Часть III данной работы выполнена при финансовой поддержке OSI/RSS, грант 190\94.

116] не только в плане системно-регулярной анамальности, но в плане выражения фразеологизмами национальной самобытности народа — носителя языка (о национальных аспектах картины мира, выраженных лексическими средствами, см., например, [Уфимцева 1995]).

При анализе особенностей культурной коннотации, а точнее — культурно-национальной коннотации, мы будем исходить из постулата о том, что система образов, закрепленных в фразеологическом составе языка служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях. Это положение служит исходной гипотезой исследования.

На основе этой гипотезы выдвигается и следующая гипотеза, также лежащая в основе нашей концепции и связанная с технологией воплощения культурной коннотации в содержание языкового знака: если единицы языка обладают культурно-национальной спецификой, то последняя должна иметь свои способы ее отображения и средства соотнесения с ней, т.е. служить своего рода «звеном», соединяющим в единую цепь «тело знака» (а для знаков вторичной номинации — это и «буквальное значение» самого означающего) — с одной стороны, а с другой — концепты, стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т.п. знаки национальной и шире — общечеловеческой культуры, освоенной народом — носителем языка.

Применительно к нашему материалу это означает, что если фразеологизм обладает культурно-национальной спецификой, то она должна, по нашему мнению, иметь свое средство воплощения в их знаковую организацию и свой способ указания на эту специфику. Таким средством воплощения я культурно-национальной специфики фразеологизмов служит образное основание (в том числе и включающее в себя культурно маркированные реалии), а способом указания на эту специфику является интерпретация образного основания в знаковом культурно-национальном «пространстве» данного языкового сообщества. Такого рода интерпретация и составляет содержание культурно-национальной коннотации.

Таким образом, понятие культурной коннотации является, с нашей точки зрения, базовым для лингвокультурологии — научной дисциплины, исследующей воплощенные в живой национальный язык материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их действительной преемственности с языком и культурой этноса. Тем самым мы считаем, что лингвокультурология призвана исследовать и описать взаимодействие языка и культуры не только и не столько в ее этнических формах (которые привлекаются скорее как свидетельства преемственности культуры этноса и культуры национальной), сколько в формах национальной и общечеловеческой культур в их современном состоянии или в определенные синхронные срезы этого взаимодействия.

Под синхронными срезами здесь понимаются определенные периоды или эпохи жизни народа в целом или каких-либо его социальных групп, оказавших заметное воздействие на формирование ментальности народа. Так, например, можно выделить период культурно-языкового взаимодействия в эпоху реформ Петра I, в эпоху жизни и деятельности декабристов — вслед за Лотманом, вслед за Селищевым — период «языка революционной эпохи», период активной демократизации языка в последний послевоенный период, от которого в настоящее время и ведется отсчет норм современного русского языка и т.п. Важно отметить, что эти периоды так или иначе связаны с изменением в ментальности народа или некоторых его социальных слоев — в переоценке культурных ценностей. Тем самым речь здесь идет не столько о периодах развития литературного языка (хотя о них тоже), сколько о способности языка отображать и выражать смену культурно значимых ориентиров. Так, если слово *товарищ* в эпоху декабристов было исполнено духовно-дружескими коннотациями (ср. пушкинское: «Товарищ! Верь, взойдет она — Звезда пленительного счастья!» и «Дружья мои, прекрасен наш союз!»), то уже в «языке революционной эпохи» оно коннотирует принадлежность к общему делу революции и выражает культурно значимый смысл «свой» для этого дела, а в период господства социалистической доктрины значение этого слова обретает коннотацию «тот, кто разделяет социалистическую идеологию», а слово *друг* в первом его значении используется исключительно для обозначения интимно-межличностных отношений и коннотирует характерную для «русской» дружбы идею «alter ego». Можно привести и другие примеры подобного рода, но для нас главное указать на то, что культурная

интерпретация языковых знаков меняется в зависимости от установок ментальности.

Изложенное выше понимание предмета лингвокультурологии во многом наследует те плодотворные идеи, которые были высказаны в отечественной науке еще Покровским, Потембной, а затем — Виноградовым, Лихачевым, Лотманом и которые так или иначе связаны с проявлением культурно-национальной окраски образно мотивированных средств языка.

Лингвокультурология — это та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии. И ее глобальные задачи в основном совпадают с теми (с учетом указанного выше синхронного аспекта описания), которые были выдвинуты Н.И. Толстым при определении программы этнолингвистики — того направления в языкознании, которое «ориентирует исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разного рода их корреспонденции» [Толстой 1983, 182] (см. также [Толстой 1991]).

Однако программа этнолингвистики осуществляется в настоящее время преимущественно на этническом материале славянских языков в их в исторической ретроспективе и основана на изучении дошедших до нас «преданий старины глубокой», запечатленных в фольклорных текстах, ритуалах бытового и религиозного характера и т.п. (см., например: [Толстой, Толстая 1993]).

Уместно заметить, что, говоря о роли этнолингвистики в исследовании духовной культуры предшествующих поколений, Н.И. Толстой упоминает и о важности описания фразеологизмов и их этнических корней (типа *куда Макар телят не гонял; Черта с два!; родиться в сорочке; не все дома* и т.д.), а на вопрос В.М. Мокиенко, относится ли историческая фразеология к этнографии или лингвистике, отвечает: «... без особых сомнений: относится к этнолингвистике» [1983, 189—190].

Естественно, что применительно к исторической ретроспективе и содержание культурной коннотации может быть определено только «в прошедшем времени» и по дошедшим до нас текстам. Тем самым этнолингвистика, как она сложилась к настоящему времени, развернута на категорию этноса и на реконструкцию его культуры по данным сохранившихся текстов, обычаев, ритуалов и т.п., из которых и извлекается «экстралингвистическая (культурная) коннотация» [Толстой, Толстая

1993], а лингвокультурология, как отмечено выше, исследует прежде всего живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа.

В настоящее время именно в славистике интенсивно развивается теория *народных стереотипов* [*ludowych stereotypów*] и несомой ими культурной информации на фоне изучения языкового образа мира и с использованием когнитивных методов исследования (преимущественно на материале фольклора, см. [Bartmiński 1993] и его школа, а также [Никитина 1993]). В последнее время в славистических штудиях применяется теория прототипов и концептуальный анализ для раскрытия культурной семантики слов [Толстая 1992], использующий методы, разработанные в [Wierzbicka 1980]. Результаты этих исследований — своего рода «банк данных» и для лингвокультурологического анализа.

Лингвокультурология в изложенном выше понимании ее задач наследует и ряд тех идей, которые были разработаны в русле *континентальной, или рационалистической, теории языка* [Верещагин, Костомаров 1980], основные постулаты которой базируются на кумулятивной функции языка: если язык и отдельные его единицы могут служить средством накопления, хранения и источником внеязыковой информации, в том числе и культурно значимой, то, следовательно, они могут рассматриваться и как «вместилище знаний». Авторы называют эти знания *фоновыми*. Эти знания как бы навешиваются на лексему в виде «семантических долей» ее значения, а потому, по мнению авторов, доступны лингвистическому анализу и описанию [Указ.соч., 194].

В этой теории мы усматриваем предвосхищение когнитивного подхода к исследованию значения языковых единиц, хотя сами методы «навешивания» на них культурно значимой информации оперируют неформализованным процедурами ассоциативного восприятия «фона». Так, согласно этой теории, слово *рожон*, выступающее в роли компонента фразеологизма *лезть <переть> на рожон*, само по себе имеет, «семантическую долю», указывающую на ситуацию «русская охота на медведя», а ситуация, соответствующая «буквальному» значению этого фразеологизма, является его прототипом.

Однако такой исторический или этимологический прием ввода культурно-национальной информации указывает лишь на исходную для образного основания этого фразеологизма ситуацию (прототип), выраженную в буквальном значении идиомы, лишь проясняет аналогию, лежащую в основе метафоры, но не эксплицирует культурно-национальной значимости собственно значения фразеологизма в живом его

употреблении: как общее правило, «обычные» носители языка не владеют историко-этимологической «подоплекой» значения фразеологизма. Экспликация культурно-национальной значимости фразеологизма достигается на основе рефлексивного — бессознательного или осознанного — соотнесения этого живого значения с теми «кодами» культуры, которые известны говорящему.

Отметим заранее, что таких кодов может быть несколько, но наиболее «сильными» из них для обыденного сознания являются те, которые зафиксированы как прескрипции в сакральных (религиозных) текстах (к примеру, прескрипция христианства о том, что *трудиться должно в поте лица* или что каждый в жизни *должен нести крест свой* и т.п., что *душа* — это — символ бессмертия, ср. стихотворение А.С. Пушкина «Пророк», являющееся своего рода цитацией из библейского Исая и исполненное религиозного мировосприятия и под.), как прескрипции народной мудрости, зафиксированные в поговорках (*Семь раз отмерь — один раз отрежь*, *Не зная броду — не суйся в воду* и т.п.), как эталоны обиходного опыта (слова типа *грош* или *копейка*, выступающие в качестве эталонов минимальной денежной суммы: *Ни гроша или копейки в кармане нет*).

Соотнесение языковых значений с тем или иным культурным кодом и составляет, с нашей точки зрения, содержание культурно-национальной коннотации, которая и придает культурно значимую маркированность не только значениям фразеологизмов или слов, но и смыслу целых текстов.

Возвращаясь к страноведчески ориентированным описаниям соотношения языка и культуры, заметим, что они ставят своей целью выявить репертуар тех единиц языка, которые восходят к собственным национальным фактам материальной, социальной или духовной культуры как прототипам этих единиц, безотносительно к соотношению собственно значений этих единиц языка с концептами общечеловеческой или национальной культуры.

Установка страноведческих концепций скорее на исторический план фонового знания, нежели на синхронно-функциональное воплощение культурной «доли значения» в лингвострановедческом словаре «Русские фразеологизмы» под редакцией Е.М. Верецагина и В.Г. Костомарова [1990]. Так, «входом» в словарную статью здесь служат слова, обозначающие культурно маркированные реалии, типа *баклуши* и т.п. Например, в нем за словом *баклуша* следует словарная статья фразеологизма *бить баклуши* (а этот этот фразеологизм является своего рода «оселком», на котором «оттачивается» тот или иной метод анализа во

фразеологии), где сначала описывается эта реалья — «деревянная чурка для игры в городки» и объясняется ее роль в этой игре (по мнению авторов, считающих, что описание безделья в славянских языках служит «игровая модель», прототипом для фразеологизма послужило выбивание чурок из города, или кона), затем следует обоснование того мотива, который послужил основанием для переноса: «С точки зрения занятых людей бить баклуши, т.е. сбивать городки — пустая забава, напрасная трата времени», после чего приводится значение фразеологизма: «Проводить время без пользы, праздно; бездельничать» с указанием: «Говорится неодобрительно, с укором или иронией в адрес кого-л.», далее даются иллюстрации [Указ. соч., 24). Понятие же культурно-национальной коннотации, в том ее понимании, которое определено выше, здесь не используется и не эксплицируется.

Культурно-национальное своеобразие фразеологизмов служит объектом изучения и близких к страноведческому направлению исследований, нацеленных на синхронное описание идиоэтнического различия во фразеологических составах разных языков (как родственных, так и неродственных). Это *сопоставительно-идиоэтническое* направление исходит в основном из отслеживания в плане выражения фразеологизмов, близких по значению, различия в составе слов-компонентов, особенно культурно маркированных. Конечным итогом анализа и описания служит выявление собственно национального, равно как и универсального на уровне плана выражения, а также образной организации и ее концептуальных моделей см., например, [Dobrovol'skij 1988]. Не случайно все работы этой ориентации вписывались в парадигму национально-культурного аспекта исследования, где *национальное* — это прежде всего сам язык и его «этнонимы» (т.е. наименования, обозначающие характерные для данного народа реалии — названия специфических орудий труда, вещей, собственных имен и т.п.), а *культурное* — это языковые образы в их соотношении с характерными (а точнее — уникальными) для данного этноса ситуациями, историческими событиями и т.п.

Итогом такого сопоставления является описание наглядных различий в отборе слов-компонентов в качестве образной основы фразеологизмов, а следовательно — самих образов или их концептуальных моделей. Однако при этом «сердцевина» проблемы — в чем состоит связь фразеологизмов с менталитетом народа — не получила достаточно глубокого теоретического обоснования.

Обычно исследования ограничивались констатацией различного для сравниваемых языков картирования мира средствами фразеологии и описанием фразеологических картин мира. В лучшем случае внимание

обращалось и на наличие некоторого «промежуточного» (по Л. Вейсгерберу) мира — мира языковых образов, посредством которых национальное мировидение осуществляет «прорыв» в концептуальное освоение действительности (подробнее о самой концепции «промежуточного мира», рассматриваемой в когнитивной перспективе см. [Баранов, Добровольский 1990]).

Следует еще раз обратить внимание на то, что при определении национально-культурной специфики за исходное принимается национальный язык в его идиоэтнических формах, а культурная значимость приписывается только такого рода языковому своеобразию. А это значит, что в поле зрения исследователей могли попасть факты типа *бить баклуши, задать баню, как маков цвет, Мамаево побоище и т.п.* (но никак не *считать ворон, мозолить глаза или подрезать крылья*). Но тогда постулат о национальном своеобразии сужается до своеобразия лексического, грамматического или образного, в чем и усматриваются идиоэтнические черты (см., например работы Ю.П. Солодуба [1985] и Н.Н. Кирилловой [1986]). При таком подходе, близком к младограмматической идеологии, возможно описать отдельные факты национально-культурной специфики, но не системообразующие культурно-национальные взаимоотношения между единицами фразеологического состава языка и культурно-значимыми концептами.

В результате исследований в указанном направлении было выделено два средства для описания идиоэтнических признаков — лексико-грамматический состав фразеологизмов как материальный экспонент образа и концептуальная модель внутренней формы как «остова» для конкретно-образного основания фразеологизмов. Но ни то, ни другое не были охарактеризованы по способу указания ими на культурно-национальную специфику, а именно этот способ и соединяет средство и его назначение.

Поясним сказанное. Из того, например, что в русском языке концепт «далеко» фразеологически воплощается и в такие образы, как у черта на рогах <на куличках, на болоте>, куда Макар телят не гонял, за тридцать земель и т.п., а в узбекском — *Тупконнинг тагида турмоқ* (букв. находиться у подножья горы Тупкан), *борса келмас жойга бормоқ* (букв. пойти в места, откуда не вернешься) и др. следует сделать вывод о том, что при структурном различии лексико-грамматических средств и структуры самих образов мировидение этих народов совпадает в том, что «далеко» — это неосвоенное человеком пространство. Но в русской ментальности этот концепт связан еще и с «чужим» пространством, где обитает нечистая сила, или с «неизвестным», а потому — также «чужим» пространством, а узбекское — преимущественно

с «неизвестным» пространством (как считает А. Хакимов [1991, 108—109]).

Таким образом, лингвокультурологические исследования, посвященные культурно-национальному аспекту значения фразеологизмов, равно как и других языковых сущностей, должны включать в себя и сведения о характерологических чертах менталитета, содержание которых проявляется в культурной коннотации, которую мы считаем, как отмечалось выше, одним из базовых понятий лингвокультурологии.

Объект лингвокультурологии изучается на «перекрестке» двух фундаментальных наук: языкознания и культурологии. Последняя исследует такой атрибут человека, как его самосознание по отношению к природе, обществу, истории, науке, религии, искусству и т.п. сферам его материального, социального и духовного бытия, в которых протекает и осуществляется обретение идентичности своего «человеческого» Я с культурой народа или человечества в целом путем создания, отбора и присвоения тех или иных ценностно значимых для этого ориентиров в качестве мотивов человеческой жизнедеятельности [Телия 1995б, 102]. Таким образом, лингвокультурология ориентирована на человеческий, а точнее — на культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке. А это значит, что лингвокультурология — достояние собственно антропологической парадигмы науки о человеке, центром притяжения которой является феномен культуры.

Для лингвокультурологического анализа, оперирующего культурно-национальной коннотацией, понятие культуры является базовым, поэтому мы считаем необходимым хотя бы в самых общих чертах остановиться на ее онтологических признаках, главным из которых является для нашей темы ее семиотический характер.

Культура, если отвлечься от истории ее определения сначала в противопоставлении природе и выделившегося из нее в процессах цивилизации человека, затем на основе таких онтологических ее свойств, как эволюционный характер, ценностная ориентация, отраженная в жизненной философии народа, ее историзм, межпоколенная трансляция на основе групповых традиций, кроющихся в коллективном бессознательном и т.п., — это мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой.

Если прибегнуть к метафоре, то культура — это как бы оснастка корабля, движущегося вместе с человечеством по волнам моря житейского, а менталитет — это корабельные паруса, надуваемые ветрами

исторических перемен в цивилизации. Обращение к этой метафоре вызвано не риторическими притязаниями, а тем, что само понятие «культура» — одно из наиболее сложных и трудно определяемых (хотя таких определений, данных в разные исторические эпохи, насчитывается по разным источникам, от двухсот до шестисот). Это понятие столь распылчато, что его объем и содержание колеблются скорее от задач исследования какого-либо из явлений культуры, нежели от постижения ее феномена, о чем, в частности, свидетельствуют хотя бы те материалы, которые посвящены роли традиции в культуре [Советская этнография 1981] и ее целостности/цельности [Проблемы планирования, прогнозирования и изучения культуры как целого... 1981—1982].

Современная культурология как часть культурной, социальной и структурной антропологии (ср., например, [Тейлор 1939; Malinovsky 1935; Леви-Строс 1985]) имеет дело с совокупностью фактов, общим для которых является лишь то, что они как-то формируют идентификацию отдельного человека, социальных коллективов или народа в целом с системой тех или иных установок культуры этноса или нации, координируют совместную трудовую и духовную деятельность некоторого социума (семьи, коллектива, народа в его социальных слоях и в целом).

Общепринятым можно считать и разграничение двух форм культуры — материальной и духовной, хотя и между ними существуют постоянные взаимопереходы: предметы материальной культуры могут обретать «духовную оснастку», а духовные артефакты воплощаться в материальную форму, ибо именно человек — мера всех вещей и поэтому он, по словам В.Н. Топорова, определяет «человекообразность вещи», а «когда вещь приобретает и символическое значение... или употребляется прежде всего как символ (крест, венок, знамя, другие материализованные и включенные в парадигму знаки), мир вещей переключается к сфере духовного и человеческого как особый язык и симболарий» [Топоров 1995, 28—29].

Крайне неопределенным остается соотношение между такими базовыми понятиями, как культура и цивилизация. Хотя, как представляется, в первом концепте наибольший вес имеет указание именно на «человеческое» в человеке, а во втором фокусируется его выделенность из природы, преобразовательная в ней деятельность, а также деятельность законотворческая. Можно сказать, что *цивилизация* — это фактуальное проявление феномена культуры.

Однако несмотря на неопределенность понятия культура, существует интуитивное представление о ней как о таком феномене, который

проявляется и в языке. Исследование этих проявлений и входит, как уже отмечалось выше, в задачи лингвокультурологии.

Для выполнения своих задач, главной из которых является описание естественного языка и как языка культуры, лингвокультурология должна рассматривать взаимодействие языка и культуры на единой методологической основе [Постовалова 1986, 32]. Основанием же для такого рассмотрения может служить тот изоморфизм признаков, который обнаруживает себя в проявлениях феномена культуры, равно как и языка.

Именно этот онтический изоморфизм и создает то предметное основание, которое методологически и в методах может рассматриваться как фундамент для воплощения фактов культуры в язык, когда языковые сущности берут на себя роль «тела» культурных знаков — с одной стороны, а с другой — для воздействия языка на жизненную философию его носителей, поскольку он, становясь частью культуры, которая в нем воплотилась и обрела знаковое выражение, участвует в ее хранении, воспроизведении вместе с усвоением языка, межпоколенной ее трансляции, а также в самом формировании ее концептов, стереотипов, эталонов и т.п.

Выделяя это методологическое основание лингвокультурологии, мы отвлекаемся от таких сущностных признаков культуры, как ее противопоставленность природе, от самих оснований разграничения материальной культуры, цивилизации и собственно духовной культуры — с одной стороны, а с другой — от биологического субстрата языка, внутренних законов его развития и т.д., хотя эти признаки и могут привлекаться как составляющие фоновое знание при необходимости использовать его для решения поставленной проблемы. Ниже вкратце, в виде своего рода меморандума, перечисляются эти основания (подробнее см. [Телия 1995 б]).

Методологическое основание лингвокультурологии зиждется прежде всего на том непреложном факте, что культура, равно как и язык, — это формы сознания, отображающие мировоззрение человека. Но культура — это прежде всего процесс и продукт его самосознания, нацеленного на установление идентичности субъекта культуры с тем, что выделено в культуре как мерило собственно человеческого в деятельности, т.е. как оценки ее культурной ценности. Культурные же ценности — это смыслы ее собственных категорий и установок, которые могут быть представлены в виде ментальных моделей (примером чего могут, в частности, служить модели, разработанные в структурной антропологии Леви-Строса). Языковое сознание также сопричастно мировоззрению, которое отобража-

ется и фиксируется в языке в виде ментальных моделей обыденной, или «наивной», картины мира (см. подробнее [Сукаленко 1992]), включающей в себя и культурные ценности (примером чего могут служить модели мира и созданные на их базе словари, разработанные или разрабатываемые пока что в русле этнолингвистики (см. также [Бенвенист 1995]). Предполагается, что эти модели лежали в основе повседневной практики и жизненной философии, имевшей мифологическую или религиозную подоплеку.

Культура и язык существуют в диалоге между собой. При этом субъект речи и ее адресат — это всегда субъекты культуры. В норме использование определенного языка гармонизирует с соответствующим ему кодом культуры, поэтому и «культурная глухота» чаще всего связана с языковой глухотой. Когда коммуниканты являются субъектами одной, а точнее — единой культуры, ее код осознанно или бессознательно, распознается в дискурсе (тексте). В противном случае возникают «культурные лакуны» [Сорокин, Марковина 1988].

Для культуры, как и для языка, характерны антиномии, связанные с индивидуальными или общественными формами их бытия: субъект культуры или языка — это всегда индивид vs. социум, личность vs. общество. Свободе субъекта поэтому всегда противостоит необходимость следовать социальным канонам, выбору — общественное предписание, творчеству, креативности — нормативность.

Нормативность — общая для языка и культуры черта. Как в языке, так и в культуре, норма выполняет «охранную» функцию. Норма, поддерживающая константность этих систем, расплывается вариантно, а репродуктивный характер функционирования культуры и языка — творчески креативной деятельностью субъектов культуры и языка.

Субъект культуры, как и языка, «живет» в истории. Историзм — одно из существенных свойств культуры и языка. Язык, по определению Гумбольдта, — не только «эргон», но «энергейя», что характерно и для культуры. Культура — это всегда процесс, порождающий свои плоды, из которых уже на новой социальной ниве и в новом социальном времени вызревают новые. Их «генетический код» изменяется в ходе отбора образцов и установок, они вовлекаются в новые парадигматические отношения и комбинаторные связи, преобразуется их конфигурация, может сдвигаться их место на шкале ценностей, они способны обретать новый прагматический смысл, что ведет к синергетическому по своей сущности самонастраиванию

системы культуры на новый лад. Все эти процессы характерны и для языка.

И это предопределяет присущую не только языку, но и культуре антиномию «динамика vs. статика», поскольку в межпоколенной трансляции культуры и языка синхрония уживается с диахронией, традиция с эволюцией. Следует подчеркнуть при этом, что в преемственности традиций для культуры существенную роль выполняет язык, воспроизводящий запечатленные в нем факты культуры в процессах его использования как средства коммуникации.

Культура — это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в будущее. Не случайно лингвисты чаще других представителей наук гуманитарного цикла втягиваются обществом в дискуссии о пользе сохранения «культурных корней» и вреде инокультурных в нем инноваций, которые обычно оцениваются не только как «порча языка», но и как свидетельство упадка национальной культуры. Важно отметить вместе с тем, что культуре, открытой для инноваций, соответствует и наличие адаптивных механизмов для заимствований в языке — и не только номинативных, но даже категориально-грамматических, в закрытых культурах эти адаптивные механизмы непродуктивны (ср. «склонность» русского языка к заимствованиям, в частности — продуктивное развитие в нем аналитических конструкций и их лексико-грамматических парадигм фразеологического характера типа *обретать, иметь, хранить, терять терпение* и под., которое возникло, по мнению В.В. Виноградова, как результат русско-французского двуязычия дворянского сословия прежде всего [1982, 181—186], и, к примеру, почти полное отторжение «чужого» в китайском). И тем не менее факты инокультуры поначалу всегда «варваризмы». Чужая же культура, это, по выражению И.И. Сандомирской, — «идиома», поскольку ее содержание не мотивировано для непосвященного в нее, а потому не прозрачно для него и не отрефлектировано [1995, 87—91]. Проблема непереводаемости в языке — это прежде всего проблема несводимости культурных идиом, а не онтических картин мира.

Каждый из приведенных выше признаков изоморфизма культуры и языка — только одна из «вершин айсберга», сама форма которого во многом предопределена языком. Естественный язык, когда он выполняет по отношению к культуре

орудийную функцию, обретает роль языка культуры: двусторонние единицы естественного языка становятся «телами» культурных знаков. Но при этом они не утрачивают и своего собственно языкового значения, придавая тем самым обозначаемому ими содержанию культурных концептов особенности мировидения и миропонимания, отображенные в плане содержания номинативного запаса и категориально-грамматического аппарата естественного языка. Когда в качестве материального экспонента культуры выступает язык, ее факты, обретающие знаковое выражение, «видятся» и артикулируются сквозь план содержания языка, ибо, как писал В. Гумбольдт: «Разные языки, — это не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [1984, 312]. Языковые сущности (слова, сочетания слов, высказывания, тексты), когда они служат «телами» культурных фактов, придают мотивированность этому знаковому отношению. Именно это свойство языковых сущностей открывает доступ к опознанию их культурологической функции.

Однако это не означает, что между планом содержания культурных знаков и значением языковых сущностей, даже тех из них, которые обозначают концепты культуры (типа *человек, личность, судьба, совесть, труд* и т.п.), существует прямое соответствие: предметная область культуры не имеет прямой корреляции с предметной областью языка, поскольку это разные семиотические системы. Культурная «тема», как считает Ю.С. Степанов, «устанавливает рамку», позволяющую «привлекать собственно языковые темы к объяснению культурных феноменов и *vice versa*» [Степанов, Проскурин, 1993, 15]. «Когда ставится задача объединить в рамках одной... единой теории данные языка и данные культуры, то, по-видимому, нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка. Речь должна скорее идти о том, чтобы выработать третий, более общий аппарат понятий, приложимый к лингвистической теории, с одной стороны, и к теории культуры, с другой» [Степанов 1974, 574].

Культурная компетенция не совпадает с языковой: переключение языковой компетенции в культурную основано на интерпретации языковых знаков в категориях культурного кода. Владение такого рода интерпретацией и есть культурно-языковая компетенция. Последняя усваивается вместе с овладением языком и с «присвоением» субъектом языка — в значительной мере уже через него — культуры через ее тексты (сказки,

мифы, фольклор, религиозные тексты, литературу). И в той мере, в какой, культура — ее концепты, символы, эталоны, стереотипы и т.п. — присвоена через язык, она релятивизирована к нему. Но и языковые сущности в этом случае релятивизированы к культуре, поскольку они включают в себя культурные компоненты, воплощенные в их денотативное (дескриптивное) или коннотативное содержание. В этом мы и усматриваем соотношение языка и культуры, обусловленную взаимодействием языка и культуры как в филогенезе, так и в онтогенезе этноса, народа, нации.

Возвращаясь к основному предмету нашего исследования, а именно — к описанию культурно-национальной коннотации фразеологизмов, которая зиждется на мировидении, отраженном в образном их основании, отметим, что ее изучение должно проводиться и на том широком теоретическом фоне, который связан с обсуждением проблемы взаимоотношения языка и культуры как двух семиотических систем.

Как известно, корни проблемы взаимодействия языка и культуры лежат в глубокой древности. Но более молодые — по крайней мере действенные и по сей день для всего гуманитарного цикла современной науки — уходят к ряду высказываний В. фон Гумбольдта о том, что язык связан с формированием духовной силы нации (см., например, [1984, 44]. Под влиянием этих идей мысли о воздействии «народного духа» на язык высказывались и А.А. Потебней: «...как и в жизни лица, так и в жизни народа должны быть явления, предшествующие языку и следующие за ним... психология народов должна показать возможность различий национальных особенностей в строении языков, как следствие общих законов народной жизни» [1894, 46, 48] (разр. наша — В.Т.).

Однако на протяжении почти всей первой половины XX века лингвистика исследовала язык как средство общения преимущественно «в самом себе и для себя», безотносительно к тому, как воздействует запечатленное в формах языка мировидение на миропонимание его носителей, на ту «наивную» картину мира, которой они руководствуются в своем обыденном сознании.

Впервые в явной форме проблема взаимодействия языка и мировоззрения была сформулирована в работах американских этнолингвистов — сначала Ф. Боаса [Boas 1911], а затем Э.Сепира [1993] и Б. Ли Уорфа [1960] и стала известна под названием гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Согласно этой концепции, язык творит картину мира, и не только само мышление, но и мировоззрение

в плену у этой языковой картины мира, чему свидетельствует зависимость от нее поведения носителей языка.

Эта гипотеза во многом перекликается с концепцией языка как «промежуточного мира» Л. Вейсгербера, впервые провозглашенной в [1928], а затем развиваемой в других работах. Будучи последователем Гумбольдта, Вейсгербер, провозгласил, что этот промежуточный мир находится между познающим субъектом и реальностью, а языку отводится роль средства, вмещающегося в «духовное присвоение мира». Само концептообразование, как считает Вейсгербер, возможно только средствами родного языка, за счет его «внутренних форм», которые и определяют «стиль» этого присвоения, различный для разных языков. Следовательно, и миропонимание зависит от его презентации тем или иным языком.

Итак, американская этнолингвистика и европейское неогумбольдтианство, исходя из постулата о том, что каждый язык отражает реальный мир по-своему, полагают, что различие языковых картин мира предопределяет, в свою очередь, духовное и культурное своеобразие соответствующих языковых коллективов (см. по этому поводу [Кузнецов 1987, 143]).

Проблеме воздействия языка на мировоззрение посвящена огромная литература, в которой обсуждается не только правомерность такой ее постановки, но и методы постижения воздействия языка на «наивную» и научные картины мира (см., например, работы Г.А. Брутяна [1969], С.А. Васильева [1974], Г.В. Колшанского [1975], М. Блэка [Black 1959], В. Куайна [Quine 1960], Д. Хаймса [Hymes 1966], Я. Анушиевича [Anusiewicz 1990] и др., см. также [Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира 1988], где приведена библиография по теме). Однако ни опровергнуть эту гипотезу, равно как и высказать достаточно убедительные аргументы в ее защиту еще никому не удалось из-за отсутствия методов ее проверки.

В ходе обсуждения этой проблемы были предложены версии гипотезы лингвистической относительности, в частности — гипотеза «лингвистической дополнителности», основной постулат которой — языковые картины мира дополняют объективные знания о реальности (Брутян), «функциональной дополнителности», согласно которой основные положения о лингвистической относительности справедливы, но они не учитывают влияния социальных факторов на сам язык и его использование (Хаймс), «онтологической относительности», в соответствии с которой каждый язык — это своеобразная теория знаний о мире с присущей ей онтологией, поэтому носители разных языков живут в различных измерениях мира и потому не могут взаимодействовать

(Куайн). Выдвигался и другие точки зрения, но основное противостояние определяется ответом на вопрос: определяет язык мирозрение или он не является первичным способом категоризации действительности и миропонимания. Однако во всех концепциях явно прослеживается постулат о концептуальной относительности знаний о мире, которые зависят от того, что служит источником этого знания: сама действительность или ее концептуализация, «снятая» в значении языковых знаков.

В настоящее время интерес к этой проблеме вновь возрос в связи с исследованием когнитивных процессов, лежащих в основе порождения языковых сообщений и их понимания, в частности — попыток связать теорию языковых гештальтов с теорией фреймов как структур знания, обеспечивающих концептуальную интерпретацию языковых значений (см. например, [НЗЛ 1988], а также попытку интерпретации концепции Л. Вейсгербера в когнитивной парадигме в [Баранов, Добровольский 1990]).

Необходимость перекодирования содержательных структур языка в структуры знания осознавалась, как представляется, еще А.А. Потебней, который усматривал две ипостаси в лексическом значении: «ближайшее» значение, общее для носителей языка, и «дальнейшее» — знание об обозначаемом, характерное для того или иного носителя языка [Потебня 1958, 19—20] (ср. также разграничение формального и содержательного понятий, лежащих в основе значения, у С.Д. Кацнельсона [1965]). И в этом мы усматриваем предпосылки соотносительности собственно языковых и когнитивных аспектов значения.

По выражению В.Б. Касевича «язык помнит и хранит тайны, в нем скрыт высший смысл». Это дает право говорить о когнитивной памяти слова: «Роль языка в ментальности человека и вообще в его жизни безусловно уникальна. Утратив в определенный период «долингвистическую» (доязыковую) невинность, человек уже не может полностью отвлечься от языка» [1990, 25]. Но при этом и сама система языковых значений связана с системой знаний отношением когнитивной интерпретации (о типах этой интерпретации см. [Демьянков 1989]). В этих положениях мы находим подтверждение сформулированного выше постулата о том, что «культурные знания» — часть культурно-языковой компетенции говорящих на данном языке.

В соответствии с этим постулатом можно сформулировать и постулат о культурно-концептуальной соотносительности: система языковых значений соотносится в интерпретативном режиме с культурной компетенцией носителей языка. Концептуальное наполнение этой компетенции —

одна из характерных черт менталитета народа. Средостением же этого последнего является то, что Потехня называл «народным духом», ибо в языке в системе характерных для него образов, эталонов, стереотипов, мифологем, символов и т.п. — опредмечено мировидение народа и его миропонимание, осознаваемые в контексте культурных традиций. Именно эта соотносительность и обуславливает то, что язык не только отображает действительность в форме ее наивной картины и выражает отношение к ее фрагментам с позиций ценностной картины мира, но и воспроизводит из поколения в поколение культурно-национальные установки и традиции народа — носителя языка.

И особую роль в этой трансляции культурно-национального самосознания народа и его идентификации как такового играет, в частности, фразеологический состав языка, так как в образном содержании его единиц воплощено, как уже неоднократно упоминалось выше, культурно-национальное мировидение. Но только при соотнесении самого этого образного содержания, явленного в «буквальном» прочтении фразеологизмов, с категориями, концептами, мифологемами, стереотипами и эталонами национальной культуры и его интерпретации в этом пространстве материальной, социальной или духовной культуры открывается и культурно значимый смысл самого образа.

Так, к примеру, идиома *бить баклуши* содержит лексический компонент *баклуши*, принадлежащий к так называемой безэквивалентной и тем самым — национально маркированной лексике, а в значении этого слова запечатлен предмет материальной культуры. Но не каждый носитель языка может в настоящее время указать на референт этого слова без этимологической помощи, тем более, что оно уже давно растворилось в целостном содержании этой идиомы 'заниматься мелкими, незначительными, пустяковыми делами, и это — плохо'. Однако эта идиома содержит и эмотивную коннотацию, выражающую пренебрежительное отношение к такого рода «занятиям». Думается, что эта коннотация — результат того диссонанса, который возникает при соотнесении образного основания идиомы (заниматься самым легким и незначительным в процессе изготовления ложек делом) с осознанием той культурной установки, которая в библейской формулировке предписывает «трудиться в поте лица», чтобы пожинать плоды труда, но стала уже неписанным законом. Ср. в этой связи нарушение этой установки в синонимичных с *бить баклуши* идиомах: *гонять собак <ворон>*, *валять дурака <ваньку>*, *считать ворон <галок, мух>*, *плевать в потолок* и т.п., в образных основаниях которых явно прослеживается профанация плодотворного труда.

В этой связи важно отметить, что на фоне соотнесенности с такого

рода установками, ставшими достоянием менталитета русского народа, и интерпретации образного содержания в смысловом (и мы бы сказали — энергетическом) поле этих установок национальной (или общечеловеческой) культуры, фразеологизмы сами обретают роль культурных стереотипов. Так, в приведенных выше примерах обозначение безделья, передаваемого во фразеологизмах через образы активного, но бессмысленного и неплотворного действия, становится стереотипным антиподом указанной культурной установки.

На основе приведенного выше анализа (а более полный репертуар такого рода процедур содержится в следующей главе работы) можно сформулировать еще одну важную для лингвокультурологического анализа гипотезу: эмотивность, или эмотивная коннотация, — это не только след эмоциональной реакции на образ, лежащий в основе значения, который сам по себе также вызывает психологическое напряжение, но еще и результат интерпретации образного основания в категориальном пространстве установок культуры и ее «идеалов»: гармония с этими установкам выражается в спектре положительных чувств-отношений в диапазоне одобрения, а дисгармония — в диапазоне неодобрения (презрения, осуждения, пренебрежения, уничтожения и т.п.). Выше (в главе, посвященной эмотивности идиом) уже отмечалось, что в этих чувствах-отношениях всегда присутствует эмпатия субъекта некоторой ментальности, осознающего, каким подобает или не подобает быть объекту отношения с точки зрения «образцов» бытия. И это закономерно: само образное основание языковых средств (не только фразеологизмов, но также образно мотивированных слов и фрагментов текста) — один из способов, каким «дух народа» воплощает себя в мировидение, а через него — в язык, о чем писал еще Гумбольдт, а вслед за ним — Потебня и Вейсгербер.

В связи с изложенными выше фактами возникает вопрос: не воздействует ли таким образом сам язык, коль скоро он обладает «культурной памятью», не только на воспроизведение культурной традиции носителей языка, но и на само формирование их коллективной ментальности? Безусловно воздействует. И это «навязывание» языком культурно-национального самосознания впитывается «вместе с молоком матери», когда осваивается и потом воспроизводится — сознательно или бессознательно — вся несомая единицами языка информация, в том числе — и культурно значимая, которая может быть представлена в ходе анализа

языковых фактов в виде культурно-национальной коннотации, осознаваемой носителями языка в той или иной глубине ее содержания.

Например, воззрение на женщину как на человека с более низким интеллектом, чем у мужчины, «внушаются» вместе с усвоением и употреблением языка такими сочетаниями фразеологического характера, как *женский ум, женская логика, девичья память*, что соотносится с закреплённой в пословицах обыденной философией русского народа, воспроизводимой вместе с использованием этих образцов народной мудрости, типа *У бабы волос долог, а ум короток* и т.п.

В этой связи можно предположить, в частности, что в языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет, служащий для нее, как пишет А.Я. Гуревич, «духовной оснасткой», «психологическим инструментарием» [1984, 9].

Такого рода непреложные факты и обуславливают тот эффект, который может быть назван культурно-языковой соотносительностью. Так «малая причина», а именно осознание на основе ассоциативно-образной интерпретации культурного смысла языковых сущностей, приводит, как принято говорить в парадигме синергетики, к «большим следствиям» [Арпинов, Свирский 1994]. Одним из таких следствий является и то, что за системой и структурой языка, в частности за системой значений его образно мотивированных номинативных единиц — слов и фразеологизмов — сокровенно присутствует культура. И это, в свою очередь, дает основание говорить о наличии у них, наряду с другими из названных выше функций, функции коннотативно-культурологической. Содержанием этой последней является отношение, существующее между образно мотивированной формой языковых единиц и воплощенной в нее культурно значимой ассоциацией, значение которой постигается осознанно или бессознательно в процессах интерпретации образного основания в «оснастке» культуры — в ее категориях, выраженных в концептах, эталонах, стереотипах и т.п.

Эта коннотативно-культурологическая функция самым непосредственным образом причастна и к прагматическому использованию языка, в частности — к достижению культурно маркированными знаками

иллюквативной цели, поскольку она фокусирует в содержании языковых сущностей соблюдение или, наоборот, нарушение складывающихся веками и межпоколенно транслируемых и непрестанно обновляемых прескрептивно значимых для данной лингвокультурной общности идеалов, «образцов», традиций и т.п. (о прагматической нагруженности обряда, например, см. [Толстая 1992]).

Вопрос о взаимосвязи языка и культуры в лингвистических исследованиях обычно решается, как справедливо замечает Е.Ф. Тарасов, с точки зрения «частнонаучных методологических представлений языковедов и частнонаучных представлений культурологов» [1987, 27] (см. в этой связи серию работ, изданных Институтом языкознания АН СССР, в которых предприняты именно такого рода частнонаучные изыскания: Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977; Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. М., 1982; Этнопсихоллингвистика. М., 1988, а также ряд исследований, предпринятых Ю.А. Сорокиным и И.Ю. Марковиной, Р.М. Фрумкиной, А.П. Василевичем и др., центр внимания в которых сосредоточен на различиях национально-языковых форм выражения той или иной сущности, которой приписывается и культурная значимость). Что касается той задачи, которая ставит перед собой цель исследовать, как культура, воплощенная в формы определенного национального языка (в нашем случае — русская культура в содержание единиц фразеологического состава), воздействует через него на менталитет нации, то ее также можно считать частнонаучной, призванной ответить на вопрос, сформулированный Е.Ф. Тарасовым: «Включена ли культура в язык, если — да, то — как?» [1987, 29].

То, что культура включена в язык, показали труды Гумбольдта, Потевни, Вейсгербера, Сепира, Уорфа, а также школы Н.И. Толстого, школы Е. Бартминьского и уже упомянутые выше работы Е.Ф. Тарасова, Ю.А. Сорокина и их коллег.

При этом яснее всего обстоит дело с тем, как культура включена в язык при отображении в нем предметов материальной культуры (типа *лапти, самовар*, а также *баклушии, рожон*), концептов духовной культуры (типа *совесть, судьба* и т.п.), изучаемых в культурной антропологии, или исследуемых в социальной антропологии концептов культуры социальной (типа *право, вождь, раб* и под.), поскольку их свойства в процессе номинации «сняты» в денотативном аспекте значения, роль которого как раз и состоит в том, чтобы указывать на соответствующий референт в тексте. И потому эти факты языка могут служить достаточно надежным материалом для моделирования культуры. Однако следует еще раз заметить, что известные нам «модели мира»

разработаны в основном для «доцивилизованного» состояния того или иного этноса реже — для отдельных периодов эпохального развития человечества (см., например, [Иванов, Топоров 1965] или [Гуревич 1984; Лотман 1994]).

Моделей, отражающих современный менталитет той или иной лингвокультурной общности, пока не существует. И это вполне понятно — «большое видится на расстоянии», а кроме того они должны иметь дело не только с архетипами сознания, выявлением которых занимается в основном культурная и социальная антропология, или с «закрытым» набором фольклорного материала, но практически с необозримым массивом текстов, в том числе — художественных и публицистических, в которых обычно отражена индивидуально-авторская модель культуры, культурологическая интерпретация которых, в свою очередь, может носить сугубо индивидуальный характер. Единственный стабильный источник для таких моделей — общенародный обиходный язык, являющийся хранилищем, транслятором и знаковым воплощением культуры.

Необходимо заметить при этом, что репертуар культурно значимых ориентиров, запечатленных в нем, иногда даже противоречив. Здесь достаточно привести, например, далеко неоднозначное (по данным словаря В. Даля [1956]) отношение русского народа к тому, кто «главный» в семье, отраженное в пословицах типа *Муж в дому, что глава <крест> на церкви* и *Муж — голова, а жена — маковка <шея>*. Такого рода неоднозначность обусловлена тем, что язык может отражать и доминирующие в той или иной культурной среде и в то или иное социальное время факты группового или корпоративного, а не только общенародного самосознания. Исследование фактов группового или корпоративного самосознания — совместная задача социологов и лингвокультурологов. И тем не менее мы полагаем, что «дух народа», даже в его противоречивых и групповых проявлениях, запечатлен в языке как в культурной памяти этого народа.

При работе с языком как источником, лежащем в основе моделей культуры, необходимо учитывать то, что в его номинативном составе содержится по крайней мере два типа единиц. Это, как уже отмечалось выше, единицы, в которых культурно значимая информация воплощается в денотативном аспекте значения (это слова, обозначающие реалии материальной культуры или же концепты культуры духовной и социальной), и единицы, в которых культурно значимая информация выражается в коннотативном аспекте значения.

Процедуры извлечения культурной информации из первого типа

единиц в принципе не отличаются от когнитивно-семантического, или концептуального, анализа, на основе которого и строятся культурно отрефлексируемые модели мира или его фрагментов (см., например, модели «русского» пространства, времени и восприятия, описанные в [Яковлева 1994]).

Аналогичные процедуры для единиц второго типа сложнее, так как они включают в себя интерпретацию образного основания языковых существей как их квазиденотата в категориях культуры. В предлагаемом нами подходе принципы такого исследования отрабатываются на основе той информации, которая содержится в образно мотивированном основании фразеологизмов, осознанное (отрефлексируемое) или бессознательное соотнесение которого с «духовной осязкой культуры» и интерпретация в ее категориях, составляют содержание культурной коннотации, владение которой является своего рода «идиоматичной» частью культурно-языковой компетенции.

Эта последняя состоит в способности соотносить языковые факты с той моделью макрокосмоса и микрокосмоса, которая лежит в основе миропонимания данной лингвокультурной общности. Как пишет А.Я. Гуревич, моделью мира, «складывающейся в данном обществе, человек руководствуется во всем своем поведении, с помощью составляющих ее категорий он отбирает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и преобразует их в данные своего внутреннего опыта. Эти основные категории как бы предшествуют идеям и мировоззрению... в основе их можно найти универсальные, для всего общества обязательные понятия и представления... Названные категории образуют основной семантический «инвентарь» культуры... речь идет о неосознанном навязывании обществом и столь же неосознанном восприятии, «впитывании» этих категорий и представлений членами общества... Эти категории запечатлены в языке, а также в других знаковых системах (в языке искусства, науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же невозможно, как нельзя мыслить вне категорий «языка» [1984, 31] (разр. наша. — В.Т.).

К числу базовых, по мнению А.Я. Гуревича, категорий относятся смоделированные в определенной лингвокультурной общности в процессе его исторического развития и в определенной экологической «нише» представления о таких космических категориях, как пространство и время, причина, следствие, часть и целое, а также человек, судьба, жизнь, смерть и под. [1984]. Думается, что представление о собст-

венно человеческом микрокосме лежит в основе таких базовых же категорий культуры, как личность, свобода, воля, совесть, труд, богатство/бедность, семья, дружба, родина и т.п.

К сожалению, ни состав этих категорий, ни таксономический инвентарь форм их знаковой, в том числе и языковой, манифестации в культурологии пока что не вычленен, хотя культурологи достаточно широко используют такие понятия, как культурный концепт, эталон, стереотип, символ, мифологема и т.п. и даже предлагают для обозначения таксонов культуры термин *культурема* (см. [Моль 1973], а также [Сорокин 1994]), где на основе разработанного автором концептуально-го аппарата культуры содержится попытка осмысления самого феномена культуры). Следует заметить в этой связи, что в собственно культурологии большое внимание уделяется пространственно-временной трансляции и трансмиссии таксонов культуры, нежели когнитивным процедурам соотносительности семиотических средств их плана выражения с семиотическими же сущностями, образующими категориальное пространство культуры.

А между тем применительно к культурно-языковой компетенции субъекта языка и культуры, или культурно-языковой личности, можно говорить о том, что микрофрейм, ассоциируемый с языковым «телом» знака как двусторонней единицей языка, связан с микро- или макрофреймами культуры отношением мотивации (о возможности рассматривать когнитивный аспект языкового знака как микрофрейм см. [Беляевская 1992]). Для фразеологизмов и других образно мотивированных средств вторичной номинации в это отношение включается и та структура знания, которая ассоциируется с их «буквальным» прочтением.

Таковы в самых общих чертах те методологические основания, в соответствии с которыми в рамках лингвокультурологического анализа возможно выявить, как воплощена культура в содержание фразеологизмов-идиом и фразеологических сочетаний, определить смысл их культурно-национальных коннотаций, благодаря которым фразеологизмы в процессах их употребления воспроизводят характерологические черты народного менталитета.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ЗЕРКАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА
(ОТ МИРОВИДЕНИЯ К МИРОПОНИМАНИЮ)

Как уже отмечалось выше, «язык культуры» воплощается в разных семиотических системах. В естественном языке ее реалии и установки рассеяны в содержании наименований культурных «вещей» и концептов, явлены в прескрипциях народной мудрости — в пословицах, поговорках, в различного рода языковых стереотипах, эталонах, символах, а также в прецедентных текстах — в крылатых выражениях, сентенциях и т.п. Наряду с этим существует настоятельная необходимость при описании содержания культурно-национальной коннотации оперировать этими проявлениями языка культуры как источником интерпретации.

Упомянутый выше постулат о мотивированности культурной коннотации также может показаться неочевидным, если иметь в виду, что «буквальное» прочтение образного основания фразеологизмов, как показывают экспериментальные данные, далеко не всегда культурно отрефлектировано в «личностном (по Выготскому) смысле», безотносительно к тому, идет ли речь о «сращениях» или «единствах», в которых для носителя языка затемнена связь с прототипом (на что нам указала в устной беседе С.В. Кабакова). А между тем оперирование источниками интерпретации, равно как и ее образными основаниями как фрагментами мировидения — это те «банки данных», на основе которых выполняется лингвокультурологический анализ.

Неразработанность самого понятия «язык культуры», а следовательно — и его таксономического инвентаря, а также неизученность тех механизмов культурно-языковой компетенции, в соответствии с которыми происходит осознание образа в контексте культуры и которые пока что принято относить к сфере действия «трансперсональной доминантности» (Э. Нейман), т.е. архетипов «коллективного бессознательного» (см., например, [Топоров 1995, 579]), как тех структур, в которых бессознательное воплощается, в частности, в языковые образы, — все это обызывает сформулировать два постулата, в соответствии с которыми в данной работе и осуществлен лингвокультурологический анализ некоторых фрагментов обыденного менталитета русского народа, отраженных в зеркале фразеологии, а именно — безделья, «чужо-

го» пространства, а также некоторых ипостасей такого базового для культуры концепта, как «женщина».

Первый постулат состоит в допущении о том, что носители языка владеют — более или менее осознанно — знанием прецедентных относительно культурно значимой информации текстов или языковых сущностей, которые и могут служить источниками культурно-национальной интерпретации фразеологизмов. В второй постулат: соотносительность фразеологизмов с «языком культуры» в лингвокультурологическом анализе, может быть выявлена, как общее правило, только на достаточно представительных массивах идеографических полей (типа «свойства лица», «чувства», «интеллектуальные способности и состояния», «поведение», «пространство» и т.п.).

В соответствии с этими постулатами и предлагается исследовать взаимодействие языка и культуры, столь характерное для фразеологизмов различных типов.

Источники культурно значимой интерпретации фразеологизмов

К этим источникам относятся выраженные в языковой форме «вещные» или эталонизированные либо обретшие символическую функцию реалии, прескрипции и установки культуры, зафиксированные в фольклоре или в других типах дискурсов, особенно — в религиозных.

Эти воспроизводимые из поколения в поколения источники, являющие собой семиотические системы, моделирующие результаты собственно человеческого самосознания — архетипического и прототипического, т.е. возводимого к образцам или нормам, не составляют «ребуса» для носителей языка при расшифровке если не точного, то, по крайней мере, приблизительного их смысла благодаря традиционной их преемственности в самосознании народа — носителя языка. По этой причине они и выступают как своего рода шаблоны культурно-национального миропонимания, как достояние группового сознания. Осознание смысла этих шаблонов на уровне архетипического или прототипического их представления и служит тем информационным фоном, на котором воспринимается культурное содержание фразеологизмов.

В порядке первого приближения можно выделить по крайней мере восемь типов такого рода источников культурной интерпретации фразеологизмов (думается, что не только фразеологизмов, но и всех культурно значимых языковых сущностей). Не исключено, что таких источников интерпретации может быть выделено больше, что внутри них следует выделить подтипы, что таксоны («единицы») этих источников могут принадлежать одновременно нескольким семиотическим системам (так, стереотип ритуала или гадания может войти в поговорку, а

эта последняя, в свою очередь, обретя функцию фразеологической единицы языка, становится стереотипом некоторой ситуации, как, например, в выражениях типа *от ворот поворот*, *писать на воде вилами* и т.п.).

Заметим также, что сам порядок предъявления этих источников, намеченный ниже, достаточно произволен, так как еще не проводилось исследования продуктивности того или иного ресурса интерпретации применительно, в частности, к материалу фразеологии

(1) Одним из источников культурно значимой интерпретации являются ритуальные формы народной культуры, такие, как сватовство, поминки и т.п., поверья, мифы, заклинания и т.п. Например, фразеологизм *от ворот поворот* означает решительный отказ от кем-то сделанного какого-то предложения, но его культурно значимый смысл несет информацию об от-«чужд»-ении, о непризнании агенса «своим»; миф о том, что черти живут на болотах, из-за чего болото считается «нечистым», потому «чужим», враждебным человеку местом, отражена не в значении, а в культурной коннотации фразеологизма *у черта на куличках*, который, обозначая очень отдаленное месторасположение чего-л. или кого-л., коннотирует идею «чужого» пространства, что проявляется в неодобрительном отношении к обозначаемому, ср. также фразеологизмы-речевые формулы, восходящие к заклинаниям-проклятиям: *Чтоб тебя черт побрал!* *Чтоб тебе пусто было!* и под.

В связи с этим важно подчеркнуть различие между этимологическим анализом, раскрывающим изначальный смысл образа, и анализом лингвокультурологическим, нацеленным на раскрытие культурно значимого смысла, коннотируемого образом, что не одно и то же. Этимологический анализ, если угодно, «обращен вспять». Как правило, знание этимонов «скрыто» от обычных носителей языка. Лингвокультурологический же анализ заключен в извлечении из образа его действенной культурной значимости: он имитирует вычитывание культурного смысла языковой сущности носителями языка, аналогично тому, как современные активно ориентированные синхронные описания языка имитируют закономерности владения языком.

(2) К источникам интерпретации, безусловно, относится паремиологический фонд, поскольку большинство пословиц — это прескрипции-стереотипы народного самосознания, дающие достаточно широкий простор для выбора с целью самоидентификации — иногда из прямо противоположных максим (ср. *Бабий век — сорок лет* и *Сорок пять — баба ягодка опять* и т.п.). Это и различного рода словесные формулы и клише (типа *за тридевять земель, хлеб-соль* и под.). Например, на фоне последней пословицы, а также ряда других (типа *Красота при-*

глядится, а щи не прихлебаются; Чужая жена лебедушка, а своя — польнь горькая и т.п.) достаточно определенно подтверждается действительность в мужской ментальности «гастрономической» метафоры, согласно которой женщина как сексуальный партнер — это *лакомый кусок*, ср. также *аппетитная, сладкая, ядреная баба* и т.п. (о чем подробнее см. ниже).

Пословицы — мощный источник интерпретации, поскольку они и есть по традиции передаваемый из поколения в поколение язык веками сформировавшейся обыденной культуры, в котором в сентенционной форме отражены все категории и установки этой жизненной философии народа — носителя языка.

(3) Источником культурно-национальной интерпретации является и характерная для данной лингвокультурной общности система образов-эталонов, запечатленных в ходячих устойчивых сравнениях типа *глуп, как баран* (ср. совр. *глуп, как пробка*), *стройная, как березка*, *носится, как угорелый, как с гуся вода* и т.п.

Исследователи материала справедливо утверждают, что языковые выражения этого типа служат средством освоения эмпирически познаваемой действительности и одновременно — ее оценивания в образах-эталонах, «имеющих прямое отношение к условиям жизни носителей данного языка, к их культуре, обычаям и традициям», так как «язык несет в себе отпечаток духовной и материальной культуры народа» [Маслова 1988, 120] (см. также [Шмелева 1988]). Например, в киргизских традиционных эталонных сравнениях короткий нос — это *нос, как у кошки, совы* (ср. русское эталонное сравнение *короче воробьиного носа* и *воробей* как эталон-прототип «маленькой птички»), эталоном здоровья в английской ментальности выступает лошадь: (as) strong as a horse, а в русской — бык: *здоров, как бык* (ср. также шутл. *здорова, как корова*) и т.п.

В работах по этой теме — далеко не исчерпанной ни теоретически ни практически (нет даже словаря эталонных сравнений как жанра) — выделяются типы сравнений, основанные на тематическом принципе — на сопоставлении с животными, растениями, вещами, явлениями природы, описываются основные идеографические сферы их приложимости — физические характеристики человека или предметов, черты характера, психологические состояния и т.п.

Эти традиционные, т.е. воспроизводимые из поколения в поколение, эталонные сравнения также не только отражают мировидение, но — что более важно — они связаны и с миропониманием, поскольку являются результатом собственно человеческого соизмерения присутствующих ему свойств с «нечеловеческими» свойствами, носители которых

воспринимаются как эталоны свойств человека. Эталоны становятся тем, в чем образно «измеряют» свойства человека (ср. в этой связи сюжет из известного мультфильма, где звери решают мерить удава «в попугаях» и где попугай выполняет функцию не эталона, но обычного масштаба измерения).

Эталон — это характерологически образная подмена свойства человека или предмета какой-либо реальией — персоной, натуральным объектом, вещью, которые становятся знаком доминирующего в них, с точки зрения обиходно-культурного опыта, свойства. Как пишет В.Н. Топоров, «не только «человек — мера всех вещей», но в известном отношении и обратно: «вещь — мера всех людей» [Топоров 1995, 17]. Реалия, выступающая в функции эталона, становится таксоном культуры, поскольку она говорит не о мире, но об «окультуренном» мировидении.

Известно, что у каждого народа, помимо эталонов, общих с другими народами (типа *нем, как рыба, толстый, как бочка*), существует свое особое представление о «соизмеримости» человека и животных, человека и растений, человека и вещей и под. И эти эталонизированные в традиционных сравнениях представления как бы «задают» образцы здоровья, красоты, глупости и т.д. Таким образом глупости для русской ментальности является баран (*глуп, как баран*), упрямства — осел (*глуп, как осел*), неуклюжести — медведь (*неуклюжий, как медведь*) и т.п.

Мало исследованы и процессы семантической деривации слов-эталонов на базе традиционных сравнений: их «изъятие» из сравнительных конструкций и вовлечение через процессы вторичной номинации в лексико-семантическую систему языка.

Такого рода семантическая деривация основана, с нашей точки зрения, на метафорической интеракции, где основание метафоры — это человек или предмет и указанное в первом члене сравнения свойство, а «носитель» метафоры — эталонное представление о свойстве. Поэтому в этих процессах вторичной номинации сохраняется эталонная функция слова и тем самым сохраняется и его культурно значимый смысл. Одним из подтверждений этого могут служить фразеологизмы, включающие в себя в качестве компонентов слова-эталоны, типа *смотреть, как баран на новые ворота, дрожать над каждой копейкой, до последней капли крови* и т.п. Небезынтересно отметить, что знание эталонного смысла слова-компонента как бы «выключает» его из образного их восприятия. Так, в метафорической формуле фразеологизма *дрожать над каждой копейкой* — «как если бы X дрожал над каждой копейкой» фокусируется не вещный образ копейки, а знание о

том, что *копейка* — эталон минимальной денежной единицы. Благодаря такого рода восприятию образного основания фразеологизмов, в которые входят слова-эталоны, фразеологизмы приобщаются к языку культуры.

Итак, можно считать, что традиционные сравнения играют роль не только «побочного источника осмысления реальности» [Бромлей 1973, 170], но и культурно значимого источника.

(4) Еще одним источником культурно-национальной интерпретации фразеологизмов, достаточно разнообразным по происхождению и по использованию в различных типах дискурса, являются слова-символы или слова и словосочетания, получающие символическое прочтение.

Не касаясь здесь дискуссии о природе и значении символа (ср., например, понимание символа у А.Ф. Лосева [1982] и Н.Д. Арутюновой [1988]), отметим, что, в отличие от собственно символов (когда носителем символической функции является предмет, артефакт или персона) роль языкового символа заключена в смене значения языковой сущности на функцию символическую. Словозначение в этом случае награждается смыслом, указывающим не на собственный референт слова, а ассоциативно «замещает» некоторую идею. Важно отметить, что материальным экспонентом этого замещения является не реальность как таковая, а имя. Например, не реалии сердце, рука, крест являются символическими носителями в идиомах типа *сердце кровью обливается*, *держат в руках*, *нести свой крест*, но имена, собственные значения которых замещены символическим прочтением: *сердце* — это орган чувств, *рука* — это власть, *крест* — это горькая судьба (см. также [Сорокин, Марковина 1988]). Применительно к таким случаям, когда не реалья (как в случаях типа луна — символ ночи, солнце — символ дня, крест — символ искупительной жертвы Христа), а имя реалии обретает символическое прочтение, мы употребляем термин *квази-символ* с целью разграничить символическую функцию реалии и символическую функцию имени языкового знака.

Думается, что к языковой символике относятся смыслы таких словозначений, как *путь* 'этапы жизнедеятельности', *черный* 'психологически и жизненно тяжелый' (*черные дни*) или 'злодейски агрессивный' (*черная зависть*), а также словозначения *верх* и *низ*, например, в их соотносительности с архетипами «высокого» или «низменного» [Гачев 1987] и т.п. К квазисимволам можно, по-видимому, отнести и фольклорную символику, где *море*, например, — это граница между мирами — «своим» и «чужим» (подробнее см. [Никитина 1993]).

Итак, культурно-национальные символы, воплощенные в языковое

«тело», — это всегда словозначение, выполняющее функцию символа: языковая единица награждается устойчиво ассоциируемым с ней смыслом, который и указывает на концепт, не являющийся ее собственно языковым значением. Так, в идиомах типа *душа не на месте*, *душа кровью обливается* или в сочетаниях типа *душа болит* значение слова *душа* не переосмысливается метафорически, но сохраняет свое символическое прочтение 'орган чувств', а в идиоме *душа ушла в пятки* — 'орган жизнедеятельности' и т.п.

Репертуар квазисимволов (как и собственно символов) возникает в результате культурно значимого отбора. Так, если значение слова *кровь* имеет в сочетании *голос крови* символическое прочтение 'осознание связи с предками', то в собственно библейском миропонимании, насколько нам известно, это сочетание имело символическое прочтение 'осознание будущей связи с потомками' и т.п.

(5) Мощным культуроносным источником для русского миропонимания послужило христианство с его теософией, нравственными установками и ритуалами. Известный этнограф Д. Фрэзер утверждал, что вся культура вышла из храма. Именно христианство, по мнению П. Флоренского, принесло с собой более высокую духовность, обратив внимание на значение внутреннего субъективного мира личности. Религия репродуктивна, а поскольку религиозное миропонимание долгое время служило доминантой для поисков духовного и нравственного смысла и земной жизни, оно вошло «в кровь и плоть народа».

Как известно, фразеологизмы, выпедившие из религиозных дискурсов, могут представлять собой разные виды цитаций: прямую цитацию (типа *сосуд скудельный*, *соль земли*), аллюзию к религиозным текстам через включенность во фразеологизм одного-двух слов (типа *тьма крошечная [и скрежет зубов]*), «сжатие сюжета» (типа *валаамова ослица* или *лепта вдовицы*) и под. Однако каждому, как представляется, понятен общий смысл таких выражений (ср. также *нести свой крест*, *трудиться в поте лица*, *испить горькую чашу*, *чаша терпения*, *страдания* и т.п.). Например, идиома *пить горькую чашу* или фразеологические сочетания *чаша терпения*, *страдания* и под. легко ассоциируются знающими Евангелие с «Молением о чаше» (ср. пастернаковское: «Если только можешь, авве Отче, чашу эту мимо пронеси»), а для незнающих — с «горькими» испытаниями. В любом случае «смутного» или более или менее четкого знания этого эпизода из Евангелия идиомы интерпретируются не «буквальными» отрывками текста, а соотносятся с этим эпизодом как фреймом, структурирующим знание о высшей полноте страдания. По существу носители языка выполняют в такого рода случаях герменевтический анализ — каждый в меру своего

знания текста или ассоциируемого с ним предания, или же воспринимают слово *чаща* как символ полноты страдания.

Кстати, это пересечение источников интерпретации (в данном случае — религиозного и образующего «символярий» духовной культуры) — явление вполне закономерное, поскольку символы, эталоны или стереотипы часто порождаются тем или иным дискурсом и затем «выходят» из него на правах таксонов культуры.

(6) Еще один источник культурной интерпретации — интеллектуальное достояние нации и человечества в целом: философия мироздания, ее осмысление истории, литература и т.п. Мы обобщаем эти колоссальные объемы знаний лишь постольку, поскольку здесь важно указать на тип источника, а не охарактеризовать его продуктивность. Кстати говоря, продуктивность того или иного источника применительно к современной культурной рефлексии совершенно не исследована (ср., например, исследования, посвященные роли мифологического сознания применительно к древним моделям мира и миропонимания, в [Иванов, Топоров 1965] и описание фрагментов воздействия этого сознания на творчество Достоевского, Мандельштама, а также на современные петербургские мифы, связанные с житием св. Ксении Петербургской в [Топоров 1995]).

Обычно этот совокупный источник представлен в сборниках, выполненных в жанре «крылатые слова и выражения», «в мире мудрых мыслей» и под. Но надо заметить непродуктивность этого источника для интерпретации фразеологизмов. Что вполне понятно: фразеологизмы возникают и обретают статус воспроизводимых единиц в народной среде, для которой ближе и понятнее народная мудрость, «преданья старины глубокой», отраженные и в народном творчестве, религиозные установки, в том числе — и языческие и под. Что не исключает, конечно, проникновения во фразеологический состав языка цитаций из других дискурсов (типа *слон в посудной лавке, дым отечества* и под.).

Начиная с конца XIX века и в течение XX века формирование фразеологизмов активно подпитывается артефактами цивилизации (типа *локомотивы истории*), военной, спортивной терминологии и особенно — политическим дискурсом (ср., например, метафоры престройки, описанные в [Баранов, Караулов 1991]). Но эти источники, восходящие, как общее правило, к massmedia, отражают скорее некоторое универсальное для конца нашего века мировидение, нежели культурно-национальное.

(7) К источникам культурно-национальной информации следует отнести явно выраженные в словах-компонентах фразеологизмов

сведения о таких реалиях, которые служат предметом описания в страноведчески ориентированных словарях. Речь идет о словах типа *сокол* (*гол как сокол*), *баня* (*задавать баню*), о словосочетаниях типа *медный грош* (*гроша медного не стоит*), ср. также отражение во фразеологизмах исторических событий типа *погиб <пропал> как швед под Полтавой, погубоша аки обре* и т.п.

Кроме того, в область страноведчески маркированных источников попадают крылатые выражения — цитации из русской классики (типа *дым отечества, человек в футляре* и под.), а также так называемые «советизмы», источником которых обычно служит политически-лозунговый дискурс, использующий метафоры из спортивной жизни, из языка техники, производства и т.п.: *передавать эстафету, поднимать планку; спускать на тормозах, стартовая площадка, выводить на орбиту; трудовая вахта*, ср. также такие газетно-публицистические штампы, как *путевка в жизнь, борьба <битва> за урожай <хлеб>* и т.п. (см. комментарии к этим фразеологизмам в [РФ; ФОРЯ]).

Этот страноведческий источник представляют собой особенно богатый материал для инициальной фазы исследования культурно-национальной специфики фразеологизмов, так как позволяют опознать их как собственно национальные выражения, а кроме того еще и расшифровать «буквальное значение» прототипа, если он утратил мотивированность. Однако с этого только начинается лингвокультурологический анализ: как уже отмечалось выше в связи с анализом прототипа идиомы *бить баклуши*, наличие в составе фразеологизма какой-либо национальной реалии, цитации или речевого штампа еще не дает оснований для определения содержания его культурной коннотации, поскольку задача страноведения обычно ограничивается выделением национально-специфических слов и выражений, указанием и «дешифровкой» их истоков и определением значения такого рода слов и выражений, но не исследованием воздействия культурного фактора в языке на ментальность народа — носителя языка.

(8) Выше были упомянуты те источники интерпретации, которые принадлежат внешним по отношению к языку семиотическим кодам культуры. Ниже речь пойдет о внутриязыковых ресурсах культурной интерпретации — об отраженной в тропеических основаниях фразеологизмах «наивной картины мира» как результате его картирования и концептуализации фразеологическими средствами на основе тех выделенных в мировидении народа стереотипных для его жизни обиходно-бытовых ситуаций, которые послужили образными прототипами для фразеологизмов, а также об эталонизированных или обретших символический смысл «вещах» и свойствах, вошедших в образное содержа-

ние в качестве слов-компонентов. В этих образах как бы явлен тот самый «стиль присвоения действительности», который, по мнению Л. Вейсгербера, образует «промежуточный мир». Для нас в этом случае более приемлема метафора «зеркала», в котором самосознание народа как бы опознает свои характерные черты, привычки, приметы.

Итак, само образное содержание фразеологизмов может служить «подсказкой» для культурно-национальной интерпретации, если оно отображает характерные черты мировидения.

Существенное отличие этого внутриязыкового ресурса культурно-национальной интерпретации содержания фразеологизмов от приведенных выше (I) — (7) заключается в том, что сами фразеологизмы, осознаваемые как культурно значимые тропеические «образцы» свойств, событий, фактов, не являются знаками культуры как таковыми, не образуют ее собственных таксонов, но способны, если они воплощают в своем образном содержании культурно значимые черты мировидения, выполнять роль культурных знаков при условии их интерпретации в том или ином коде культуры.

Чтобы пояснить эту мысль, лучше всего обратиться к примерам из фразеологической ноологии. Наше, как принято говорить, бурное и беспокойное время наводит на аналогию с плаванием по бушующим волнам «моря житейского» с его политическими катаклизмами и раскачиванием общества то влево, то вправо (заметим, кстати, что сама эта аналогия с «морем житейским» имеет библейские аллюзии со всемирным потопом). Именно такое мировосприятие социальных процессов вызвало к жизни такие «метафоры перестройки», как *корабль перестройки*, *штурманы перестройки* и *под.* (подробнее см. [Баранов, Караулов 1991, 104—110]), ср. также идиомы *раскачивать лодку, загребать влево <вправо>* и т.п.

Совершенно очевидно, что одна из «базовых» (по терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона [1987]) метафор перестройки — «перестройка — это плавание по бурному морю», воплотилась в эти фразеологизмы. Эти образы легко интерпретируются, благодаря знанию об имевших место перестроечных процессах, в которых *отчаливание от старого берега* и *опасность не доплыть до нового* были реальностью, поскольку противники перестройки стремились *потопить корабль перестройки*, *раскачивали его в разные стороны* и т.д.

Именно эта метафорическая аналогия и лежит в основе концептуализации приведенных выше фразеологизмов, как бы активирующих своими образами разные слоты фрейма «перестройка». Поэтому метафора движения корабля <лодки> оказалась легко распознаваемой, она и «подсказывала» на основе группового опыта интерпретацию образного

содержания фразеологизмов на том социально-культурном фоне, который был характерен для политического дискурса периода перестройки. По этой причине сами фразеологизмы стали восприниматься как стереотипы этого дискурса.

На связь метафоры с культурным фоном мировосприятия указывалось неоднократно. Еще Дж. Вико полагал, что метафора участвует в языковом мифотворчестве и что она предстает как узел, связывающий язык с мышлением и культурой в ее национально-временной специфике (см. [Опарина 1987, 130]). В концепции А.А. Потебни неоднократно упоминается о том, что, раскрывая образный стержень языкового выражения, можно восстановить воззрения народа в ту или иную эпоху [Потебня 1905]. Уже в наше время о глубинной связи системы метафор с мировосприятием лингвокультурной общности писали И. Левенберг [Loewenberg 1975], Дж. Лаков и М. Джонсон [1987], Н.Д. Арутюнова [1990] (см. также [Телия 1988]). Как отмечает Е.О. Опарина, «понятность метафоры, непосредственно связанная с культурными фоновыми знаниями, является составляющим качества метафоры» [Указ. соч., 137].

На тот факт, что метафора «живет» во фразеологизмах, вопреки мнению тех лингвистов, которые считают, что значение идиом усваивается в процессах их конвенционального употребления, т.е. так же, как значение слов (а этого мнения придерживаются такие сторонники генеративных моделей языка, как У. Вейнрейх, Дж. Катц, Б. Фрейзер и др.) указывает, по мнению Р. Гиббса, и то, что в экспериментальных условиях носители языка стремятся найти связь между буквальным прочтением идиом и их смыслом, если образ «прозрачен» для них полностью или даже частично. Применительно к английскому материалу в его американском варианте речь идет об идиомах типа *spilling the beans* (букв. рассыпать горох) 'to reveal a secret' или *lose your marbles* (букв. терять свою детскую игру в шарики) 'to go crazy' и т.п. (ср. соответственно русские идиомы типа *выносить сор из избы*, *сдвинуться по фазе*, *крыша поехала* или даже *ни бельмеса не смыслит*, где компонент *ни бельмеса* воспринимается как 'ничего, ни самой малости' на фоне окружения *не смыслит*).

Как утверждает Р. Гиббс, носители языка отказываются искать эту связь только в том случае, если буквальное прочтение полностью нерелевантно, т.е. не может быть соотношено ни с каким фрагментом реальности из-за наличия в идиоме непонятных по значению слов (см. подробнее о роли метафоры в когнитивном распознавании идиом [Gibbs 1990]). Заметим от себя, что обычно это слова-некротизмы, как, например, русск. *обре в погибоша*, *аки обре, турусы в турусы на колесах* и т.п.

Именно это «посредническое» участие метафоры в когнитивном распознавании значения идиом, основанное на ее связи с мировидением народа — носителя языка, обеспечивает и ее связь с когнитивными структурами культуры — с ее микро- и макрофреймами. Фразеологизмы не составляют в этом исключения, а скорее даже демонстрируют эту закономерность. Здесь достаточно отметить, что идиомы *душа ушла в пятки*, *кровь стынет в жилах* и под., фокусирующие слот «предельные психофизиологические реакции» фреймов «страх» или «ужас», осознаются как таковые благодаря осознанию связи слов-компонентов *душа* и *кровь* с культурным фреймом «душа (или кровь) — символы физической жизнедеятельности».

Типичность обиходно-бытовых ситуаций или выделенных в обыденном сознании «вещей» и свойств как символов или эталонов мировосприятия и лежит в основе стереотипности того «стиля», который характерен для «присвоения» миропонимания через мировидение. Иными словами: типичность образов, лежащих в основе значения фразеологизмов, а также включенность в них символов или эталонов миропонимания — это плод коллективного представления (по терминологии К. Леви-Брюля) лингвокультурной общности о некотором групповом опыте. Последний может интерпретироваться в концептах культуры, обретая во фразеологизмах стереотипное, символическое или эталонное его выражение.

Например, идиомы, обозначающие пространственную ориентацию, типа *под носом*, *под рукой*, *под боком*, *бок о бок* и т.п., а также такие идиомы, как (сыт) *по горло*, (занят или влюблен) *по уши* и т.п., отображают эмпирические эталоны очень близкого, «соматически» достижимого пространства или же некоторого физического предела для состояния субъекта. При этом сами имена *нос*, *горло* и под. не являются такими эталонами: нос, рука, бок — не мера очень близкого расстояния, а уши или горло — не мера физического предела, но в сочетании с пространственными предлогами они приобретают свойство эталонности.

Идиомы типа *вставлять палки в колеса*, *рыть (кому-либо) яму*, *подложить свинью* и под. при всем различии их конкретно-метафорического основания прочитываются как стереотипы «коварного поведения» и интерпретируются как «фигура на фоне» культурного концепта «коварство», что находит свое отображение в эмотивном отношении к такого рода поведению — в его осуждении.

Итак, фразеологизмы, отображающие типовые представления (в терминах когнитивной психологии их принято называть, как

уже отмечалось, прототипами, см. [Rosch 1978]), могут выполнять роль эталонов, стереотипов культурно-национального мировидения или указывать на их символичный характер и в этом качестве выступают как языковые экспоненты культурных знаков.

В этой связи уместно заметить, что полная ассимиляция такой, например, кальки с французского, как *быть не в своей тарелке*, обусловлена действием «народной этимологии»: это сочетание, благодаря ассоциации такой вещи, как тарелка, с «вместилищем пицци (для кого-то)», осознается в русском языковом сознании как 'быть не в том «расположении духа», которое обычно для кого-то'. Ср. также стереотипное восприятие ситуации, лежащей в образном основании идиомы *разрубить узел*, о чем свидетельствует, в частности, принадлежность этой идиомы к речевому стандарту, в то время как ее полный вариант *разрубить Гордиев узел* имеет в словарях помету *книжн.*

Именно эта стереотипность, символичность или эталонизированность образного основания фразеологизмов обуславливает их культурно-национальную специфику. Даже при сходстве денотативного аспекта значения такие фразеологизмы обычно не имеют полных эквивалентов в других, даже близкородственных языках, если у носителей этих языков сложились разные групповые представления о символах, эталонах и стереотипах. Ср., например, образные стереотипы, лежащие в основе болгарских идиом, обозначающих не столько пусто-поржние действия, сколько праздное времяпрепровождение: *билки дияр по баири* — букв. искать лекарственные травы по холмам, *клатя си краката* — букв. качать ногами, *меря улиците* — букв. мерить улицы и под.). Эти различия обычно сохраняются и при заимствовании. Ср., например, *задать баню* и кальку с немецкого *задать перцу*: при «общем» значении 'строго выговаривать, сильно бранить' эти идиомы различаются тем, что в первом случае подразумевается и грубое обращение, навевая на стереотипным знанием о ситуации «русская баня», где хлещут веником и «поддают жару и пару» до физического изнеможения, во втором подразумевается скорее резкое «распекание», поскольку стереотип указывает на «острую» гастрономическую ситуацию.

Однако не все фразеологизмы обретают роль культурных знаков. Как правило, такие единицы связаны с универсальным знанием о свойствах реалий, вошедших в образное основание. Например, *сидеть на двух стульях* или *между двух стульев* при всей стереотипности ситуации не ассоциируется с особенностями русской национальной культу-

ры (ср. также *сесть на мель, сматывать удочки, протянуть ноги* и т.п.). В этом случае можно проследить скорее ареальные черты культуры: можно предположить, например, что в «сухопутных» странах не продуктивна морская метафора, что для обозначения смерти могут быть отобраны в зависимости от этнической культуры и религии разные образы и т.п.

Таким образом, фразеологизмы, образные основания которых как бы «подсказывают» ход к их культурной интерпретации, обнаруживают двойную соотнесенность с культурой: сама их внешняя форма — это уже язык культуры, поскольку «буквальное» ее прочтение соотносит образ со стереотипным, эталонным или символично значимым для данной лингвокультурной общности мировидением, в котором отобразилось какое-либо свойство, случай, явление или ситуация — с одной стороны, а с другой — этот образ осознается и интерпретируется носителями данного языка в соответствии с их культурной компетенцией.

Именно в этой двойной соотнесенности, наряду с собственно номинативной функцией, и заключена, как представляется, одна из причин существования и воспроизведения в языке таких аномальных для него знаков как идиомы, равно как и фразеологических сочетаний (или лексических коллокаций, по западной терминологии), «нарушающих» правила свободного выбора и комбинации слов, что является нормой для «регулярного» функционирования языка. Выполняя роль культурно-национальных «конденсатов», такого рода аномалии не только обозначают мир «Действительное», но и транслируют из поколения в поколение характерный для народа стиль мировидения и передают культурно-национальные его традиции, выражая тем самым и характерологические особенности его менталитета, принадлежащего миру «Идеальное».

В заключение обзора рассмотренных выше источников культурной интерпретации фразеологизмов заметим, что эти источники информации могут как бы накладываться друг на друга и даже содержать противоречивые установки. И это вполне естественно, поскольку они выделены не по единому для них категориально-культурному основанию (что, по нашему мнению, — хотя и трудно выполнимая, но интереснейшая задача для решения проблемы «язык культуры»), а скорее — по типу знания, соответствующего семиологической природе этих источников. Кроме того, сама культура, как и сформировавшийся на ее основе менталитет, способны отражать и воспроизводить культурные традиции разных «социальных времен» и культурные ценности разных же социальных слоев и даже отдельных индивидов.

В качестве примера к сказанному можно привести уже упомянутую

выше пословицу *Муж — голова, а жена — маковка* <шея>. В первой части этой пословицы узнаваема установка христианского миропонимания, согласно которому «жена да прилепится к мужу»; эта установка была закреплена в «Домострое» (XIV в.), провозгласившем главенство мужа в семье, что «прочитывается» и в символическом значении метонимии слова *голова*). Во второй части пословицы выражены эмпирический и психологический опыт семейной жизни, когда жена — «маковка» (т.е. главенствует в семейных отношениях, что ассоциируется с обиходно-бытовым значением слова *маковка* 'венчающий церковь купол') или с метонимическим восприятием слова *шея* в контексте пословицы (т.е. 'та, которая «ворочает» семейными делами). Эти последние «роли» женщины в семейных отношениях нашли отражение и в очень метком образном основании идиомы, обозначающей мужа в такой типовой ситуации: *быть под каблуком* (ср. также фразеологический дериват *подкаблучник*).

При лингвокультурологическом анализе не только возможна, но и необходима соотнесенность со всей палитрой источников культурной интерпретации, что позволяет к тому же избежать абсолютизации каждого из них при определении культурной коннотации. К примеру, фразеологическая серия *раб страстей, корыстолюбия, тщеславия* (ср. также *раба любви*) соотносится с саркастическим противопоставлением термину духовной культуры *раб Божий*, что выражается и в эмоциональности — в «предосудительном» восприятии субъекта этих сочетаний, а серия *раб желаний, привычек, моды*, также обладающих эмоциональной модальностью осуждения, погружена уже в контекст такой категории культуры, как личность, основным атрибутом которой является свобода выбора, который не реализуется субъектом указанных сочетаний.

Из приведенных примеров видно, как важно проследить основания культурно-национальной интерпретации языковых сущностей при историческом изменении культурных ориентиров, что обычно связано со сменой эпох, поскольку видоизменение категориального пространства культурных дискурсов неизбежно ведет к мутации менталитета (ср. в этой связи ставшие уже классическими работы Д.А. Лихачева [Лихачев 1970] и Ю.М. Лотмана [Лотман 1994], содержащие «слепки» ментальности эпохи русского Возрождения и эпохи декабристов).

Знание культурных знаков, или «культурем», принадлежащих этим указанным выше разным источникам, входит в собственно культурную компетенцию народа. И хотя это вербализованное знание, оно, с нашей точки зрения, должно рассматриваться как принадлежащее миру материальной и духовной культуры, нашедших в процессе семиозиса

свое знаковое выражение в языковой форме. Поэтому интерпретация собственно языковых знаков (в частности — фразеологизмов) в содержательном пространстве этих культурных знаков — это процедура соотнесения единиц системы языка с таксонами культуры. Результатом такого соотнесения и является содержание культурной коннотации, в такой же степени национально окрашенной, в какой идиоматично содержание культурных знаков.

Основные принципы концептуально-идеографического анализа культурной специфики фразеологизмов

Как уже отмечалось выше, эти принципы основаны на постулате о том, что вплетение культурно значимой информации в план содержания фразеологизмов и, соответственно, обретение ими роли знаков языка культуры, могут быть выявлены в лингвокультурологическом анализе, как общее правило, только на достаточно представительных массивах идеографических полей, таких, как «свойства лица» (а точнее — такого концепта культуры, как личность), «поведение», а также «чувства», «интеллектуальные способности и состояния», «пространство» и т.п.).

Представление о такого рода идеографических группировках может дать система описания идиом, осуществленная в [СОВРЯ], а также проект идеографического словаря лексических коллокаций [Telia, Bragina, Oragina, Sandomirskaya 1994]). Именно на фоне таких группировок может быть обнаружена базовая метафора, служащая посредником между языковой и культурной компетенцией носителей языка: она как бы указывает на то категориально-культурное пространство, в котором интерпретируются внешне, казалось бы, несводимые образные основания идиом и слов.

В подтверждение сказанного достаточно привести такие идиомы, обозначающие поведение, нацеленное на подавление воли у контрагента (или обстоятельства, препятствующие проявлению «своей» воли), как, например, *брать <хватать> за горло*, *(держат) в ежовых рукавицах*, *связать по рукам [и ногам]*, *подрезать крылья* и т.п., чтобы убедиться в том, что во всех этих идиомах просматривается базовая для них метафора «отнять свободу воли — это лишить свободы действия».

Эта метафора как бы указывает на общий «стиль» мировидения, проявляющийся в отборе таких образных ситуаций, которые воспри-

нимаются лингвокультурной общностью как стереотипные для выражения номинативного замысла 'лишить «своей» воли'. Эти ситуации отражают обычно «житейские» способы лишения воли, что видно из «буквальных значений» идиом.

Что касается самого концептуального содержания «отнять свободу воли», то оно оценивается в русской ментальности отрицательно. Можно предположить, что здесь на фоне коллективного (осознанного или бессознательного для каждого из субъектов культуры) представления о том, что такое «воля», выражается «протест» против «порабощения» личности. Думается, что такое негативное отношение связано и с архетипической по своей сути религиозно-нравственной установкой, согласно которой власть над человеком прежде всего «в руке Божией», а затем уже в родительской воле или воле «поставленного» над человеком начальства, но не «всякого» (ср. в этой связи скрытое осуждение своеобразия «всякого» в русских пословицах типа *Всякий молодец на свой образец; У всякой пташки свои замашки; Всяк своему нраву работает* и т.п. и «отгораживание» от чужого образца: *Всяк по-своему, а я сам по себе* [Даль, 627—629]).

Именно с таким негативным отношением к подавлению воли человека человеком же (или жизненными обстоятельствами, навязанными «чужой» волей) связана и эмотивность, присущая всем приведенным выше идиомам, — неодобрение или осуждение того, кто посягает на свободу действий другого: — *Постой, Таня, нельзя же так! Мы же друзья в конце концов! — Друзья! Друзей так за горло не берут* (Вл. Сорокин, *Пельмени*); *Все... в один голос утверждали, что он и в семье тиран: что он весь век держит истинно в ежовых рукавицах свою жену, робкую и беззаветно преданную ему старушку* (И. Бунин, *Архивное дело*); *В Захаре весь этот вечер копилась какая-то особая тоска — от дождя, от самогона, от своей молодости, уже крепко связанной по рукам и ногам детьми* (П. Проскурин, *Судьба*). — *Вылечил он своими травмами мою жену, вылечил и десятки обреченных людей, а завистники все время подрезают ему крылья, и до сих пор ходит он в шарлатахах от медицины, в знахарях* (М. Стельмах, *Четыре брода*).

Ничем не сдерживаемое своеволие тоже воспринимается как негативное для русского менталитета поведение, что запечатлено, например, в идиомах *выкидывать фокусы* <номера, фортели, штуки>, *пускаться во все тяжкие* <во вся тяжкая>, *с жиру беситься* и т.п., где просматривается базовая метафора «своевольничать — это сумасбродничать», а сумасбродство — это отпадение личности от Божьего промысла относительно ее (ср. библейскую аллюзию в пословице *Бог захочет наказать — лишит разума*), что согласуется и с моралью, запе-

чатленной в пословицах, типа *Живи не как хочется, а как Бог велит; Своя волюшка доводит до горькой долюшки; Своя воля — клад, да черти его стерегут* и т.п.

Это, конечно, не означает, что для русского самосознания характерна только неодобрительная культурно-национальная рефлексия на проявление воли: оно воспринимается позитивно, если мотив соответствует пользе дела и религиозно-нравственным канонам, и негативно, если этот мотив диссонирует с тем и другим. Так идиома *братъ быка за рога* не пресуппонирует нарушение нравственного канона и поэтому инициативное поведение агенса одобряется, а в образном основании идиомы *гнуть свое <свою линию, ту же линию>* активизируется своеволие, которое воспринимается негативно, если наносит урон интересам контрагента.

О том, что содержание культурно-национальной коннотации всегда связано отношением интерпретации с той или иной категорией или установкой культуры посредством базовой для идиомы метафорой, свидетельствуют и идиомы-заимствования, проникшие в русский язык уже в «новое время» и ассимилированные в нем. Так, идиома *закручивать <завинтить, подкручивать> гайки <гайку>* ‘сильно повышать требования, усиливать строгость, притеснения, подавляя свободу действий (говорится с неодобрением)’ [СОВРЯ, 249—250], не соотносится напрямую с базовой метафорой «отнять свободу воли — это лишить свободы действия», поскольку в ее образном основании лежит ситуация, не связанная с пресечением соматической свободы действия (типа *связать по рукам [и ногам]*), а ситуация «техническая». И тем не менее и в образном содержании этой идиомы уже на фоне «соматических» стереотипов, выраженных в буквальных значениях идиом приведенного выше типа, активизируется смысл ‘лишение свободы действия’, а следовательно — и навязывание чужой воли, что и обуславливает неодобрительное оценочно-эмоциональное отношение к такого рода поведению.

Иными словами, культурно-национальная коннотация прямо или косвенно соотносит образ идиомы (независимо от ее «родословной» — древней или новой) с базовой метафорой, а эта последняя интерпретируется «коллективным бессознательным» в пространстве категорий или установок культуры — неписаных законов собственно человеческого бытия в «море житейском».

В связи с изложенным выше допущением может возникнуть по крайней мере три вопроса: всплывает ли вообще образное содержание в сознании носителей языка; осознается ли мотивированность носителями

языка в том случае, если фразеологизмы утратили живую образность; означает ли это, что, если умирает образ, исчезает и его культурная интерпретация?

Достоверные ответы на эти вопросы могут дать только специальные психолингвистические эксперименты, способные установить процедуры распознавания образа и его культурно-национальной интерпретации и на этой основе онтологически верифицировать тот или иной ответ на поставленные вопросы. Однако что именно всплывает в сознании при выборе и восприятии идиом носителями русского языка, пока никем не исследовалось (ср. приведенную выше работу Р. Гиббса [Gibbs 1990], рассматривавшего идиомы английского языка).

Так, даже в рамках психосемантики с фразеологизмами работают как с лексемой, хотя при этом и отмечается, что «образное же содержание фразеологизма гораздо богаче и несет в себе множество дополнительных смыслов и нюансов» [Петренко 1988, 151—152]. Небезынтересно заметить, что дальнейшую разработку теории деятельности и общения В.Ф. Петренко усматривает и в «восхождении от эмпирической данности к вековой мудрости естественного языка и фиксированных в нем структур обыденного житейского сознания, т.е. путем их экспликации и рефлексии» [Указ.соч., 152].

Пока же достоверных ответов на сформулированные выше вопросы нет. По этой причине и вводится указанный выше постулат о том, что идиомы могут быть «расшифрованы» в пространстве категорий культуры только на достаточно больших идеографических группировках, основанных на «сродстве» их концептуального содержания. Этот постулат согласуется и с выдвинутой Д.О. Добровольским идеей о том, что идиомы хранятся в языковом сознании в виде ассоциативно-семантических сетей [Dobrovolskij 1994].

Мы полагаем, что для этих допущений существует достаточно оснований, как теоретических, так и, главным образом, — фактических. Дело в том, что фразеологизмы-идиомы — единицы языковой системы и как таковые они существуют в языковом сознании не поодиночке, а в тех или иных смысловых связях — как семасиологических, т.е. синонимических, антонимических и т.п., так и ономасиологических, в основе которых лежат идеографические (тематические) их группировки. На фоне такого ассоциативно-смыслового «родства» осознается, как представляется, и их связь с базовой для них метафорой.

Выше уже приводился пример синонимического ряда, объединяющего идиомы, обозначающие профанацию деятельности (*гонять ворон <собак>, плевать в потолок* и т.п.), в который входит и «фразеологи-

ческое сращение», т.е. утратившее живую мотивированность (по В.В. Виноградову), сочетание *бить баклуши*. Нельзя не заметить, что идиомы типа *бить баклуши*, или *плевать в потолок* (ср. также *пень колотить*), или *гонять собак* различаются не только по их семантико-синтаксической модели, но по характерной для каждого из приведенного выше типов модели образного основания. В идиомах типа *бить баклуши* (ср. также *валять дурака*, *груши околачивать*) отображается активное физическое воздействие на объект, и при этом результат этого воздействия «пустяшен»; в *плевать в потолок* — активное физическое действие, направленное на достижение в некоторый «участок» пространства, и при этом результат действия при его труднодостижимости явно неплодотворен, в *гонять собак* оторажено активное перемещение, нацеленное на то, чтобы объект изменил свое местоположение, и при этом цель сама по себе неплодотворна, «зряшна».

Но при всех этих различиях в образном основании каждой из идиом лежат ситуации, описывающие явную и при этом активную профанацию плодотворного труда. Исходя из этого можно полагать, что базовой для всего ряда метафорой является нечто вроде «бездельничать — это активно заниматься явно пустопорожним делом», что, в свою очередь, дает основание интерпретировать эту базовую метафору как нарушение библейской еще прескрипции, ставшей поговоркой, о том, что человек должен «добывать свой хлеб в поте лица». Отсюда — и содержание культурно-национальной коннотации, общей для всех и для каждой из идиом этой группы и поддержанной стереотипной для русского самосознания установкой: «недостойно человека заниматься (тем более — активно) заведомо пустопоржними, нерезультативными делами». Следует отметить, кстати, что, кроме идиомы *бить баклуши*, в словарях страноведческих словарей отсутствуют другие идиомы этого ряда, хотя они, как мы старались показать, также отражают характерологические черты отношения к безделью, свойственные для русского менталитета: безделье стремятся скрыть имитацией активной деятельности по пустякам, скрыть явное отсутствие цели действия (ср. в этой связи меньшую продуктивность выражения бездельничания через профанацию действия в английском языке, где по данным [REDI] существует только одна идиома на эту «тему» — *to twiddled his thumbs*).

В образных основаниях тех русских идиом, которые обозначают пассивное и откровенное бездействие, лежат ситуации, указывающие на стереотипную нерабочую позу, типа *лежать на печи*, *сидеть сложа руки*. Их культурная интерпретация осуществляется, как мы полагаем, в соотнесении с одной из стереотипизированных же установок «практической философии» народа, согласно которой «под лежачий камень

вода не течет». Содержанием культурно-национальной коннотации в этом случае будет осознание того, что пассивное бездействие — как бы камнеподобное состояние.

На основе такого анализа можно сделать вывод о том, что для русского национального самосознания пассивность не столь уж «приемлемое» свойство, как об этом пишут многие культурологи: не случайно идиомы, обозначающие бездействие, обычно воспринимаются в эмоциональном модусе осуждения или пренебрежения, о чем свидетельствуют и частое их употребление в конструкции типа: *Вместо того, чтобы лежать на печи <сидеть сложа руки>, ты бы сделал, предпринял что-л./ему бы сделать, предпринять что-л.*)

Как представляется, такого рода осуждающее или пренебрежительное отношение к бездействию — общечеловеческая культурная универсалия, хотя ее языковое воплощение в образ-стереотип, запечатлеваемый во фразеологизмах, зависит от характерного для той или иной лингвокультурной общности мировидения (ср., к примеру, английские идиомы, обозначающие безделье, в образных основаниях которых также лежат ситуации, указывающие на полное отсутствие активной деятельности: *to sit around of his butt, to sit on his hands* [REDI]).

Тем самым, факты, приведенные выше, убеждают в том, что культурно-национальная специфика идиом, может быть обнаружена не в единичных примерах (если эти последние и содержат культурно маркированные реалии, то они свидетельствующие только об их идиоэтничности), а на массивах данных, поскольку культурная коннотация языковых сущностей осознается, как представляется, через соотнесение базовой для них метафоры с интерпретирующим ее содержание «языком» категорий и стереотипов культуры — национальной или общечеловеческой.

Выше речь шла о культурно-национальной мотивированности самого отбора образов, лежащих в основании значения фразеологизмов-идиом. Мотивированность связанных значений слов, образующих лексикограмматической парадигму опорного наименования, обусловлена самой способностью образного их основания не только обозначать в процессе переосмысления заданный в этой парадигме смысл (подробнее см. [Телия 1981]), но еще и выражать характерные для мировидения народа культурные установки, служа для них своего рода эталонами, символами, стереотипами и т.п.

Мотивированность связанных значений слов, уже утративших живую образность, проясняется, аналогично идиомам, на фоне идеографических группировок опорных для них наименований и тех базовых метафор, которые просматриваются в их сочетаемости.

Так, к примеру, библейские по происхождению сочетания *сын* или *дочь народа*, значение которых сформировалось в инокультурной среде, обрели собственно «русскоязычную» мотивированность в парадигме связанных с опорным наименованием *народ* сочетаний, в основе которой лежит базовая метафора «народ — это семья» (ср. *братья-славяне, родина-мать*), ставшая, кстати говоря, одной из продуктивных мифологем официального советского менталитета: *братский народ, народы-побратимы, нерушимая семья народов, отец народов* и т.п.

Приведем еще один ряд примеров: казалось бы, уже немотивированные по связанному значению сочетания типа *зло, страх, ужас берет, охватывает* (в основе которых лежат анимистические, в смысле Э. Тейлора, мифологемы, согласно которым обозначаемые этих опорных наименований — «живые существа, имеющие власть над человеком») мотивируются другими, более прозрачными по смыслу связанными с этими опорными наименованиями значениями, благодаря психологической мотивировке самих этих чувств-состояний: *побороть, подавить в себе, преодолеть* или *породить зло, страх, ужас*.

Это не означает, что в основе номинативной парадигмы связанных значений лежит только одно мотивирующее ее основание. Зло, например, может мыслиться в религиозном сознании и как «дьявольские семена», способные *пускать корни в душе* человека (ср. также *семена зла, искоренить зло*) и т.д., а страх и ужас — как состояние, пограничное со смертью, что связано также и с психофизиологическим опытом: *остолбенеть от страха, ужаса*, ср. также идиомы *кровь леденеет <стынет> в жилах, сердце замерло, душа ушла в пятки* и т.п.

Иными словами, можно говорить о двух типах мотивированности фразеологизмов — о мотивированности «буквальным значением» образного основания и о мотивированности косвенной, создаваемой ассоциативно-парадигматическими отношениями. Для нас особенно важно указать на эту ассоциативно-групповую мотивированность, поскольку базовая метафора всегда просматривается как фигура на этом фоне (подробнее см. [Телия 1995а]).

Таким образом, ономаσιологический путь исследования, четко провозглашенный в [Языковая номинация 1977]: от внеязыковой реальности — через способ ее номинации (а для фразеологизмов это, как общее правило, образно мотивирующая номинация) — к значению знака позволяет учитывать не только образно мотивированные способы концептуализации обозначаемого, но и «место» знака в идеографическом пространстве языковой картины мира.

То, что категория образности была втянута в описание значения (см., например, [Телия 1981; 1988; Складаревская 1993]), обязывает

исследовать, как носители языка воспринимают и понимают образно мотивированные знаки, т.е. какие когнитивные механизмы связаны с обработкой образной гештальт-структуры, в том числе — и культурно-национальной ее интерпретации.

Что касается идеографического подхода к исследованию культурной коннотации, то он предопределена тем фактом, что языковая картина мира выстраивается не хаотично, а в соответствии со свойствами самих обозначаемых. Как пишет Н.Д. Арутюнова, «каждое понятие «говорит» особым языком. Такой «частный» язык располагает характерным для него синтаксисом, своим ограниченным и устойчивым лексиконом, основанном на образах и аналогиях, своей фразеологией, риторикой и шаблонами, своей областью референции для каждого термина. Такого рода язык открывает доступ к соответствующему понятию» [Арутюнова 1991, 3]. Поэтому только концептуально-идеографически скомпонованные образы могут прояснить связь мировидения с менталитетом народа.

Ниже в качестве примера приводятся фрагменты лингвокультурологического анализа «фразеологического языка» такого базового концепта культуры, как «женщина». Однако перед изложением его результатов представляется необходимым вкратце описать сам метод анализа, поскольку он применим (с теми или иными модификациями) и к описанию «языка» других культурных концептов, выступая, как представляется, универсальным способом для выявления культурно-национальной специфики концепта, извлекаемой не только из материала фразеологии, но и из образно мотивированных слов и т.п.

Прежде всего уместно еще и еще раз напомнить о том, что содержание таких базовых концептов культуры всегда объемнее, нежели концептуальное же содержание одноименной языковой сущности: их осознание как бы «растягивается» по всему идеографическому (или тематическому) полю, создаваемому разноименными первичными или вторичными (в том числе — и фразеологическими) обозначениями «родового понятия». Именно по этой причине рефлексия «народного духа», выражаемая в культурно-национальной коннотации, в крайне редких случаях может быть выявлена на примере собственно языковых значений наименований. Эти коннотации могут быть выявлены только на массиве данных, образующих в своей совокупности идеографический фрейм, который и соотносится в языковом сознании и культурном самосознании субъекта с концептуальным содержанием «одноименной» с этим массивом категории культуры.

Само идеографическое поле «женщина» складывается из всех наименований, обозначающих «Евино племя», из которых родовыми яв-

ляются *женщина*, а также *баба* (коль скоро речь идет об обыденном менталитете), а видовыми — все остальные обозначения, характеризующие их по возрасту (типа *девочка*, *старуха* и т.п.), по сексуальному аспекту (где основным именем выступает слово *баба* и его «сниженные» дериваты типа *бабец*, *бабища* и их синонимы), по семейному статусу (*жена*, *невестка*, *теща* и под.), по типу родственных отношений (*мать*, *дочь*, *бабушка*, *внучка* и т.д.), по статусу социально-семейному (*хозяйка*, *вдова*, *докторша* ‘жена доктора’ и под.), по принадлежности к социальным слоям (*барыня*, *простолюдинка*, *аристократка*) или же социальным ролям (типа *кухарка*; здесь особенно красноречивы варианты типа доктор/докторша ‘женщина-врач’), по принадлежности к сферам трансцендентно-мистическим (типа *колдунья*) или же к «чужому миру» (типа *ведьма*, *русалка*) и т.д. и т.п. Безусловно интересны и сами женские имена.

В этой же связи необходимо упомянуть об особом статусе наименования *баба*, являющегося во всех своих производных значениях культурно маркированным. Суммируя данные словарей, первичным значением этого слова можно считать уже устаревшее ‘замужняя крестьянка (жена крестьянина)’. На основе фокусировки свойств ‘здоровая работающая’, ‘здоровая, обладающая сексуальной привлекательностью’ (это свойство релятивизировано преимущественно к мужской точке зрения), ‘простая, необразованная’, ‘простая, свойская’, ‘грубая, имеющая плохие манеры’ сформировались вторично-номинативные значения этого слова, в которых преобладает функция идиоэтнической характеристики женщины по указанным свойствам. По этой причине во фразеологических связях слова *баба* ярче проявляется и культурно-национальная специфика концепта «женщина». Ср., например, неприложимость к номинации *баба* таких заимствований из книжно-романтического дискурса как **Бабы — слабый пол, лучшая половина человечества*, ср. также *разбитная, шальная, базарная баба*, но **разбитная, шальная, базарная женщина* или *ядренная баба*, но **ядренная женщина* и т.п.

Одной из базовых процедур лингвокультурологического анализа является предварительная идеографическая параметризация самого концепта по его частям, отражающим все ипостаси женщины: природно-физические, физиологические, психологические и интеллектуальные (такие, например, как возраст, внешность, сексуальность, черты характера, связанные с принадлежностью именно к этому «роду человеческого», особенностями ума и т.п.), социально-статусные, ролевые и т.д.

Для построения на этой основе концептуального каркаса, на который и «накладываются» способы номинации тех или иных свойств женщины, важно выделить и таксономические сетки внутри каждого

из параметров. Речь идет, например, о выделении таких «натуральных» признаков, как возраст, рост, вес, цвет лица и т.п. внутри параметра «внешность» или таких признаков (обычно данных в оппозиции), как трудолюбие/леность внутри параметра «отношение к труду», правдивость/лживость, честность/бесчестие в рамках параметра «морально-нравственные свойства» и т.д.

Эта параметризация (осуществленная нами исходя из «здорового смысла» за отсутствием каких бы то ни было разработок «языка» этого культурного термина — как в культурной, так и социальной антропологии, а также, насколько нам известно, и в этнолингвистике) позволяет создать своего рода «концептуальную анкету», которая и заполняется для описания того, как отражается этот культурный концепт в зеркале фразеологии, т.е. фразеологическими способами выражения данного параметра, в том числе — и узуально устойчивыми сочетаниями, если они оказываются культурно значимыми на фоне противопоставления концептов «женщина»/«мужчина». Например, к такому параметру, как «поведение», отнесены фразеологические сочетания, обозначающие конфликтное поведение: *базарная, вздорная, баба* (ср. **базарная женщина*, или **базарный, вздорный мужчина*), к параметру «речевые характеристики» отнесено и свободное сочетание *болтливая баба*, поскольку оно выступает в роли эталонной характеристики (ср. *болтливый мужик, старик*, но **болтливый мужчина*).

Полученные таким образом параметрически выделенные идеографические массивы данных дают возможность выявить базовую для них метафору, которая, в свою очередь, служит мотивирующим основанием для соотнесения с той или иной категорией культуры. Например, приведенные выше примеры могут служить свидетельством о наличии в языковой компетенции носителей русского языка такой базовой метафоры, как «женщина — существо скандальное» (ср. в этой связи «обычность» таких сочетаний, как *скандальная женщина, баба, женские скандалы, ссоры* и необычность — *скандальный мужчина, мужские скандалы, ссоры*). Идеалом же для женского поведения в русской культуре (впрочем, не только в ней) является кротость. Соотнесение этой базовой метафоры с культурным стереотипом, восходящим к установкам христианства, и придает культурно-национальную коннотацию этим выражениям, а именно — восприятие образно мотивированных в них свойств как сугубо женских «грехов».

Полное и подробное описание «фразеологического языка» концепта «женщина» — предмет специальной работы. Здесь же выделим ряд отраженных в зеркале фразеологии характерных для обыденного русского менталитета воззрений на женщину, преимущественно тех, кото-

рые связаны с физиологическими и интеллектуальными ее свойствами, поскольку в них как бы запрограммированы характерологические основания культурно-национальной интерпретации и для других параметрических признаков этого концепта.

Для русского обыденного самосознания нехарактерно восприятие женщины как «слабого пола» и противопоставления ее «сильному полу»: эти сочетания, выпшедшие из книжно-романтического дискурса, не стали принадлежностью обиходно-бытового употребления языка. Цитацией из этого же дискурса является и сочетание *лучшая или прекрасная половина человечества*, употребляющееся преимущественно в «мужском языке» как средство для выражения «высокой» галантности, граничащей с иронией.

Роль расхожего «культурного знака», выражающего коллективное представление о физическом и поведенческом идеале русской женщины, выполняют строки из поэмы Некрасова «Русские женщины», ставшие уже поговоркой: «...Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». С этим богатырским идеалом перекликается и сочетание *мужественная женщина*, атрибутирующее ей не столько храбрость, сколько стойкость, решительность и выносливость как эталонные для мужчины свойства (ср. в этой связи **мужественный мужчина*, но *мужественный юноша*, где выделяется не столько возмужание, сколько указанные выше атрибуты).

Этот «богатырский» идеал, сложившись в Древней Руси, был смещен, как считает И. Забелин, на другой вместе с принятием христианства: женщина — стала восприниматься как существо зависимое от мужчины, подневольное — и не только потому, что по своим физиологическим особенностям она не могла приравняться ему по силе, выполняя функции не воительницы, но матери, но потому еще, что она стала восприниматься как выпшедшая из ребра Адамова его «часть», его «неотъемлемая принадлежность» (см. [1992, 9—10]).

И тем не менее этот богатырский идеал продолжает доминировать в физическом идеале молодой или зрелой женщины: русская красавица — женщина *статная, в теле, в соку или в прыску* (ср. эталонные антиидеалы, выраженные в устойчивых сравнениях: *толстая, как бочка, плоская, как доска, сухая, как жердь* и т.п.), лицо румяное — *как маков цвет* или *кровь с молоком* (ср. также *Коса — девичья краса*). Существенна и плавность походки (напомним из Пушкина: «...А сама-то величава, выступает, словно пава»). О том, что этот идеал сохранялся в коллективном представлении русского народа веками и не только в фольклоре, свидетельствуют выполненные в конце прошлого века портреты женщин кисти Кустодиева. Конечно же такого рода «обра-

зец» женской красоты не всегда соответствовал меняющейся в послепетровские времена моде, но его укорененность в русском менталитете, особенно — в мужском, подтверждается и другой темой, отраженной в образах, характеризующих женщину как сексуального партнера.

Небезынтересно отметить, что разработка этой темы характерна преимущественно для «мужского языка»: женщина как предмет вожделения — это *аппетитная, пышная, сбитая, ядреная* (обычно — *баба*), та, которая *в соку, в прыску, пальчики оближешь*. О мужчине так не говорят, а в «женском языке» такие выражения могут употребляться скорее как цитации (типа *Она женщина <баба> аппетитная — мимо нее редкий мужчина пройдет равнодушно* и т.п.).

Базовой для всех этих фразеологизмов является гастрономическая метафора «женщина — это лакомый кусок». Культурно-национальная коннотация приведенных сочетаний, содержание которой может быть извлечено из их соотношения с этой базовой метафорой, придает им статус культурных знаков, говорящих о том, что для русского мужского менталитета характерен взгляд на женщину как нечто соблазнительное чисто физически.

Такой «гастрономический» подход, для которого как бы и несущественны эстетические признаки, связан, как представляется, с тем, что в русской культуре — в обыденном для нее менталитете не укоренился культ «дамы сердца», получивший распространение в Европе в рыцарскую еще эпоху, когда в ее честь слагались баллады, устраивались рыцарские поединки и т.п.

В христианизированной русской культуре утвердился стереотип женщины-домоседки. Это связывают с перенесением на Русь из Византии «теремной культуры»: появление терема было воплощением благочестивых воззрений на женскую личность как на соблазн мира. Эта культура отстраняла женскую личность от мира-общества, делала ее принадлежностью домашнего только мира, во главе которого стоял муж — глава семейства, что было узаконено «Домостроем» (см. [Забелин 1992, 51, 55—58]) и нашло свое выражение в ряде русских пословиц типа *Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка — в избе*.

Эти традиционные установки культуры пустили глубокие корни в русском менталитете: «вольное» (и не только сексуальное) поведение женщины продолжает восприниматься как нарушающее нравственно-поведенческие каноны (не столь жесткие для мужчин), о чем свидетельствуют «живые» и для нашего времени идиомы, характеризующие именно женское поведение: *ходить по рукам, трепать юбки* и другие просторечно-грубые выражения (типа *шляться под заборами, шлюха подзаборная*), ср. в этой связи и сочетания типа *гулящая, распутная*

баба или *женщина*, а также *распутница* (но *гулящий*, *распутный* — скорее *мужик*, реже — *мужчина*). Во всех этих фразеологизмах легко просматривается «сквозная» для них метафора «гулящая» (изначально это слово связано с идеей «вольных», т.е. ушедших от своих господ людей). Своего рода эталонами «распутного» поведения являются идиомы *браная* или *узгорелая кошка*, образы которых также вписываются в базовую метафору «гулящая».

К этой же теме близка также исключительно «женская» идиома *вешаться на шею*, характеризующая женщину как инициатора сексуальных отношений, что не соответствует установке обыденного сознания на то, что скромность в этих отношениях — «украшение женщины», а ее нарушение вызывает осуждение: Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться... (И. Гончаров); Имей в виду, мужчины не уважают тех, кто вешается им на шею (Д. Гранин).

Приведенные примеры показывают, что в зеркале фразеологии отражаются черты, традиционные для обыденного русского менталитета, в котором вольное сексуальное поведение женщины — это «бесстыжее» нарушение нравственного канона, согласно которому ей отводится участь сначала *честной девушки*, а затем — верной жены-домоседки (заметим, что муж-домосед — это не столько образец, сколько женский идеал).

Столь же укоренены в обыденном сознании и воззрения на женщину как на полный грехов «сосуд скудельный», что проявляется в разнообразной палитре атрибутируемых ей свойств далеко не кроткого (что является идеалом женского характера), конфликтного, вздорного, скандального нрава. Обычно о женщине говорят *разбитная*, *шалая*, *шалая баба*; *бой-баба* — чаще употребляется в мужском языке для выражения пренебрежения к референту, реже — в женском для того, чтобы выразить одобрение и даже восхищение. Характерным для этого аспекта женского поведения является сочетание *базарная баба* (ср. **базарный мужик*).

Небезынтересно отметить, что на базе этого фразеологического сочетания сформировалась в процессе вторичной номинации идиома *базарная баба*, обозначающая скандального, крикливого и т.п. мужчину: мужское поведение интерпретируется здесь в атрибутах «бабского базарного поведения». И это дает основание считать, что фразеологическое сочетание *базарная баба*, в котором соединились два культурно маркированных концепта «базар» как символ шума, беспорядка и т.п. и «баба», является стереотипом конфликтного поведения, что и обусловило возможность его употребления применительно и к мужчине.

Оба эти фразеологизма обладают тем самым культурологической

функцией и выступают как таксоны языка культуры, о чем свидетельствует и выражаемое ими пренебрежительное отношение к обозначаемому: это отношение связано с тем, что обозначаемые этих выражений — женщина или мужчина — обладают свойствами, нарушающими каноны пристойного речевого поведения.

Обычность употребления того или иного атрибута — один из признаков его эталонности. Обычно о женщине говорят *хитрая, коварная* (ср. «необычность» сочетаний *хитрый, коварный мужчина*), чему соответствуют и устойчивые эталонные сравнения *хитрая, как лиса, коварная, как змея* (в последнем нельзя не усмотреть связанную с библейской символикой рефлексия на то, что женщина — причина «грехопадения» мужчины):

Столь же типичны для характеристики женщины такие атрибуты, как *злая, болтливая, жадная, скупая* (ср. опять же не совсем «обычные» сочетания *злой, болтливый, жадный, скупой мужчина*).

В приведенных выше сочетаниях прилагательные не являются семантически связанными, но то, что они чаще употребляются со словами *баба* или *женщина*, дает основание для их интерпретации в контексте мировидения как к у л ь т у р н о с в я з а н н ы х (в противном случае пришлось бы признать такого рода атрибуты в качестве существенных для женщины *suī generis* признаки, а именно — истинности суждения: *Все женщины — существа злые, болтливые и т.п.*)

Такие положительные атрибуты, как *добрая, приветливая, рачительная* и т.п., относятся скорее к той ипостаси женщины, когда она выступает как хозяйка, *ласковая, нежная* — как мать (последние, кстати говоря, являются эталонным обозначением материнского отношения к детям, в отличие от *ласковой* или *нежной* жены — как идеальных черт подруги жизни). Как показывают ограничения в сочетаемости слова *мужчина* с приведенными выше атрибутами (типа **добрый, ласковый, нежный мужчина*) культурный концепт «мужчина» как бы выведен из этого эталонного пространства.

Следует заметить, что отрицательные черты в «первенце творенья» проявляются, как общее правило, актуально, в то время как в культурном концепте «женщина» они выполняют роль культурно маркированных эталонов. Как уже отмечалось выше, это обусловлено и воспроизведением в образном содержании фразеологизмов доминирующего в русском обыденном менталитете и традиционного для него коллективного представления о женщине как о «сосуде скудельном». Следует отметить также, что антигероиней нравственно-этических поступков является *баба*, т.е. риторически сниженная по культурно-нравственному статусу номинация. И не случайно многие из приведенных выше

атрибутов можно считать эталонными и для номинации *мужик*, поскольку для нее характерна та же культурная коннотация, что и для номинации *баба* (см. выше), как бы нивелирующая у *мужика* статус «мужа достойна». Однако это эталонное пересечение ограничено преимущественно сферой прагматической деятельности — поведенческой и хозяйственной.

Концепт «женщина», как считает И.И. Сандомирская [рукопись], проводившая аналогичный анализ (с включением в него и однословных образных наименований) на материале английского языка, вообще противопоставлен не своему контрагенту — концепту «мужчина», а оказывается контрадикторным по многим концептуальным основаниям человеку как таковому (ср. в этой связи пословицу *Курица — не птица, баба — не человек*).

Эта контрадикторность ярче всего проявляется в культурно-национальных коннотациях, характерных для образных оснований фразеологических средств обозначения интеллектуальных способностей женщины. Уже отмечалось выше, что в обыденном сознании женский ум противопоставлен мужскому как ум «недо-человеческий». Эталонным обозначением такого ума является фразеологизм *куриные мозги*, который приложим, однако, не к любому «недо-уму», а обычно к уму незрелому, неглубокому, каковым и считается женский ум.

Уже упоминалось о том, что сочетание *бабья политика*, означающее глупую, непродуманную, недальновидную политическую тактику, воспринимается как таковое на фоне эталонного для женского ума сочетания *глупая баба*. Это последнее корреспондирует с целым рядом пословиц, как бы утверждающих, что это свойство — «природное» для женщины (*У бабы волос долог, да ум короток* и т.п.). О мудрости женщины (*мудрая женщина, баба*) говорят скорее как о практическом уме, ориентирующемся на здравый смысл (*мудрая жена* — умудренная опытом замужней жизни; *мудрая мать* — это прежде всего хорошая воспитательница).

Если же речь идет об умной женщине, то говорят, что у нее *мужской ум*. *Женский* же или *бабий ум* — это ум как бы «второсортный», неспособный подняться до глубоких обобщений. Такое восприятие женского ума отображено и в сочетании *женская логика*, которое воспринимается как эталон нелогичности мышления. В качестве эталона завычливости выступает сочетание *девичья память*. Эти сочетания употребляются для характеристики «неполноценности» как женского, так и мужского интеллекта.

Приведенные выше примеры дают основание считать, что в русском обыденном сознании женский интеллект служит своего рода образцом

ума неразвитого, необъемного. На этом фоне явно просматривается культурно-национальная коннотация всех этих выражений: 'женский ум — ум инфантильный'.

Думается, что такое групповое, характерное в основном для мужского самосознания, представление и лежит в основании мужского «интеллектуального шовинизма» (свои умственные способности женщины идентифицируют с этими эталонами скорее как цитации из мужского языка, ср. *Что с меня взять — я баба глупая*). Этот комплекс интеллектуального превосходства воспроизводится из века в век в русском менталитете благодаря в том числе и межпоколенной трансляции воплощенных в языковых формах эталонов инфантильности, а потому и «втосортности» женского ума, о чем свидетельствуют и такие современные нам характеристики интеллектуальной продукции, как *женский роман, женские стихи, женский фильм, женская статья*, и т.п., явно выражающие уничижительное или пренебрежительное отношение к художественному или интеллектуальному творчеству женщин.

Безусловно, культурно-национальные установки в восприятии женского интеллекта, как, впрочем, и других ипостасей женщины, в межличностных отношениях могут обретать столь же личностное, а не традиционное для группового самосознания содержание. Но это последнее, являясь стержнем обыденного менталитета, впитывается с молоком матери вместе с усвоением языка и живет в самосознании народа — носителя языка и культуры как доминанта национальной самоидентификации.

Конечно же, культурно-национальная палитра, используемая при отображении концепта «женщина» в зеркале русской фразеологии, отражает и ее положительно-идеальные черты, которые преимущественно связаны с такими ипостасями женщины, как невеста, «верная супруга и добродетельная мать». Но полное описание культурного концепта «женщина» не входило, как отмечалось выше, в задачи данной работы, поскольку такое описание предполагает не только максимально полное сопоставление с концептом «мужчина», но и лингвокультурологическую же разработку всех наименований, образующих идеографическое поле «женщина», в их сопоставлении с контрагентами, входящими в поле «мужчина». А это — задача для отдельного монографического труда.

Итак, выше были изложены результаты лингвокультурологического анализа некоторых параметров концепта «женщина», в которых нашли концептуально-культурное отражение, с нашей точки зрения, наиболее характерологические для русского обыденного менталитета его культурно-национальной специфики черты русской женщины. Эти

черты, воплотившись в языковые формы, обрели свое знаковое выражение в семиотическом коде культуры. Тем самым языковые единицы, выступая в функции культурных знаков — эталонов или стереотипов культурно-национального миропонимания, участвуют не только в воспроизведении и межпоколенной трансляции установок национальной культуры, но и формируют ее вместе с усвоением и употреблением языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы старались показать в первой части книги, кризис структурно-таксономической парадигмы в исследовании фразеологии — закономерное с точки зрения логики развития науки явление. Выделение фразеологии в отдельную лингвистическую дисциплину сыграло свою положительную роль: это способствовало отграничению ее единиц от смежных структур, выделению объема фразеологии и классификации ее объекта по структурно-семантическому и грамматическому основанию.

Однако длящаяся и по настоящее время замкнутость фразеологии «в самой себе и для себя» привела к обособлению ее проблематики не только от взаимодействия со всем пространством лингвистической науки, но и с целостным пространством самого языка, в котором и свершаются коммуникативные процессы. За истекшие пятьдесят лет лингвистика расконсервировала описание языковой системы по ее уровням, а затем — перешла к синтезу методов изучения номинативного состава языка и его строевых ресурсов на основе исследования стратегий и механизмов воплощения речемыслительных актов в акты коммуникативно-дискурсивные, главными героями которых являются говорящий и слушающий.

Эти стратегии и механизмы, как бы запрограммированные в знаковом содержании единиц фразеологического состава языка и придающие им статус микротекстов, можно, как показано во второй части книги, выявить, исследовать и описать в декларативном или процедурном режиме на основе предложенной в книге макрокомпонентной модели значения, имитирующей типы когнитивной деятельности при формировании и употреблении единиц фразеологического состава языка.

Разворот лингвистики к исследованию коммуникативно-дискурсивных языковых процессов способствовал ее обращению к человеческому, или субъективному, фактору в языке, а именно — к выявлению того, как используется язык субъектом речи в зависимости от его коммуникативных интенций, от фактора адресата, от фона общих для них знаний о мире и т.п. А это повлекло за собой и следующий шаг —

исследование языкового фактора в человеке — того, как сама оязыковленная и всегда культурно окрашенная картина мира воздействует на человека, формируя его языковое сознание, а вместе с ним и культурно-национальное самосознание.

В третьей части книги мы старались показать воздействие культурно-человеческого фактора на формирование и функционирование фразеологизмов и как следствие такого воздействия — обретение ими функции эталонов и стереотипов национальной культуры, культурно маркированное содержание которых воплощается в культурно-национальной коннотации фразеологизмов. Эта последняя усваивается вместе с овладением языком, навязывает через мировидение, отраженное в характерных для данного народа образах фразеологизмов, обыденное для лингвокультурной общности культурно-национальное самосознание и способствует его межпоколенной трансляции вместе с использованием языка.

В последние годы вместе с осознанием необходимости изучения синергетического взаимодействия человека и его языка не только как продукта (или «эргона» — по Гумбольдту), но и как живой речетворческой деятельности («энергеи»), творящей как сам язык, так и языковое самосознание человека, в лингвистике наметился переход на антропологическую парадигму исследования своего объекта. Именно в русле этой парадигмы для фразеологии намечается то новое для нее течение, направление которого было намечено в отдаленной тогда для нее перспективе основоположником современной отечественной фразеологии акад. В.В. Винарадовым — «исследование фразеологических проблем применительно к речевой деятельности.., представляющей бесконечное разнообразие проявлений индивидуального выражения или выражения индивидуальностей», где слово, равно как и фразеологизм, «является формой воплощения вновь творимого смысла. Оно выражает мнение говорящего. Его осмысление индивидуально и определяется всем содержанием высказывания. Его структура неустойчива и функции многообразны» [1977, 119—120].

Хочется надеяться, что концепция, изложенная в этой книге, вписывается в эту перспективу, а предложенные в ней методы в какой-то мере пролагают пути к сближению с ней.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аксамигаў А.С. Беларуская фразеалогія. Минск, 1978.
- Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963.
- Алефиренко Н.Ф. Фразеология в системе современного русского языка. Волгоград, 1993.
- Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря. // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
- Аристова Т.С., Ковшова М.Л., Рысева Е.А., Телия В.Н. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. В.Н. Телия. М., 1995.
- Аристотель. Поэтика. // Античные теории языка и стиля. М., 1936.
- Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка. // Проблемы структурной лингвистики, 1982. М., 1984.
- Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотация. // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
- Арутюнова Н.Д. Образ (опыт концептуального анализа). // Референция и проблемы текстообразования. М., 1988.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.
- Арутюнова Н.Д. Сравнительная оценка ситуаций. // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка, т. 42, 1983, № 6.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Событие. Оценка. Факт. М., 1988.
- Арутюнова Н.Д. Тождество и подобие (заметки о взаимодействии концептов). // Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.
- Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Опыт теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону, 1964.
- Архангельский В.Л. О задачах, объектах и разделах русской фразеологии как лингвистической дисциплины. // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц: Материалы межвузовского симпозиума. Вып.2. Тула, 1972.
- Архангельский В.Л. Проблема устойчивости фразеологических единиц и их знаковые свойства. (На материале современного русского языка). // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Тула, 1968.
- Архангельский В.Л. Семантика фраземного знака. // Проблемы русской фразеологии. Тула, 1978.

- Аршинов В.И., Свирский Я.И. Синэргетическое движение в языке. // Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. М., 1994.
- Астахова Э.И. Внутренняя форма идиом и ее функции. // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
- Бар-Хиллел И. Идиомы. // Машинный перевод. М., 1957.
- Баранов А.Н. Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. М., 1987.
- Баранов А.Н. Аксиологические стратегии в структуре языка (паремнология и лексика). // Вопр. языкознания. М., 1989, № 3.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Лео Вейсгербер в когнитивной перспективе. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 49. № 5. 1990.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Структуры знаний и их языковая онтологизация в значении идиом. // Уч. зап. Тартуского университета. Вып. 903. Исследования по когнитивным аспектам языка. Тарту, 1990.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). М., 1991.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Беляевская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и когнитивном аспектах (Когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова). Автореферат докт. дисс. М., 1992.
- Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия. М., 1995.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
- Блэк М. Метафора. // Теория метафоры. М., 1990.
- Бондаренко В.Т. Варьирование устойчивых фраз в русской речи. Докт. дисс. Тула, 1995.
- Борисова Е.Г. Типология составляющих пакета «Устойчивые словосочетания». // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973.
- Брутян Г.А. О гипотезе Сепира-Уорфа. // Вопросы философии. 1969, № 1.
- Вакуров В.Н. Основы стилистики фразеологических единиц (на материале советского фельетона). М., 1980.
- Васильев С.А. Философский анализ гипотезы лингвистической относительности. Киев, 1974.
- Вейсгербер Л.И. Родной язык и формирование духа. М., 1993.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
- Виноградов В.В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка. // Мысли о современном русском языке. М., 1963.
- Виноградов В.В. (1947). Об основных типах фразеологических единиц в русском

языке. // В.В.Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Виноградов В.В. (1946). Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // В.В.Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Виноградов В.В. (1953). Основные типы лексических значений слова // В.В.Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 17—19 веков. М., 1982.

Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.

Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1959.

Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. На материале иберо-романских языков. М., 1978.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 1985.

Х Всесоюзная конференция по логике, методологии и философии науки. Минск, 1990.

Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.

Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка в аспекте теории отражения. Пермь, 1974.

Гак В.Г. Веседы о французском слове. М., 1966.

Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики. // Проблемы структурной лингвистики, 1971. М., 1972.

Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.

Гак В.Г. Фразеологические единицы в свете асимметрии языкового знака. // Труды Сам.ГУ. Новая серия, вып. № 277. Вопросы фразеологии. VII. Самарканд, 1976.

Галинская И.Л. Символическое воображение и философский мир Сэмюэла Колриджа. // Художественное воображение и отражение действительности. Современные зарубежные исследования (аналитический обзор). М., 1983.

Гачев Г. Национальные образы мира. // Вопросы литературы. 1987, № 10.

Гвоздарев Ю.А. Фразеологические сочетания современного русского языка. Ростов-на-Дону, 1973.

Гвоздарев Ю.А. Основы русского фразообразования. Ростов-на-Дону, 1977.

Гордовский В.И. История понятия коннотации. // Филол. науки. 1970, № 2.

Городецкий Б.Ю. Актуальные проблемы прикладной лингвистики. // НЗЛ. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М., 1983.

Графова Т.А. Смысловая структура эмотивных предикатов. // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.

Графова Т.А., Шахнарович А.М. Экспериментальные исследования реализа-

ции эмотивности в речевой деятельности. // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.

Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества. // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1956.

Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.

Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1979.

Диброва Е.И. Синкретизм фразеологического знака (разграничение фразеологической синонимии и вариантности). // Фразеологическая номинация: Особенности семантики фразеологизмов. Ростов-на-Дону, 1989.

Добровольский Д.О. Типология идиом. // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.

Долинин К.А. Стилистика французского языка. М., 1978.

Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1985.

Дорошенко А.В. Побудительные речевые акты и их интерпретация в тексте. Автореф. канд. дисс. М., 1995.

Дубинский И.В. Природа фразеологических сочетаний и возможность замены их компонентов. // Ученые записки АПИ языков им. Мирза Фатали Ахундова. Вып. 9. Баку, 1961.

Дюдик Л.Г. Межсобытийные предикаты в современном английском языке. Автореф. канд. дисс. М., 1979.

Ермаков А.И. Проблема соотношения лексических и фразеологических единиц при выражении значения мгновенного времени (на примере русского, английского, испанского и французского языков). Автореф. канд. дисс. М., 1991.

Жолковский А.К., Мельчук И.А. О семантическом синтезе. // Проблемы кибернетики, вып. 19. М., 1967.

Жолковский А.К., Мельчук И.А. О системе семантического синтеза. 1. Строение словаря. // Научно-техническая информация. М., 1966, № 11.

Жолковский А.К., Мельчук И.А. О системе семантического синтеза. 4. Образцы словарных статей. // Научно-техническая информация. Серия 2, № 9. М., 1972.

Жоль К.К. Мысль, слово, метафора. Проблемы семантики в философском освещении. Киев, 1984.

Жуков А.В. Фразеологическая переходность в русском языке. Учебное пособие к спецкурсу. Л., 1984.

Жуков В.П. Русская фразеология. Учебное пособие для студентов-филологов специальных вузов. М., 1986.

Жуков В.П. Русская фразеология. М., 1986.

Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М., 1978.

Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. Под ред. В.П. Жукова. М., 1987.

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992.

Звегинцев В.А. Семасиология. Изд. МГУ, 1957.

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.

Земская Е.А. Русская разговорная речь (Проспект). М., 1968.

Зимин В.И. К вопросу о вариантности фразеологических единиц. // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Вып. 2. Тула, 1972.

Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М., 1965.

Ивин А.А. Основания логики оценок. М., 1970.

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976.

Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения (Предисловие). // Язык и личность. М., 1989.

Караулов Ю.Н. Структура лексико-семантического поля. // Филол. науки. 1972, № 1

Касевич В.Б. Язык и знание. // Язык и структура знания. М., 1990.

Каднельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.-Л., 1965.

Кириллова Н.Н. О денотате фразеологической семантики. // Вопр. языкознания. 1986, № 1.

Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л., 1978.

Ковшова М.Л. Опыт семантического поля в описании идиом. // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.

Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.

Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. Изд. МГУ, 1969.

Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке. М., 1973.

Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1972.

Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1978.

Крысин Л.П. Социоллингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.

Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука. // Вопр. языкознания. № 4, 1994.

Кузнецов А.М. Национально-культурное своеобразие слова. // Язык и культура. Сборник обзоров. М., 1987.

Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике. На материале английского языка. М., 1980.

Кунин А.В. Английская фразеология (теоретический курс). М., 1970.

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1986.

Курилович Е. Заметки о значении слова. // Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962.

- Курчаткина Н.Н., Супрун А.В. Фразеология испанского языка. М., 1981.
- Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Лакофф Дж. Лингвистические гештальты. // НЗЛ. Вып.Х. Лингвистическая семантика. М., 1981.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Ларин Б.А. Очерки по фразеологии: О систематизации и методах исследования фразеологических материалов. // Ученые записки ЛГУ. Серия филол. наук. Т. 198. Вып. 24. Л., 1956.
- Латина О.В. Деонтический, аксиологический и эмотивный параметры в семантике идиом. // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и Машинного фонда русского языка. М., 1988.
- Леви-Брюль К. Первобытное мышление. М., 1930.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
- Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для Машинного фонда русского языка (Материалы к методической школе-семинару). М., 1988.
- Лихачев Д.С. Человек в литературе древней Руси. М., 1970.
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд.3-е. М., 1972.
- Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
- Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., 1982.
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). Санкт-Петербург, 1994.
- Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Новосибирск. 1986.
- Лукьянова Н.А. Экспрессивность в системе, языке и речи. // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Макет словарной статьи для Автоматизированного Толково-идеографического словаря русских фразеологизмов. Образцы словарных статей. Изд. Института языкознания АН СССР, 1991.
- X1 Международная конференция «Логика, методология, философия науки». V. М.-Обнинск, 1995.
- Мартынов В.В. Семиологические основы информатики. Минск, 1974.
- Маслова В.А. Экспериментальное изучение национально-культурной специфики внешних и внутренних качеств человека (на материале киргизского языка). // Этнопсихолингвистика. М., 1988.
- Маслова В.А. Параметры экспрессивности текста. // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Мелерович А.М. К вопросу о типологии внутренних форм фразеологических единиц современного русского языка. // Активные процессы в области русской фразеологии. Иваново, 1980.
- Мелерович А.М. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современного русского языка. Ярославль, 1979.

- Мельчук И.А. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность». // Вопр. языкознания. М., 1960, № 4.
- Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
- Метафора в языке и тексте. М., 1988.
- Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979.
- Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1980.
- Мокиенко В.М. Образы русской речи. Л., 1986.
- Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.
- Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
- Мостовая А.Д. Гиперонимы класса и гиперонимы свойства. // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.
- Мыльников А.С. Язык культуры и вопросы изучения этнической специфики средств языковой коммуникации. // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989.
- Мур Дж. Принципы этики. М., 1984.
- Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. М., 1976.
- Никитин М.В. Лексическое значение слова. М., 1983.
- Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
- НЗЛ 1983: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика. М., 1983.
- НЗЛ 1988: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
- Опарина Е.О. Концептуальная метафора. // Метафора в языке и тексте. М., 1988.
- Опарина Е.О. Связь метафоры с мировосприятием. // Язык и культура. Сборник обзоров. М., 1987.
- Остин Дж.Л. Слово как действие. // НЗЛ. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986.
- Павиленис Р.И. Проблема смысла. М., 1983.
- Палевская М.Ф. Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в. Кишинев, 1972.
- Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (заметки по общей теории клише). М., 1970.
- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
- Петренко В.Ф., Нистратов А.А., Романова Н.В. Рефлексионные структуры общественного сознания (на материале семантического анализа фразеологизмов). // Вопр. языкознания. 1989, № 2.
- Петров В.В. Научные метафоры: природа и механизмы функционирования. // Философские основания научной теории. Новосибирск, 1985.
- Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для языковедных вузов. Л., 1928.
- Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931.
- Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. М., 1976.

- Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. // К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., 1988.
- Постовалова В.И. Мироззренческое значение понятия «языковая картина мира». // Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986.
- Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. М., 1958.
- Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
- Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
- Проблемы фразеологии. М., 1964.
- Рейхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.
- Ричардс А. (1950) Философия риторики. // Теория метафоры. М., 1990.
- Ройзензон Л.И. Лекции по общей и русской фразеологии. Самарканд, 1973.
- Ройзензон Л.И. Русская фразеология. Самарканд, 1977.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.
- Сандомирская И.И. Демистификация идиомы. // XI Международная конференция «Логика, методология, философия науки». V. М.-Обнинск, 1995.
- Сандомирская И.И. Эмотивный компонент в значении глагола (на материале глаголов, обозначающих поведение). // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Свицкий Я.И. О необходимости герменевтической составляющей в методологии нелинейного моделирования. // X Всесоюзная конференция по логике, методологии и философии науки. Минск, 1990.
- Селиверстова О.Н. Компонентный анализ многозначных слов. На материале некоторых русских глаголов. М., 1975.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
- Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. // НЗЛ. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986.
- Сидоренко М.И. Парадигматические отношения фразеологических единиц в современном русском языке. Л., 1982.
- Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
- Скляревская Г.Н. Лексикографическая стилистика: состояние и проблемы. // Словарные категории. М., 1988.
- Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. Санкт-Петербург, 1993.
- Смирнов А.А. Взаимотношение образа и слова в развитии памяти. // А.А. Смирнов. Избранные психологические труды. Т. I. М., 1987.
- Смирницкий А.И. Объективность существования языка. М., 1954.
- Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой системы. // Вопр. языкознания. 1984, № 2.
- Солодуб Ю.П. Русская фразеология как объект сопоставительного структурно-типологического исследования (на материале фразеологизмов со значением

качественной оценки лица). Методические разработки к спецкурсу для студентов, изучающих русский язык как иностранный. М., 1985.

Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология (Теоретический и экспериментальные фрагменты). Самара, 1994.

Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю. Культура и ее психолингвистическая ценность. // Этнопсихолингвистика. М., 1988.

Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю. Национально-культурная специфика художественного текста. М., 1989.

Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.

Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975.

Степанов Ю.С. Семантическая реконструкция (в грамматике, лексике, истории культуры). // Proceedings of the Eleventh Intern. congress of linguists. Bologna, 1974.

Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.

Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. Киев, 1992.

Тарасов Е.Ф. Язык и культура: методологические проблемы. // Язык и культура. Сборник обзоров. М., 1987.

Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1939.

Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды. // Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.

Телия В.Н. «Говорить» в зеркале обиходного сознания. // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.

Телия В.Н. К проблеме связанного значения слова: гипотезы, факты, перспективы. // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995а.

Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.

Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов. // Славянское языкознание. М., 1993.

Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция. // Метафора в языке и тексте. М., 1988а.

Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988б.

Телия В.Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц. // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.

Телия В.Н. О вариантности лексического состава идиом. // Проблемы устойчивости и вариантности лексических единиц. Тула, 1968.

Телия В.Н. О методологических основаниях лингвокультурологии. // XI Международная конференция «Логика, методология, философия науки». V. М.-Обнинск, 1995б.

Телия В.Н. О термине «фразама» (в связи с описанием вариантности фразеологизмов). // Проблемы лингвистического анализа (Фонология, грамматика, лексикология). М., 1966.

- Телия В.Н. О фразематике как лингвистической дисциплине. // Актуальные проблемы современного языкознания. Самарканд, 1965.
- Телия В.Н. Семантика идиом в функционально-параметрическом отображении. // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Телия В.Н. Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологическая сочетаемость. // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
- Телия В.Н. Что такое фразеология. М., 1966.
- Теория метафоры. М., 1990.
- Толстая С.М. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора. // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения — 1. М., 1992.
- Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса. // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. М., 1983.
- Толстой Н.И. Язык и культура (некоторые проблемы славянской этнолингвистики). // Zeitschrift für slavische Philologie. 1991.
- Толстой Н.И., Толстая С.М. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-). // Славянское языкознание. М., 1993.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
- Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. // НЗЛ. Вып. I. М., 1960.
- Уфимцева А.А. Лексическая номинация (первичная, нейтральная). // Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.
- Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. М., 1986.
- Уфимцева Н.В. Русские глазами русских. // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995.
- Федоров А.И. Образная речь. Новосибирск, 1985.
- Федоров А.И. Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980.
- Фелицина В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь. Под ред. Е.М. Верецагина и В.Г. Костомарова. М., 1990.
- Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики. // НЗЛ. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М., 1983.
- Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII—XX веков. Т.1—2. Под ред. А.И. Федорова. Новосибирск, 1991.
- Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова. М., 1967.
- Фреге Г. Смысл и денотат. // Семиотика и информатика. М., 1977.
- Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1985.
- Фрумкина Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995.

Фрумкина Р.М. Еще раз об особенностях классификационного поведения // Речь, восприятие и семантика. М., 1988.

Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога. // Научно-техническая информация. 1992. Сер. 2, № 3.

Хакимов А. Контрастивно-типологическое исследование фразеологических единиц разносистемных языков (на материале английского, русского, таджикского и узбекского языков). Учебное пособие по спецкурсу. Самарканд, 1991.

Чарняк Ю. Умозаключение и знания. (Часть 1). // НЗЛ. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М., 1988.

Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. М., 1988.

Черданцева Т.З. Мотивационный макрокомпонент идиомы и параметр денотации. // Фразеогрфия в Машинном фонде русского языка. М., 1990.

Черданцева Т.З. Язык и его образы. М., 1977.

Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. М., 1970.

Шаляпина З.М. Три функции языкового знака и проблемы их отражения в лингвистическом описании. // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1963.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как формы отражения действительности. М., 1971.

Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.

Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.

Шмелева Т.В. К проблеме национально-культурной специфики «эталона» сравнения (на материале английского и русского языков). // Этнопсихоллингвистика. М., 1988.

Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989.

Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. М.-Л., 1947.

Эмирова А.М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте. Ташкент, 1988.

Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

Anusiewicz J. Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku // Językowy obraz świata/ Lublin, 1990.

Bartmiński E. O profilowaniu pojęć w słowniku etnolingwistycznym. // Profilowanie pojęć. Wybór prac. Lublin, 1993.

Bendix E.H. Componential analysis of general vocabulary. // IJAL, 1966, № 2.

Benson M. Lexical combinability. // Papers in linguistics, 18. 1985.

- Benson M., Benson E., Ilson R.** The BBI Combinatory Dictionary of English. A guide to word combinations. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia, 1986.
- Black M.** Metapor. In: M.Black. Models and Metapor. Studies in Language and Philosophy. Ithaca-London, 1962.
- Black M.** Linguistic relativity: Theoretical ideas of Benjamin Lee Whorf // The philosophical review, vol.LXVIII, 1959, № 2.
- Boas F.** Handbook of American Indian languages [Introduction], 1911.
- Cowie A.P.** Language as words: lexicography. // N.E. Collinge (ed.) An Encyclopedia of Language. London: Routledge. 1990.
- Dobrovol'skij D.** Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig, 1988.
- Dobrovol'skij, D.** Idioms in a Semantic Network: Towards a New Dictionary-Type. // Euralex 1994. Proceedings. Amsterdam, 1994.
- Eckert R.** Synchronische und diachronische phraseologieforschung. // Beiträge zur allgemeinen und germanischen Phraseologieforschung. Oulu, 1987.
- Eckert R., Günther K.** Die Phraseologie der russischen Sprache. Leipzig, etc., 1992.
- Eismann W.** Bemerkungen zur historischen Phraseologie am Beispiel eines slovenischen Phraseologismus. // Anzeiger für slavische Philologie. Bd. 21.Graz — Austria. 1992.
- Fillmore Ch.** The case for case. // Universals in Linguistics Theory. N.Y., 1968.
- Fraser B.** Idiom within a transformational grammar. // Foundations of Language, v. 6, 1970.
- Galda L.** The development of the comprehension of metaphor. // Semiotics. Amsterdam. 1984, Vol. 50, 1/2.
- Gibbs R.W., Jr.** Psycholinguistic studies on conceptual basis of idiomaticity. // Cognitive Linguistics. 1990. V.1.
- Grice P.** Logic and conversation. // Syntax and Semantics. N.Y.-San-Francisco-London. Acad. Press, 1975, vol. 3.
- Hare R.M.** Imperative sentences. // Mind, vol. 58, 1949, № 229.
- Hudson W.D.** A century of moral philosophy. N.Y., 1980.
- Hymes D.** On two types of linguistic relativity. // Sociolinguistics. The Hague-Paris, 1966.
- Jordanskaja L., Mielczuk I.** Konotacja w semantice lingwistycznej i leksykografii. // Konotacja. Lublin, 1988.
- Katz, J.J.** Semantic theory and the meaning of «good». // The Journal of Philosophy, vol. XLI, 1964, № 23.
- Loewenberg I.** Identifying metaphors. // Foundations of language. 1975. Vol. 12. № 3.
- Lubensky S.** Russian-English Dictionary of Idioms. Random House. N.Y., 1995.
- Malinovsky B.** Art. Culture. // The Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 4. N.Y., 1935.
- Matešić J.** Zum terminus und zur Definition der 'phraseologischen Einheit'. // Phraseologie und ihrer Aufgaben. Mannheimer Beiträge zur slavischen Philologie. Bd.3. Heidelberg, 1983.
- Mill J.St.** Of names. // Theory of meaning. Prentis-Holl, 1970.
- Porzlg W.** Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1934, Bd. 58.
- Quine W.O.** Natural kinds. // Essais in honor of Carl G. Hempel. 1977.

- Quine W.O.** Word and Object. Cambridge, ets., 1960.
- Rosch E.** Principles of categorisation. // Cognition and categorisation. Hillsdale, 1978.
- Schlossberg H.** Three dimension of emotion. // Psychologic Rewiew, vol. 61. 1954.
- Schyndel I. van.** Erscheinungen der leksikalisch-syntaktischen Paradigmatik von Phrasemen im Russischen. München, 1994.
- Skalička V.** The need for a linguistics of «la parole» // Recueil linguistique de Bratislava, V. 1. Bratislava, 1948.
- Stevenson Ch.L.** Ethics and language. New Haven, 1958.
- Tella V., Bragina N., Oparina E., Sandomirskaya I.** Lexical Collocations: Denominative and Cognitive Aspects. // Euralex 1994. Proceedings. Amsterdam, 1994.
- Vendler Z.** The grammar of goodness. // Z. Vendler. Linguistics in philosophy. Ithaca (N.Y.), 1967.
- Weinreich U.** Problems in the analysis of idioms. // Substans and structure of language. Berkeley and Los-Angeles, 1969.
- Wierzbicka A.** Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
- Wierzbicka A.** Lingua mentalis. The semantics of natural language. Sydney, ets.: Acad. press, X1, 1980.
- Wierzbicka A.** Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Cultural-specific Configurations. N.Y., Oxford, 1992.
- Wierzbicka A.** Semantic primitives. Frankfurt, 1972.
- Wrigt G.H. von.** The varietes of goodness. L., 1963.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- НЗЛ — Новое в зарубежной лингвистике. М.
- РБФС — Андрейчина К., Влахов С., Димитрова С., Запрянова К. Русско-болгарский фразеологический словарь. Под ред. С. Влахова. М.-София, 1980.
- РФ — Фелицина В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь. Под ред. Е.М. Верецагина и В.Г. Костомарова. М., 1990.
- СОВРЯ — Аристова Т.С., Ковшова М.Л., Рысева Е.А., Телия В.Н., Черкасова И.Н. Образные выражения русского языка. Словарь-справочник. Под ред. В.Н. Телия М., 1995.
- ССРЯ — Словарь синонимов русского языка в двух томах. Главный ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970.
- СФСРЯ — Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. Под ред. В.П. Жукова. М., 1987.
- ФОРЯ — Шанский Н.М., Быстрова Е.А., Зимин В.И. Фразеологические обороты русского языка. М., 1988.
- ФСРЛЯ — Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII—XX веков. Т.1—2. Под ред. А.И.Федорова. Новосибирск, 1991.
- ФСРЯ — Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И.Молоткова. М., 1967.
- ШФСРЯ — Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. Пособие для учащихся. 2-е изд. М., 1989.
- REDI — Lubensky, S. Russian-English Dictionary of Idioms. Random House/ N.Y., 1995.

SUMMARY

The book is devoted to the description of the entities constituting the phraseological body of language — to the denominative and connotative aspects of their meaning — evaluative, figurative-motivational, emotive and stylistic, — which are considered in the cognitive paradigm for the first time.

The model of phraseological meaning elaborated in the book enables to shed new light on their role in language as microtext-signs. Special attention is given to the linguocultural analysis of the culturalnational connotation of phraseological entities — to their functioning as benchmarks and stereotypes of Russian people's common mentality and on this basis — to their ability to play the role of cultural signs.

Вероника Николаевна Телия

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты

Издатель А. Кошелев

Художник В. Коршунов

Подписано в печать 29.03.96. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 18. Уч. изд. л. 22,5. Заказ № 4174 Тираж 3000.

Издательство Школа "Языки русской культуры". Москва, Zubovskiy 6-r, 17.
ЛР № 071105 от 02.12.94

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Оптовая реализация:

Книготорговая фирма «СЛАВИЯ», тел.: (095) 240-32-13.
Адрес: Москва, Бережковская наб., 24, ком. 10. местный тел.: 2-17.
Проезд: Метро Киевская, автобус 91, трол. 17, 39, 4-я ост. "Библиотека".